Михаил Петрович Лобанов

Оболганная империя

От автора



Из этой книги читатель может узнать, что до сих пор не прекращаются в литературной печати нападки на мою статью "Просвещенное мещанство", появившуюся сорок лет тому назад в журнале "Молодая гвардия" (1968, № 4). А в своих мемуарах "Бодался теленок с дубом" А. Солженицын, цитируя отдельные места из названной статьи, выводит из термина "просвещенное мещанство" свою "образованщину", кроме того, сомнительно зачисляет меня в разряд потенциальных жертв ГУЛАГа. Всякой революции предшествуют в обществе сдвиги, коллизии духовные. Так воистину перманентная "перестройка-революция", сокрушившая наше великое государство, терзающая нынешнюю Эрефию-Россию, вобрала в себя вирусы хрущевской "оттепели", из "детей XX съезда" вылупились Горбачевы - ельцины. В середине 60-х годов очевидно определились полярные силы - либерально-космополитические и национально-патриотические, вступившие между собой в идеологическую войну. И речь в моей статье "Просвещенное мещанство" шла о внедрении космополитами в массовое сознание духовных миазмов "нигилятины" (Достоевский), одержимости низвести все высокое, великое до уровня моды, пошлости, превратить человеческую индивидуальность в стереотип буржуа-мещанина. Речь шла об опасности всенивелирующего американизма ("Рано или поздно, - говорилось в моей статье, - смертельно столкнутся между собой две непримиримые силы - нравственная самобытность и американизм духа"). О другой моей статье (написанной по поводу романа М. Алексеева - о голоде в Поволжье в 1933 году) было принято осуждающее решение ЦК КПСС (дек. 1982).

И вот то, что в 60-х годах в "Просвещенном мещанстве" было только симптомом буржуазно-мещанского вырождения "образованного человека", ныне восторжествовало разнузданностью культа наживы, кровавыми разборками в захвате общенародной собственности, волчьей идеологией с правом сильного уничтожать слабого обездоленного, аморализма.

И то, что в упомянутом решении ЦК КПСС "освещалось" лозунгами марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма, ныне обернулось невиданным цинизмом оборотничества, предательства.

Трагедия России - в нашем неведении, непонимании того, что происходит в стране. Поэтому у наших врагов развязаны руки - душить нас, громить страну.

Великий русский патриот Иван Сергеевич Аксаков в своей статье "В чем недостаточность русского патриотизма" пишет: "время и обстоятельство требуют от нашего патриотизма иного качества, нежели в прежние годины народных бедствий", что "надо уметь стоять за Россию не только головами (как на войне.- М.Л.), но и головой", то есть пониманием происходящего; воевать "не одним оружием военным, но и оружием духовным;

не только против видимых врагов, в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосязаемых недругов". Поймем ли мы это наконец.

Просвещенное мещанство

Расскажу пустячный случай. Как-то присел я на скамейку пробежать газету во дворе нашего огромного московского дома. Вдруг откуда-то сверху: что-то магнитофонно-стегающее, с гнусавинкой. Гляжу - неподалеку скамейка, сидят женщины. Кто вяжет, кто разговаривает, кто с ребенком сидит - и все ногами работают, в такт грянувшей из окна музыке. Сначала смешно показалось - не видят сами, как все одновременно притопывают. А потом стало жутковато - что-то стадное было в этом слепом притопывании. Это пожилые-то так заработали. А какой-нибудь вертун вовсе задрожит при звуках этих с гнусавинкой...

Есть над чем задуматься: в душе иного молодого человека еще никакой опорной точки, а его со всех сторон облепляют - и выхолощенный язык, опустошающий мысль и чувство, и телевизионная суета, и нечто эстрадно-зазывное, и какая-то павильонная беготня кинофильмов. От всего этого пестрит в глазах, дразнят простенькие желанья.

К тому же могут быть разные сюрпризы. Вот, например, где-то на вечеринке под бутылочное настроение прокручивалась песенка о троллейбусе, подбирающем ночью "потерпевших крушение". Гитарно-гуманная песенка. А вскоре, скажем, тот, кто слушал ее на вечеринке, наталкивается в газете на такую заметку:

"Вы написали, что фильм "был встречен прохладно и поэтому, очевидно, недолго продержался на экранах..."

Что же касается "прохладного приема", то скажу Вам, что как автор побывал во многих кинотеатрах и наблюдал реакцию зрителей, присутствовал на многих встречах со зрителями, получил множество писем из различных уголков страны.

Должен признаться, что мнения крайне противоположны: как положительные, так и отрицательные, но ни одного "прохладного"...

Не знаю, подлежат ли Ваши действия суду, но поверьте мне, что на всех своих выступлениях я буду широко знакомить публику с этим фактом, чтобы она Вам не доверяла, чтобы в редакциях упоминание Вашего имени ассоциировалось с подлогом.

Копию этого письма я направляю в Союз писателей СССР и Союз кинематографистов СССР, чтобы и там познакомились с Вашими дурными манерами. Примите уверения и проч.

Булат Окуджава". (Газета "Труд" от 1 декабря 1967 г.)

Вся эта "лирика" вызвана тем, что женщина-рецензент осмелилась заметить, что фильм "Женя, Женечка и Катюша" (одним из авторов сценария которого является Окуджава) "прохладно" встречен зрителями. Молодой поклонник песенки о троллейбусе, прочитав эту заметку, не подумает ли вот о чем: а-я-яй, такая чувствительная песенка, а какое письмецо! Ну дело ли стихотворца - ни за что ни про что угрожать судом? Даже как-то страшновато: попадись-ка под власть такой прогрессистской руки...

Так вот, наш молодой человек должен быть продуктом довольно сложного сцепления, чтобы выработалось в нем то, помните, стадное притопывание. Мещанство свое дело делает, не отставая от века. Оно считает себя в курсе всех современных наук и мировых прогрессов. Оно ужасно любит остренькое в науке - пересаженное сердце, летающие тарелки (которые должны быть непременно посланцами с других планет), оно любит порассуждать о физиках и лириках, о какой-нибудь электронной теории бессмертия и т.д.

Такое просвещенное мещанство быстро поставит на место патриархально-отсталого Л. Толстого с его ненаучным утверждением: "Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах - это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, - это трудно, ужасно трудно".

Не имея собственных мыслей, мещанство делает плоским все, к чему ни прилипнет. Даже великие мысли, великие имена забалтывают, гениальную индивидуальность пытаются

заклеймить особым словцом, уничтожающим значение подвижничества мысли великого человека: Руссо - "руссоизм", Толстой - "фатализм", Есенин - "есенинщина" и т.д.

У мещанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство - все мини. И Родина для них - мини. И дружба народов - тоже. Только разлагатели национального духа народов могут не желать этой дружбы.

Мини торжествует. Посмотрите, что делается порою в нынешней критике - достаточно чихнуть, чтобы тем самым вызвать многомесячную дискуссию. Чих отвлекает - в этом, видимо, и его привлекательность. Но за этим чихом и другой расчет: можно, конечно, допустить самое невинное - любыми способами войти в "историю литературы", примазываясь к истории великого народа. Но наивно так думать. Отвлекусь и сам от разлагающей угрозы мини. Лучше вспомню знакомого (по рассказам земляков) стародавнего деревенского мужичонка по прозвищу Кадык. Выходил он из дому и спрашивал на народе свою жену:

"Мать, ты мясо-то вынула, погляди, не перепреет?" - "Кады-ык, мяса-то еще нету его".

Очень уж хотелось Кадыку похвалиться своим достатком, которого у него никогда не было. Не так ли и иные критики хотят больше "выдать", чем имеют за душой? Но ведь и то верно, что Кадык только в глазах самого себя мог быть богаче.

Если бы у этих мини была только бесхитростность Кадыка!

****

Вот, например, небезызвестный чеховский профессор Серебряков. Все-то свои годики "герр профессор" перегнал на ученые рассуждения о красоте, ровным счетом ничего не понимая в ней. Десятки лет театры и критики высмеивают этого бездарного профессора, все-то знают цену этой посредственности, этому приживальщику в науке, а ему хоть бы что - по-прежнему он заведует кафедрами, "с надменным видом" изрекает ученые пошлости, пишет никому не нужные "труды", величаво заседает, подписывает юбилейные "адреса" и т.д. Как говорит один герой у Бальзака: "Я посредственность, следовательно, я могу добиться всего, чего захочу". Серебряковы и в самом деле могут всего добиться, кроме одной лишь мелочи - оживить свою "ученость" хотя бы одним живым, творческим словом.

А моральная ценность этих светил? Увы, самого квелого сорта. При величавой-то осанке да душу бы "адекватную", как любят говорить эти ученые люди. Нет этого. Вот помните, как стоически переносил свои старческие недуги профессор Серебряков? Вот оно, это мужество в присутствии молодой жены нашего ученого:

"Серебряков. Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Черт бы ее побрал. Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем, должно быть, противно на меня смотреть... Тебе же первой я противен... Конечно; ты права. Я не глуп и понимаю. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старик, почти труп. Что ж? Разве я не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор жив. Но погодите, скоро я освобожу вас всех. Недолго мне еще придется тянуть".

Каков наш проповедник красоты?! А ведь в жизни этот и ему подобные не довольствуются смиренной ролью слабых - им подавай трибуну, откуда бы они гремели на весь свет. Да еще как гремят. Теща Серебрякова Мария Васильевна только и занята целыми днями тем, что читает "брошюры" обожаемого ею зятя-профессора. Для таких Марий Васильевн нет большего остроумия в мире, как шутка профессора: "Повесьте, так сказать, ваши уши на гвоздь внимания"; нет большей тонкости, как профессорские восклицания о природе: "Прекрасно, прекрасно... Чудесные виды". И по-профессорски процветают на этих эффектах, на этой театральности. Выдающимися слывут из-за одной своей осанки или голосовой сгущенности.

Сознательно или бессознательно, но Чехов подметил страшный психологический симптом - духовное вырождение "образованного" человека, гниение в нем всего человеческого - так сказать, в блеске интеллектуальной синтетики. Расплодись повсеместно

серебряковщина - не из чего было бы развиваться роду человеческому. Никакого здесь идеала, никакого намека на самопожертвование, ничего естественного. Фразы, фразы... Вот недавно за границей был очередной симпозиум - сколько речей было там произнесено на тему: может ли творить художник, когда на его глазах умирает с голоду ребенок? Писали в газетах, что весьма интересная была дискуссия. Но можете вы представить себе, чтобы "дискутировали" на эту "тему" Достоевский или Л. Толстой?

Элегантно облаченные в сплошной прогресс, все эти любители симпозиумов искреннейшим образом убеждены, что вокруг их пупа крутится человечество и сама земля. Вы помните "талантливого и многочтимого" либерала Степана Трофимовича Верховенского из "Бесов" Достоевского, который до "страсти" любил "гражданскую роль". Помните, как он написал нечто смелое - поэму, где все поют, даже насекомые и какой-то минерал. Эту поэму вдруг печатают "там, то есть за границей... Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург... Одним словом, волновался целый месяц, но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло".

Ясно, что наш смелый Степан Трофимович преувеличивал свою гражданскую роль, вряд ли кому было дело до него, хотя он "искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его беспрерывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше, и прежде всего при сдаче губернии".

Чтобы полнее представить себе значительность Степана Трофимовича, напомним, что он защитил блестящую диссертацию о "возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами". Кроме того, Степану Трофимовичу принадлежит ряд замечательных мыслей, вроде: "я... всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель"; "К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда".

Конечно, в иных обстоятельствах Степаны Трофимовичи могут менять темы своих диссертаций, переваливаться на иной бочок своей "гражданской роли" - по многосторонности своей натуры. Пойдут труды соответственные - с надлежащей фразеологией и неусыпными ссылками. Где-то я читал, как ответил на высочайшее пожалование крепостными один благородный человек: "Куда уж мне до чужих душ, когда и со своей собственной я не умею справиться". Вот такое самоумаление уж никогда не придет в голову "досточтимым" прогрессистам. Они убеждены, что им под силу справиться с таким количеством душ, сколько их в человечестве. Они и не представляют себе иной аудитории, как целое человечество, не народ какой-нибудь. Народ для них - это провинциально.

При образованности-то всеевропейской вдруг такой анахронизм. Что скажут европейские коллеги по всемирному интеллектуальному прогрессу? Образованность слово магическое и всеспасительное. Как же можно представить себе профессора Серебрякова или Степана Верховенского без этого отличия? И культура без них зачахнет. Кто же будет говорить о ней на конгрессах, симпозиумах? Но сами они считают, что не только говорят о культуре, но и делают ее. Заодно с Достоевским - ибо у него и у них, "интеллектуалов", один и тот же "круг идей". Тайна искусства, стихия народной жизни, порождающая подлинную культуру, как море жемчужину, все это, конечно, к делу не относится.

Видимо, есть какая-то роковая дисгармоничность между внутренней ценностью человека и его местом в мире. Мещане часто артистичны, форма у них не только что-то скрывает, но и в какой-то мере поглощает внутренние разрушительные силы. Творческие цели, самоуглубление этим силам неведомы - так они разряжаются смертельной практической хваткой. Это колоссальнейшая энергия, которой хватает и на самопожирание и на торжество. Если не в глубь - то вперед, во все стороны пространства!

Точно так же как выстраданное слово русских художников-классиков рождено страданием и борьбой народа, так истинная культура исходит из недр народного опыта. Даже музыка, которую называют наиболее "общечеловеческим" видом искусства, не оторвана от национальных истоков (хотя бы и духовные кантаты Баха, впитавшие в себя многое из немецкой средневековой музыки). Культура - растение органичное, немыслимое вне народной почвы. Но плодородие этой почвы непостоянно, оно зависит от исторических обстоятельств. И, конечно же, никакой разлив так называемой "высшей образованности" не заменит первоисточника культуры. В истории народов можно вспомнить периоды, когда задавленный, так сказать, необразованностью народ порождал через органы своего самосознания - национальных художественных гениев - непреходящие ценности культуры. Но вряд ли зараженная мещанством (даже и сплошь дипломированная) масса способна оставить по себе что-либо духовно-значительное. Самое прогрессивное умножение такой массы культуры никак не сулит. Здесь можно быть оптимистичным только на манер того зарубежного прогноза, который недавно был опубликован в "Литературной газете". "Ни прожорливость читателя, ни жажда знания не смогут обеспечить непосредственный контакт с совокупностью даже наиболее значительных творений человеческой мысли, когда одновременно будут творить тысячи Рафаэлей, Моцартов..." Стало быть, не такое уж сложное дело - размножение художественных гениев. Это, так сказать, неизбежно-прогрессивное дело (уже по одному тому, что прошлое всегда и во всем хуже настоящего, а тем более будущего). Самоуверенность такого рационализма имеет давнюю историю. Может быть, наиболее разительный пример - как свора музыкантов после смерти Баха переделывала его произведения, "поднимая" их на уровень "современного звучания". Бах был для них "неотесанным". У нас в России в 20-х годах много пришлось повозиться с русскими классиками режиссеру Мейерхольду: только после основательной перекройки их книг, урезывания всего "неотесанного" и приклеивания нового, "современного", эти писатели обретали "достойный" голос.

Казалось бы, ведь страшно подумать: сама тянет в себя непостижимая глубина; неужели же можно, стоя у этой пропасти, примериваться аршином, дабы одеть эту бездну в некий современный костюм?

Кстати, вот тема для будущего исследователя: с какой целью так методически выхолащивалось на сцене (и не только на сцене) слово русских классиков? Кое-что может пояснить письмо научного работника В. Трухтанова о постановке А. Эфросом чеховских "Трех сестер" на Малой Бронной (газета "Советская Россия" от 13 февраля с.г.): "... огромная тахта на авансцене - эмблема спектакля. Чуть ли не все герои побывали на этой тахте. Чего только на ней не происходит: и валяются от безделья, и целуются, и бьются в истоме, когда играет молодая кровь... В чеховской пьесе - твист. Это ли не фиглярство?..

В театре на Малой Бронной чуть не каждую неделю перед сотнями людей звучат монологи "офицериков" Тузенбаха и Вершинина о будущем, о том, что оно будет прекрасным, о том, что ради него лишь и стоит жить. Эти монологи произносятся в таком саркастически-издевательском тоне и над Чеховым, и над теми, кто верит в это, с такими марионеточными подергиваниями и ужимками, что о какой-либо преемственности поколений, взаимном обогащении не только говорить - думать неловко. Зато какой - эффект все наоборот!..

Кто следующий подвергнется экзекуции?.. Пушкин, Горький, а может быть, Тургенев или Островский?"

Автор письма спрашивает: "Какие идеалы вы несете взамен ниспровергаемых? Пока налицо только разрушение". Виден ли конец этому разрушению?

И как же заразительна "культурная" элегантность! В самом деле, если мы умнее (потому что современнее) наших предков, если скоро будет преизбыток Моцартов (всех даже невозможно будет приметить), то что нам какой-то прошлый Моцарт! Насколько беспредельны наши прогрессивные возможности, можно судить, например, по такому отношению к красоте. Один философ первых веков нашей эры отмечал в красоте ее

"способность ранить душу человека, оставить в ней след неизгладимый" (привожу слова одного историка). Гете считал, что красота может быть только преходящей. Две бездны - Мадонну и Содом, божественное и дьявольское видел в красоте Достоевский. А мы сейчас куда основательнее проникаем, исчерпывая это понятие красивым ширпотребом.

Можно писать диссертации о красоте; одеваться красиво, то есть модно; сидеть в красивом ресторане, красиво выпивая и покуривая; прищуривание, эрудированные разговоры, тонкость намеков - все распрекрасно. Но так все это пестрит, мельтешит, что, как ни старайся наедине, ни за что не соберешь эту воздушную красоту в какую-то одну точку, которая хоть чем-то задела бы душу. Пыль какая-то.

Смеяться разучились. Смотришь: здоровый мужик, добродушнейшая физиономия - думаешь, вот освежит душу своим столь же добродушно-открытым смехом, а он изобразит такое нечто учтиво-чичиковское, что тошно становится. Иначе нельзя - так принято, так культурно. А если мы вернемся к профессору Серебрякову, то здесь ни один шаг не обходится без "культуры", не говоря уже об его важном писании. Конечно, Серебряковых ничем не проймешь, они ни на минуту не сомневаются в историческом значении своих унылых монографий, но все-таки я приведу слова Фейербаха: "И подобно тому как ценность и содержание жизни не определяются количеством лет, так и ценность и содержание сочинения не определяются количеством листов. Жизнь, заключенная в кратком афоризме, может скрывать в себе больше духа, смысла и даже опыта, чем жизнь, многословно выраженная скучным профессорским или канцелярским стилем"

Это верно, что живет только то, где "больше духа" (не отрадно ли, не справедливо ли, что духовная значительность, выраженная в слове, не пропадает). Но верно и то, что это значительное может долгое время быть погребенным под корою незначительного, которое из-за своей доступности неистребимо.

Творческое требует силы, внутренней независимости, индивидуальности. Другое дело - видимость, форма "интеллектуального". Это уже всем доступно, достаточно лишь усвоить набор каких-то правил, изречений. В этой рационалистичности объединяется самая разномастная компания - от ученого схоласта до девицы с дипломом, которая обо всех новинках искусства может весь вечер щебетать.

****

Все на свете можно опошлить, и в этом бессмертная заслуга бессмертного мещанства. В свое время Блок писал об интеллигентах-философах, ищущих бога с кафедры, в "людской каше", при обилии электрического света. Таким сытейшим ораторам как бы отвечал Чехов в одном из своих писем: если веры в истину нет, "то не занимать ее шумихой, а искать, искать одиноко, один на один со своей совестью..."

Но в том-то и дело, что никак не могут "искать одиноко" эти динамичные деятели. Потому что осатанело крутятся в них цитатные и прочие "культурные" приспособления, и не могут они работать вхолостую. Вот тут-то и подавай на размол побольше "проблем" всякого сорта - начиная от судьбы мировых цивилизаций и кончая кибернетическим стихотворчеством. Попадись на вид Гл. Успенский с его болью - вот уж будет "блеск"!

Боль, "кровопролитная битва" на шахматной доске, атомная бомба, моднейшие актрисы - все одинаковая пища для крутящегося внутри интеллектуального агрегата.

И самая смерть для таких счастливцев щенячье дело.

Говорят, что Моцарт умер вскоре же после "Реквиема" так он был потрясен сокровенной загадкой бытия, выразившейся в его "Лакримозе". Но вот я слышал, как говорил молодой музыкант, вернувшийся из Боткинской больницы, где только что умерла его жена: "Понимаешь, так хватала из кислородной трубки, сжимает ее, дергает, а у самой уже в это время окисление мозга начинается..." Ему бы бежать с этого шестого этажа, где он так расписывал смерть жены, чтобы в голове кровь с мозгами не перемешалась, чтобы не броситься самому из окна, а он так научно вникает... Как бы посмеялся этот любитель

изящного, передай я ему рассказ моей бабушки о том, как умирала ее дальняя родственница: "Говорит всем: вы возьмите в руки свечи, зажгите их и мне одну дайте, чтобы я не в темноте пошла на тот свет, а с огоником".

Поделюсь наблюдениями. Иногда я хожу на кладбище Донского монастыря (от нашего дома поблизости). Не было еще дня, чтобы не слышал: "Скажите, а где могила Салтычихи?" Но не слышал ни разу: "Скажите, а где могила Чаадаева?" Или: "Где могила историка Ключевского"? Видимо, Салтычиха действует поострее...

Как короед, мещанство подтачивает здоровый ствол нации. Живя только этим подтачиванием слепым или злобно-сознательным, мещанство не способно подняться повыше своих несложных (хотя и разрушительных) инстинктов. Исторический смысл нации? Для мещанства это пустота. Для него "общие" идеи пустой звук, его греет только то, что можно попробовать на ощупь, что можно сегодня же реализовать на потребу брюха. Чтобы что-то утверждать, нужна способность к творчеству. Поэтому мещанство так визгливо-активно в отрицании. В этом у него способности изощреннейшие, эрудиция современнейшая вплоть до ссылок на заклятых зарубежных "друзей" и т.д. Это мещанство самая желанная почва для разлагателей народного духа.

***

Вообразите себе самочувствие Герцена, который покинул Россию ради "свободной речи" в Европе и вот в этой Европе начинает задыхаться от миазма буржуазной пошлости. Потом-то у Герцена вырвалось: "Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на Родину. Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели".

Вообразите себе ужас Герцена, который бежал за границу, полный надежд и веры в европейское духовное процветание, и вот обнаруживается, что духовного-то процветания и нет, а есть "мелкая и грязная среда мещанства, которое, как тина, покрывает зеленью своей всю Францию", а есть лавочники, буржуа, безликая икра людская. Сколько ненависти в герценовских словах о буржуа, который "обрюзг, отяжелел", который "смеется над самоотвержением", каменея в "разврате самом гнусном". Катастрофично оскудение: "Все мельчает и вянет на истощенной почве: нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, нету силы воли... все нищают, не обогащая никого: кредита нет, все перебиваются со дня на день; образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут, как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими, никто не берет оседлости: все на время, наемно, шатко".

Можно представить себе такой вопрос Герцену со стороны воображаемого оппонента: "Вот вы говорите о русском народе, так сочувствуете ему за всякие там его страдания, но что будет, когда он достигнет благополучия, достигнет просперити? Вы уверены, что тогда-то, без голодухи-то повальной, без которой не обходились русские, ваш народ будет глубок духом? Будет готов к толчку для обновления человечества? Не проест ли его тля столь презираемой вами буржуазности?" Герцен мог бы в ответ сказать: "Буржуазная Россия? Да минет Россию это проклятие!"

Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. Это равносильно параличу для творческого гения народа. Что же тогда оставляет народ в памяти человечества? Когда нация не застыла еще в определенных формах, когда внутренние силы ее мощно бродят, пусть потенциально, тогда есть историческая надежда. Но может ли она быть, когда нация нивелируется в стандарте самых несложных прагматических идеалов и потребностей? Это упрощение заразительно в нынешнем мире. Американизм духа поражает другие народы. Уже анахронизмом именуется национальное чувство. Какие там могут быть судьбы народов, когда, по словам одного зарубежного социолога, Европа не что иное, как "единый индустриальный организм", где взаимосвязь разноплеменной массы целиком определяется технико-организационными факторами. Интеграция - вот словцо, которым эти

ревнители "единого организма" хотели бы духовно просветить народы, зараженные национальным "анахронизмом". Так интегрировать, чтобы начисто соскоблить этот дикий пережиток национального, народного, чтобы перемещать всех во всеобщей индустриальной пляске. Чтобы ни духа, ни памяти о прошлом, ни самого языка не осталось от этих самых народов, без всего этого груза куда успешнее будет регулирование "единым организмом". Ничего, что с такой "интеграцией" в народах исчезнут атлантиды самобытной культуры, что вместо красочного луга, усеянного цветами, вытянется что-то вроде голого асфальтированного шоссе, что нивелировка породит гибельную для творчества стандартизацию.

Рано или поздно смертельно столкнутся между собой эти две непримиримые силы: нравственная самобытность и американизм духа.

Духовная сытость - вот психологическая основа буржуа, делающая его таким непробиваемо здоровым и в то же время неизлечимо больным. Для творческого человека нет, пожалуй, большего наказания, чем опуститься до этой духовной сытости, но буржуа иного состояния и не знает. Респектабельность вполне побивает в его глазах "юродство какого-нибудь Белинского", нищенствовавшего всю жизнь, а перед смертью, в бреду, что-то кричавшего народу. Ну солидно ли? Или вот еще: дело ли этого ученого Ломоносова рассуждать о "сохранении и размножении российского народа"?..

Гражданская честь заливается жиром. Все бытие в пределах желудочных радостей: довольствуясь этим малым, мещанин только в этом рыгающем содержании и понимает мир.

То, что живот святость материнства, это совершенно ясно. Но есть и брюхо, о котором В. Гюго (по поводу Рабле) сказал: "Брюхо животное, это свинья. Один из отвратительных Птолемеев прозывался "брюхо". Брюхо для человечества страшная тяжесть: оно ежеминутно нарушает равновесие между душой и телом. Оно пятнает историю. Оно вместилище пороков. Аппетит развращает разумение. Похоть сменяет волю... Потом оргия превращается в кабацкий загул... Человек стал штофом водки. Внутренний поток темных представлений топит мысль: потонувшая совесть не может более подать знака пьянице-душе. Оскотение совершилось. Это даже уж и не цинизм: пустота и скотство. Диоген исчез: осталась только его бочка. Довершено. Ничего больше: ни достоинства, ни стыда, ни чести, ни добродетели, ни ума: животненное наслаждение напрямки, грязь наголо... брюхо съело Человека. Конечное состояние всех обществ, в которых померк идеал".

На застоявшуюся кровь буржуа куда острее действует "человечество", нежели местное "народ". Этому провинциализму он сумеет дать надлежащий отпор. Вроде таким вот допотопным словам Гоголя: "Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностью даже в вечной шлифовке с иностранцами". А ведь давно пора бы отшлифовать эту самую "внутреннюю стихию". Да и гостиница дело веселое и прогрессивное, способствующее общению и усвоению культуры...

Национальная культура для мещанства пустой звук. С одинаковым физиологическим напором будет оно говорить и о модном здании гостиницы, и о трагедиях в жизни народа. Первооснова всякого творчества - незримая связь с "телом народа" (употребляя известное выражение Маркса) столь же чужда мещанству, сколь соблазнительна для него международная вокзальная сутолока. Нравственно-психологическая физиономия народа, его место в истории человечества - ведь это требует духовных поисков, к этому надо идти внутренне, самостоятельно...

... Этой зимой, в середине декабря, приехав в родную Мещеру, пошел я со своим дядей в гости к родственникам в Егорово (неподалеку от Спас-Клепиков). В деревне этой родился и жил знаменитый русский художник Архипов. Здесь в каждом доме будут вам говорить об Архипове, так же как в Спас-Клепиках о Сергее Есенине, учившемся тут. Тихая деревушка, вся в зеленой оправе мещерских лесов.

В низеньком домике праздновали рождение дочки молодых хозяев. Трое братьев с женами главенствовали за столом (недавно отслужили в армии и все, то есть молодые мужья,

вернулись домой).

О многом говорили. И вот в этом-то низеньком доме узнал я поближе одного своего земляка. Сам он больше молчал, а говорил о нем его друг, тоже фронтовик и тоже прошедший войну до Берлина, Иван Макарович Марушкин. "Его орудие в Ленинграде в музее стоит. Награжден двумя орденами Славы, двумя Красной Звезды, всего двенадцать наград..."

А этот героический русский человек неприметно сидел тут же в углу лавки и чуть застенчиво улыбался...

Потом, когда в метель мы возвращались лесом домой, я все думал: Лев Толстой знал свой народ. Недаром он так любил своего Тушина. Такие люди спасали Россию. И не в них ли воплощение исторического и морального потенциала народа? И не здесь ли наша вера и надежда?

Журн. "Молодая гвардия", 1968

Освобождение

Голод 1933 года. Замалчивание его в официальной "исторической науке" и мистическая легенда о нем. Идеологическая обстановка в стране, когда писалась моя статья "Освобождение" по поводу романа М. Алексеева "Драчуны" - о голоде в Поволжье в 1933 году. Первый сигнал: в ЦК КПСС на совещании главных редакторов всех столичных изданий секретарь ЦК М. Зимянин осудил мою статью "Освобождение" в журнале "Волга", № 10, 1982. Отрицательная оценка генсеком Ю. Андроповым статьи "Освобождение" и решение секретариата ЦК КПСС по поводу ее (январь 1983 года). Советники Ю.Андропова в ЦК из числа западников-космополитов, "агентов влияния" - будущих "перестройщиков". Травля меня в прессе. Поддержка ряда писателей. Реакция в Литературном институте - ожидаемая и неожиданная. Мое выступление на Ученом совете Литинститута с объяснением моей позиции как автора "Освобождения". Обсуждение моей статьи на секретариате правления Союза писателей РСФСР (8 февраля 1983 года). Обличительные выступления на нем писателей-секретарей под предводительством С. Михалкова и под надзором цековского цербера А. Беляева. Встречи с теми, кто меня громил. Зарубежные отклики на мою публикацию. Рецензия в японской газете "Асахи". Книга немецкого исследователя Дирка Кречмара "Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970- 1985 гг.". Поездка с М. Алексеевым в его родное село Монастырское, по местам его романа "Драчуны".

Летом 1982 года мне позвонил из Саратова Николай Егорович Палькин, главный редактор журнала "Волга", и попросил меня написать для них статью о романе Михаила Алексеева "Драчуны", опубликованном в предыдущем году в журнале "Наш современник". Я согласился и решил прочитать все, что написал до этого о деревне писатель. После уже известной мне, прочитанной ранее повести "Карюха" - трогательной, драматической времен коллективизации истории о лошади, незаменимой помощнице в большой крестьянской семье, - неким "лирическим сиропом", казалось, было размешано повествование в других романах и повестях автора (в духе названия одного из романов "Ивушка неплакучая" - о судьбе русской женщины, не утратившей в годы суровых испытаний душевной красоты, силы любви). И читая, наконец, "Драчунов", поразительно было видеть, как правда в литературе способна выжечь все ложное вокруг себя, как недопустима при ней любая фальшь, любая красивость, велеречивость. Писатель рассказал о том, что он видел, что пережил в детстве в своем родном селе Монастырском, на Саратовщине, поведал о страшном голоде 1933 года, поразившем Поволжье, когда смерть косила массы людей: так впервые была сказана правда об этой народной трагедии, о которой до этого царило полное молчание в нашей художественной и исторической литературе (за исключением упоминания о 1933 годе в книгах того же М. Алексеева).

"Драчуны" вызвали в памяти и личное, связанное с тридцать третьим годом, когда мне

было семь с небольшим лет. Голод тогда, как я могу теперь судить после "Драчунов", лишь краем коснулся наших рязанских мещерских мест. Но навсегда запомнил я слова матери: "Ничего нет страшнее голода". Она еще и по голоду первых послереволюционных лет знала, что такое хлеб из крапивы, дубовой коры, из опилок, отдающих сыростью, из гречневой мякины, после нее все тело начинало щипать, когда утром умываешься, а когда идешь по росе, как иголками прокалывает с ног до головы... Помню, как однажды, когда никого не было в избе, я зачерпнул деревянной ложкой мятую картошку из большой чашки и, услышав, как кто-то идет, подбежал к открытому окну, выходившему в огород, и бросил ложку вниз. Но никто в дом не вошел, мне, видимо, почудилось, что кто-то идет, и было так жаль, что поторопился бросить ложку. Второй раз я не решился взять картошку, боясь, что будет заметно. И помню - в тот год и долго еще потом мечтал я о том, что, когда вырасту, буду председателем колхоза, чтобы вдоволь есть блины. О том, голодном 1933 годе я вспоминал в своей книге "Надежда исканий", вышедшей в 1978 году (глава "В родительском доме").

Народ может извлечь исторические уроки только из полноты своего опыта, сокрытие событий глубинных, трагических способно исказить, деформировать национальное, даже религиозное сознание. Литература, "историческая наука" молчали о тридцать третьем годе, а между тем вокруг него возникали целые мистические легенды. В восьмидесятых годах посылал мне не переставая, и, видно, не одному мне, толстые конверты житель деревни с Могилевщины с машинописными отдельно сложенными листиками. В конце очередного "послания" каждый раз дата: такого-то числа, 92 года по Р. И., то есть "по Рождеству Иванова". О Порфирии Иванове многие слышали как об оригинальном человеке, который и сам жил, и других учил жить в единении с природой, ежедневно обливаться водой, ходить босиком по земле, по снегу и т.д. Но главное не это, а то, что Иванов Порфирий Корнеевич и сам себя считал, и после своей смерти продолжал оставаться в глазах своих поклонников "Господом Животворящим", основателем "новой тотальной религии", объединяющей "бывших христиан, мусульман и буддистов". У новоявленной религии нашлись последователи - "ивановцы" - среди них и тот, кто постоянно направлял мне письма с "посланиями" своих единоверцев. Но что меня поразило, так это следующее место: "Произошло это боговоплощение во время искусственно организованного голода 1933 года, когда умерло семь миллионов крестьян-христиан: коллективный народный вопль о помощи привел ко второму вочеловечению Бога. 25 апреля на Чувилкином бугре (в эпицентре голода) родился свыше Богочеловек второго пришествия - Господь Животворящий Порфирий Корнеевич Иванов".

По поводу этого "второго боговоплощения", как и миссионерских посланий с Могилевщины, я писал в своем цикле "Из памятного" в одном из номеров журнала "Молодая гвардия" восьмидесятых годов: "Может быть, кому-то это смешно, а мне от этого жутко. Голод, массовое вымирание, неимоверные страдания народа, о чем у нас молчали полвека (как будто ничего этого не было), остались в недрах народной памяти и вот в данном случае обратились в болезненно-фантастическое "боговоплощение". В самом эпицентре голода. В этом видится какое-то мистическое примирение с тем, с чем нельзя, собственно, примириться исторически. Не могли пройти бесследно те ужасы, именно из этих необъятных народных страданий и исторгается идея нравственного абсолюта. Так отозвался голод 1933 года в этой духовной фантасмагории. Вряд ли что-нибудь подобное было в истории возникновения религиозных идей; это наше, увы, "русское чудо", новая социальная утопия, от которой мы никак не можем освободиться".

И в заключение у меня было сказано: "Не Крест, а "Чувилкин бугор". Но, может быть, помимо всего другого и неустройство наше, множащиеся беды - от бесплодности наших страданий. Ибо страдания не бесплодны, когда они - с Крестом, с именем Христа, Который страдал на земле и оставил нам тайну страдания, без нее даже и великая жертвенность народа напрасна..."

Вскоре после появления этого моего ответа в "Молодой гвардии" на "миссионерство"

автора с Могилевщины я получил от него письмо, в котором он обвинил меня в пособничестве... сионизму.

Приступил я к статье о "Драчунах" с решимостью прямо, без обиняков говорить, в какой мере исторический опыт народа отразился в современной литературе. Как бы ни льстила себе литература, но она на торжищах жизни всего лишь голос, так сказать, совещательный, не решающий. Литературе не решать, а ставить проблему, предупреждать, предсказывать - и к этому может прислушиваться власть или быть глухой. Нынешняя "демократическая" власть наплевала на всякую литературу, как и на все другое, что не отзывается шелестом долларовых бумажек. Тогда литературу не оставляли без внимания, но вряд ли прислушивались к ней. Для того чтобы к ней прислушивались, литература должна прежде всего уважать себя, должна обрести сознание собственного достоинства, как та нравственная сила, которая нужна людям, обществу, народу, государству. До этого сознания мало кто поднимался. Тон задавала "секретарская литература", книги многочисленных секретарей - Союза писателей (СССР, РСФСР, Московской писательской организации и т. д.). Помимо особых квартир, помимо дач "полагались" им, как правило, издание их собраний сочинений, Государственные и прочие премии, повышенные гонорары и проч. И не мудрено, что при таком положении дел эти "классики" держали курс не на народ, не на государство, а на "высокое начальство".

Помню, во время нашей - членов редколлегии журнала "Молодая гвардия" - встречи с секретарем ЦК КПСС П. Н. Демичевым я обратил внимание: весь угол его большого кабинета, как поленницей дров, был завален книгами. Оказывается, это были дарственные книги писателей партийному идеологу. Любопытно было бы собрать эти дарственные надписи воедино: вот был бы портрет верноподданнической литературы. Туда, на Старую площадь, где размещался ЦК партии, где засели яковлевы-беляевы, - туда и вострила свой взгляд ловкая часть братьев-писателей в расчетах угоднических и потребительских.

Если по отношению к идеологическому "начальству" писатель был покорным исполнителем "указаний сверху", то совершенно менялась его роль по отношению к народу: здесь он считал себя "воспитателем", был убежден, что "формирует народный характер". И уверял себя и читателей, что писатель "за все в ответе". Как-то в одной из своих статей (в "Комсомольской правде" в середине шестидесятых годов) я позлословил по поводу этого взваленного на себя бремени: какое уж там "за все на свете в ответе", ты хотя бы за себя отвечал, за свое слово, хотя бы получше писал, не водил пером по бумаге, как курица лапкой. И как же возмутились ответчики "за все на свете". Так же, как впоследствии возмутились сказанным мною (уже в статье о "Драчунах") о тех писателях, которые настолько залитературились, настолько вознеслись во мнении о "собственной миссии", что забыли, бедные: никакие они не "формировщики" народной души, никакие не попечители, не отцы ее, а всего лишь детки (часто беспризорные), которым впору бы подумать о приведении в порядок, о "формировании" души собственной, прежде чем приступать к "формированию народной души". Ведь еще Гоголь говорил, обращаясь к писателям: "Сначала образуй себя, а потом учи других". Первая часть этого завета была не в моде, зато со второй все было в порядке: писатели вовсю старались учить других. Но никуда не денешься от закона в литературе: сколько вложено, столько и отзовется. И если в себе ничего нет, кроме дара приспособленчества, кроме духовной, душевной мелкости, равнодушия к тому, о чем пишешь, - то чем же могут отозваться в читателе любые твои поучения?

По мере работы над статьей одно сцеплялось с другим, литературное с личным, историческим, и самого меня вело по прямому пути, изменить которому я не мог по зову совести. Собственно, ничего особенного здесь и не было, обычное вроде бы дело, что и должно быть в критике, - соотнесенность литературы и жизни, историзм литературы, которой нельзя изменять узкой идеологичностью без ущерба для самой же идеологии, сила которой всегда в осознании своей исторической правды. Видя на практике, какой существует разрыв между историческим опытом народа и, с другой стороны, литературой, ставшей уже казенной идеологией, я не мог не предвидеть, как будет встречена моя статья на эту тему

людьми, не признающими за писателем права ставить проблемы, предупреждать о грозных симптомах в общественной, государственной жизни. Как показали последовавшие вскоре события, страна двигалась к краю пропасти. Пятая колонна, породившая Горбачева, готовилась к захвату власти изнутри, в недрах ЦК (усилиями всяческих сионистских "помощников", "экспертов", "консультантов"), с помощью амбивалентной марксистско-ленинской идеологии разлагая государственные устои. А в это же время "верные ленинцы", как страусы пряча головы в песок, не желали видеть реальности происходящего и ничего, кроме "пролетарского интернационализма", не хотели знать. Отправил я свою статью под названием "Освобождение" в "Волгу" (за статьей приезжал работник журнала В. Бирюлин) и стал ждать не без тревоги, что будет дальше, когда она была опубликована в десятом номере "Волги" за 1982 год.

10 ноября 1982 года умер Брежнев. Через день я пришел в Литинститут, чтобы оттуда вместе с другими (обязаны!) идти в Колонный зал для прощания с покойным. На кафедре творчества я увидел Валентина Сидорова, - как и я, он работал руководителем семинара. Он стоял у стола, более, чем всегда, ссутулившийся, отвислые губы подрагивали. "Пришел к власти сионист", - поглядывая на дверь, ведущую в коридор, вполголоса произнес он и добавил, что этого и надо было ожидать при вечной взаимной русской розни. Я промолчал, зная, какие средства имеются у "Махатмы" (так называли Валентина Сидорова его знакомые литераторы) против этой розни - "надрелигиозное ученье" Рериха и Блаватской с антихристианской подкладкой.

От Литинститута до Колонного зала, где происходило прощание с Брежневым, совсем недалеко, но шли мы какими-то окольными улицами, так что подошли к Дому Союзов незадолго до его закрытия. И поднимались по лестнице, подгоняемые прикрикиванием милиционеров: "Побыстрее! Побыстрее!"

Андропов. Теперь Андропов! Что нас ждет? И что ждет меня после моей статьи, уже вышедшей в свет? Взгляд сквозь очки - строго испытующий, со зловещинкой. Вскоре дала о себе знать "твердая рука" нового правителя. Стали хватать в рабочее время людей в магазинах, на рынках, в банях - в целях "наведения порядка". Следовало ожидать нечто подобное и в идеологии. И первое как бы предупреждение получили "русисты" (как называл Андропов "русских националистов"), когда он, новый генсек, в своей речи к 60-летию СССР, 21 декабря 1982 года, назвал дореволюционную Россию "тюрьмой народов".

Тогда же узнал я о "проработке" своей статьи "Освобождение" в ЦК КПСС. Вот что пишет об этом свидетель происходившего Михаил Алексеев, автор романа "Драчуны": "В Центральном Комитете партии под председательством секретаря ЦК М. В. Зимянина было проведено экстренное совещание главных редакторов всех столичных изданий, где было и произведено судилище над статьей Лобанова и над главным редактором "Волги" Н. Палькиным, опубликовавшим в 10-м номере за 1982 год эту статью. Будучи редактором журнала "Москва", я присутствовал на том памятном совещании, но именно как редактор, и вроде бы разыгравшаяся трагикомедия вокруг "Драчунов" меня вовсе не касается, а виноват лишь, мол, Лобанов, истолковавший роман в антисоветском духе. В результате главного редактора "Волги" Н. Палькина сняли с работы, М. П. Лобанова, как по команде (а может быть, не "как", а точно по команде), начали яростно прорабатывать едва ли не всеми средствами массовой информации и чуть было не отстранили от преподавания в Литературном институте" (Михаил Алексеев. Избранные сочинения в трех томах. М.: Русское слово, 1998).

Забегая вперед, хочу передать то, что рассказал мне сын Михаила Васильевича Зимянина - Владимир Зимянин, международник, работник Министерства иностранных дел. Уже во времена "перестройки", находясь на пенсии, Михаил Васильевич просил сына передать мне, чтобы я не обижался на него за то судилище над моей статьей, потому что "все шло от Юры", как назвал он по старой комсомольской привычке Юрия Андропова, давшего ему добро на проработку (с соответствующим решением ЦК по этому же вопросу).

Как-то неожиданно для меня было узнать об этом "покаянии", видно, осталось в этом

высокопоставленном партийце нечто живое, казалось бы, немыслимое после тех идеологических медных труб, сквозь которые он прошел.

Но каково конкретно было отношение к злополучной статье непосредственно самого Юрия Владимировича Андропова? В 1994 году в Германии, а затем в 1997 году в переводе на русский язык в Москве вышла книга немецкого историка Дирка Кречмара "Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970- 1985 гг.". В этом по-немецки обстоятельном исследовании приводится, в частности, содержание беседы Ю. Андропова с первым секретарем СП СССР Г. Марковым вскоре же после решения ЦК КПСС о журнале "Волга" и моей статье. "Андропов с сожалением вспомнил в этой связи о статье Лобанова, которая послужила поводом для издания постановления, и сказал, что партийный комитет Саратова "должен еще принять меры". Эта статья "поднимает руку на то, что для нас священно", прежде всего на коллективизацию и Шолохова. Кроме того, она предпринимает попытку ревизии мер партии в 30-е годы, несмотря на то, что "жизнь полностью доказала их правоту"". (Содержание беседы дается со слов Г. Маркова на заседании секретариата правления СП СССР от 12 апреля 1983 года. Архив СП СССР, оп. 37, № 1036.)

Честно говоря, когда я писал статью, никакого замысла "поднимать руку" на коллективизацию и Шолохова у меня не было. В статье есть такие три фразы: "Если в "Тихом Доне" Шолохова гражданская война нашла выражение глубоко драматическое, то равные ей по значению события коллективизации в "Поднятой целине" звучат уже совершенно по-иному, на иной, бодрой ноте. Различие между этими двумя книгами одного и того же автора знаменательно. Питерский рабочий, приезжающий в донскую станицу, учит земледельческому труду в новых условиях исконных земледельцев - это не просто герой-"двадцатипятитысячник", но и некий символ нового, волевого отношения к людям". Вот и все, что сказано о коллективизации и Шолохове в статье размером в шестьдесят с лишним машинописных страниц. Конечно, "на бодрой ноте" - не те слова в отношении "Поднятой целины". Недавно я перечитал этот роман и убедился, что в нем (в первой книге, вторая слабее) чувствуется художническая рука автора "Тихого Дона". Но тогда я имел в виду, главным образом, героя романа Давыдова, питерского рабочего, и даже его прототипа Плоткина, который учит исконных земледельцев, как работать на земле. Что же касается Шолохова, то с его "Тихим Доном" у меня была связана целая жизненная история. Выпускником МГУ я защитил на отлично дипломную работу на тему "Колхозное крестьянство в произведениях современных советских писателей". Мой руководитель, завкафедрой советской литературы Евгения Ивановна Ковальчик, и оппонент, доцент Дувакин, на защите вовсю расхваливали мою критическую работу (а Евгения Ивановна отметила ее как лучшую в "Комсомолии" - в знаменитой тогда огромной, метров десять длины, стенгазете в коридоре филфака). В аспирантуру выдвигались "общественники", каковым я не был, но она и не прельщала после того, как я прочитал "Тихий Дон" и был потрясен художественной силой его. Меня потянуло туда, где жил и творил Шолохов, и после окончания МГУ в 1949 году я поехал в Ростов-на-Дону по вызову, который мне устроил мой дядя по матери Федор Анисимович Конкин, работавший секретарем одного из райкомов партии города. Помню, когда поезд мчался по донской земле, я из окна вагона смотрел на расстилающиеся степи и все думал: неужели этот великий писатель живет в наше время?

А в Ростове жизнь распорядилась совсем не так, как я предполагал. Поступив на работу в редакцию областной газеты "Молот", я рассчитывал поездить по донской земле, по местам гражданской войны. Скрутил меня туберкулез легких, который переборол романтику, хотя от того благоговение перед творцом "Тихого Дона" не исчезло. И когда спустя десять лет, уже живя в Москве, приехал я в Ростов и благодаря Анатолию Калинину оказался среди других литературных гостей Шолохова в гостинице "Дон" - то сплошным переживанием для меня были те долгие часы, когда я слушал и смотрел на писателя. Видно, глубоко засел во мне образ автора "Тихого Дона", овеянный трагизмом времени, что вот и тогда, на той встрече, в живом Михаиле Александровиче я видел того Шолохова. (О встрече с Шолоховым

я рассказал в журнале "Слово" в начале девяностых годов.) И в своей литературной работе я не скрывал своего преклонения перед автором гениального "Тихого Дона", творцом образа Григория Мелехова, сына "серединного народа", который своими поступками, действиями, кровавыми схватками в бою расплачивался за умственные спекуляции, "поиски обновления" героев из интеллигенции типа толстовского Пьера Безухова (об этом моя статья "Тихий Дон" и русская классика" в книге "Надежда исканий".- М., 1978).

Так что я никак не могу признать справедливым обвинение меня в том, что я "подымал руку на Шолохова".

В недавно вышедшей книге Т. Окуловой-Микешиной "Бесовщина под прикрытием утопий" впервые исследована роль в разрушении великой державы такой касты, как советники из числа западников-космополитов последних советских вождей, начиная с Хрущева. Об истории возникновения этой касты рассказывает один из подобных советников Г. Шахназаров в своей книге "Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника". "Это была первая группа такого рода. В какой-то мере ее создание было навеяно опытом американцев. Как раз в те годы президент Кеннеди привлек к себе на помощь для совета специалистов из числа крупных политологов, историков, экономистов. В моду входили так называемые мозговые атаки, предлагавшие правителям веер альтернативных решений. Нечто вроде этого задумал только что возведенный в сан секретаря ЦК КПСС заведующий отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран Юрий Владимирович Андропов". По признанию мемуариста, эта группа была "своего рода инородным телом в чиновничьем организме, какой представлял собой аппарат ЦК КПСС". По его же словам, в политической жизни противостояли два лагеря: "в одном - великодержавники, славянофилы, или евразийцы, в другом - западники, интегралисты, или космополиты". Новоиспеченная группа консультантов Андропова и состояла исключительно из западников-космополитов, таких, как Г. Арбатов, Г. Шахназаров, А. Бовин, А. Черняев, Ф. Бурлацкий и т.д.

В своих мемуарах Ф. Бурлацкий бахвалится, что Андропов называл его и других своих консультантов "духовными аристократами". Заметим, не то, что нас, "славянофилов", - презрительным словом "русисты". Читая мемуары этих "духовных аристократов", видишь, сколько высокомерия и презрения у этой ядовитой, поистине инородной публики к "серой массе" цековских работников, в том числе и к самим членам Политбюро из русских, и вместе с тем как дружно, образуя неразрывный круг, демонстрируют они свои "особые отношения" с Андроповым, сначала секретарем ЦК КПСС, а затем генсеком - вплоть до того (как рассказывает об этом Бурлацкий), что Юрий Владимирович доверительно почитывал им свои стихи, дружеские стихотворные послания, чем, оказывается, он увлекался.

Недавно в нашей печати (газета "Советская Россия", 8 апреля 2000 года) приводились слова заместителя госсекретаря США Тэлботта о том, что академик Арбатов стал "другом Америки" еще с семидесятых годов. В качестве агента влияния в интересах США действовал он и как консультант в ЦК КПСС. Ему были всегда открыты двери кабинетов генсеков... Вот одна из историй. Партийная комиссия во главе с одним из членов Политбюро при проверке работы академического Института мировой экономики установила факты "засоренности института сионистскими элементами", пришла к выводу, что "институт дезориентировал руководство страны относительно процессов, происходящих в мире". Директор этого института Н. Иноземцев оказался, что называется, в подвешенном состоянии. И тогда на выручку своему другу и единомышленнику бросился Арбатов. Как он сам рассказывает в своих мемуарах "Затянувшееся выздоровление (1953- 1985 гг.)", придя к Брежневу в его кабинет, он начал обвинять парткомиссию в необъективности, клевете на директора Института мировой экономики, и первой же реакцией Леонида Ильича на эти слова было то, что, положив руку на телефон, он спросил: "Куда звонить?" И этот звонок генсека в присутствии Арбатова прекратил расследование преступной деятельности агентов влияния. Как пишет автор названной выше книги "Бесовщина под прикрытием утопий": "Насколько обоснованными были выводы комиссии, можно судить и по тому, что бывший сотрудник

этого института Д. Саймс после эмиграции в 1973 году в США стал там консультантом Совета по разведке ЦРУ". Со вступлением Андропова на высший пост в партии панибратское отношение с ним Арбатова приняло такой наглый характер, что новый генсек счел нужным в письме к "академику" несколько урезонить его. Сам поклонник, опекун "интернационалистов"-космополитов в литературе и театре, вроде шатровых, юриев любимовых, евтушенок, Андропов не нуждался в арбатовском оголтелом навязывании ему роли апологета еврейской "творческой интеллигенции". Тем более что всему должно прийти свое время...

В том же докладе к шестидесятилетию СССР, где он назвал дореволюционную Россию "тюрьмой народов", Андропов ратовал за "слияние наций" в одну "советскую нацию", прекрасно, конечно, зная, что есть одна нация, заинтересованная в "слиянии наций" и которая сама никогда ни с кем не сольется, - это народ по имени "И.". И в этом вопросе его консультанты оставались, разумеется, все теми же "духовными аристократами". В ЦК партии при Андропове проблемами национальных взаимоотношений в стране занимался А. Бовин, зав. группой консультантов. С наступлением "перестройки" он начал открыто проповедовать, как обозреватель "Известий", то, что раньше попридерживал до лучших времен. В газете "Московский литератор" (25 мая 1990 года) я привел факт, как на I съезде народных депутатов РСФСР из редакционной комиссии был исключен главный редактор "Советской России" В. Чикин за публикацию в этой газете "Манифеста антиперестроечных сил", известной статьи Нины Андреевой. И далее я писал: "Почему бы во времена хваленого "плюрализма" не дать слово и этому автору? (Нине Андреевой.) Ведь печатают же небесспорные материалы в других газетах, скажем, статьи А. Бовина с яростной защитой сионизма ("Известия", №239 за 1989 год, №21 за 1990 год), но от того главный редактор этой газеты И.Лаптев не подвергался же политической обструкции, а, напротив, даже преуспел, оказавшись выбранным председателем Совета Союза Верховного Совета". Вскоре после этого бывший консультант Андропова сионистский идеолог А. Бовин отбыл в Израиль в качестве посла России на "обетованной земле".

Оголились при Горбачеве, сбросив с себя показные идеологические покровы, и другие бывшие генсековские консультанты. (Экс-шеф ЦРУ Гейтс пишет в своих воспоминаниях: "ЦРУ с энтузиазмом отнеслось к Горбачеву с момента его появления в начале 1983 года как протеже Андропова". Кстати, с приходом Андропова к власти вернулся из Канады в Москву оголтелый русофоб А. Яковлев, ставший его ближайшим советником, а при Горбачеве - "главным архитектором перестройки".)

Таким образом, из всего сказанного выше видно, что представлял собою круг духовно близких Андропову людей и что, собственно, стояло за осуждением им моей статьи "Освобождение". Не могла найти в данном случае сочувственного понимания и моя ссылка в этой статье на Штокмана из "Тихого Дона", революционера-троцкиста, который натравливает одну часть казачества на другую его часть (Мишку Кошевого на Григория Мелехова) и считает "опаснее остальных, вместе взятых" Григория Мелехова, требуя его поимки и расстрела именно как представителя "серединного народа", сердцевины его.

О, тогда мне было не до этих рассуждений! Жуткая тень не просто КГБ (где работали разные люди и где, конечно же, были скрытно сочувствующие русским патриотам), а самого Андропова нависла над моей бедовой головой. Предстояло только ждать своей участи. Незадолго до этого подвергся допросу в КГБ историк С. Н. Семанов за хранение купленных им номеров машинописного русского патриотического журнала "Вече", который редактировал В. Н. Осипов. Тогда же С. Семанов был снят с поста главного редактора журнала "Человек и закон". Как стало известно впоследствии, этому предшествовала секретная записка Андропова в Политбюро, в которой речь шла и о Семанове как "русском и антисоветском элементе". И вот теперь мы оба, знавшие друг друга со второй половины шестидесятых годов, давние "молодогвардейцы", оказались в схожем положении. Мы встретились с ним около его дома, на Большой Дорогомиловской улице, рядом с Киевским вокзалом. Долго петляли как зайцы по переулкам и дворам, по привокзальной площади,

остерегаясь быть услышанными даже и там, хотя чего вроде бы таиться и скрывать - как "русисты" мы были все на виду в своих писаниях. По крайней мере, так я мог сказать о себе, когда писал, стараясь уйти в "русский дух", в чем виделось мне наиболее действенное противостояние разлагателям России. Сколько я ни общался до этого с Сергеем Николаевичем, все казалось теперь празднословным в наших прежних отношениях, и только сейчас что-то новое холодком общей опасности коснулось нас обоих. Оба мы, видимо, смахивали в чем-то на окруженцев, и командиром моим был в этих знакомых ему местах Семанов, уверенный, что за ним следят и надо заметать следы.

Между тем пущенная в ход по приказанию генсека идеологическая машина набирала обороты. Заведующие отделами ЦК КПСС - агитации и пропаганды Б. Стукалин, культуры - В. Шауро послали докладную записку в секретариат ЦК партии с осуждением моей статьи. И того, и другого я никогда не видел в лицо и позднее мог составить представление о них, встретившись с ними.

Набросились на меня борзописцы, первыми П. Николаев, Ю. Суровцев, В. Оскоцкий - давние мои попечители. Сегодняшнему читателю эти фамилии ничего не говорят, но тогда это была одиозно известная (во всяком случае, в литературных кругах) свора отпетых русофобов - достойных папашек нынешних "демократических" телекиллеров. Прошло три с половиной года после той истории с моей книгой об Островском, когда Николаев, о чем рассказывалось выше, так тешил себя ролью распорядителя травли, за это время он заматерел в этой роли и теперь, с выходом решения ЦК по моей статье, первым вылез добивать осужденного. "Освобождение... от чего?" - многозначительно назвал П. Николаев свою статью, опубликованную в "Литературной газете" 5 января 1983 года. По поводу названия этой статьи автор "Драчунов" М. Алексеев пишет в том же послесловии к трехтомнику, что я подвергался нападкам "за то, что первый указал, чего может добиться писатель, освободившись от внутренней цензуры, раскрепостив и душу, и перо свое, - это и только это продиктовало умному и честному критику и заголовок, и все, что сказано им под этим заголовком". И у меня в статье сказано: "Не решившийся до сих пор говорить об этом, только дававший иногда выход сдавленному в памяти тридцать третьему году - упоминанием о нем, автор набрался наконец решимости освободиться от того, что десятилетиями точило душу, и выложить все так, как это было". Вроде бы ясно, о каком освобождении идет речь, но моему обличителю требуется политическая улика, и вот он "расшифровывает" заголовок статьи как освобождение от всех социалистических основ, как неприятие коллективизации, индустриализации, марксистско-ленинской идеологии, классовой борьбы, "завоеваний советской литературы" и т. д.

Вслед за Николаевым лягнули меня В. Оскоцкий в газете "Литературная Россия" 21 января 1983 года, Ю. Суровцев в "Правде" 13 февраля 1983 года. Как Николаев партвластью был наделен некоей функцией идеологического надзора над литературой, правом "вершить суд" над неугодными писателями, так Суровцев являлся недреманным оком по части разоблачения фабрикуемой им же самим "опасности русского шовинизма". В должности секретаря Союза писателей СССР он "курировал национальные литературы", разъезжал по республикам страны, по рашидовым-шеварднадзам-алиевым, раздуваясь, как клоп, на паразитировании казенно-интернационалистской "дружбы народов". И всюду, куда ни приезжал, сеял русофобию, ненависть к "захватнической, колониальной политике царской России", дразнил "опасностью русского шовинизма", науськивал местных националистов на русских людей. Ему были открыты двери всех партийных изданий, где он свободно мог навесить на нежелательное лицо любой ярлык. Ныне ставший "демократом", этот тип уже без прежних партийно-классовых масок в открытую называет своего главного врага, объявив в печати, что он пишет книгу "Конец русской идеи". Не рано ли торжествуешь!

"У страха глаза велики!" Вспомнилась мне Лубянка, где я был осенью 1966 года по делу моего литинститутского "семинариста" Георгия Белякова...

Первое, о чем я подумал в наступившем для меня безвременье, - это устранение возможных улик. Собственно, никаких улик и не было, но мало ли что... В свое время Илья

Глазунов дал мне изданную за рубежом книгу Солженицына "Ленин в Цюрихе" с портретом на обложке вождя какого-то склеротического облика в зловеще-кровавом отсвете. Видя мое колебание (брать - не брать), он уличил меня в непонимании, что на эту книгу найдется масса охотников, готовых платить за нее большие деньги, а я даром не беру из-за трусости советского человека... И тут же предупредил, как бы отталкиваясь от меня жестом поднятых перед собою рук, что если я выдам его, то он объявит, что этого советского человека он не знает, видит в первый раз. (До этого я не раз был в его мастерской.) Для Ильи Сергеевича суть была, видимо, не в Солженицыне, а в самом Ленине, которого он недолюбливал, именуя "картавым". Впоследствии я лучше узнал Илью Глазунова, читая лекции в созданной им Академии живописи и ваяния, и оценил по-настоящему этого феноменального во многих отношениях художника и человека, его поистине великие заслуги в выращивании молодых русских художников-реалистов. Что же касается врученной мне книги, то в ней больше путающего себя с Лениным Солженицына, чем Ленина (недаром Александр Исаевич, как мне передавала по телефону первая его жена Наталья Решетовская, считал, что он похож на Владимира Ильича, и потому так охотно пишет о нем). Читать я ее никому не давал, и вот пришел черед аутодафе для нее. Жил я тогда в "хрущевке" на Бескудниковском бульваре, в крохотной однокомнатной квартирке, заваленной книгами, и, с трудом разыскав ту злополучную, приступил вместе с дочерью Мариной к сожжению ее в туалете. До чего же долго, чадно тлели клочки разорванных страниц, особенно куски глазурованной, с багровыми отсветами обложки.

Наступила пора моей домашней блокады. Безмолвствовал телефон, замолкли знакомые. Вдруг звонок из Твери. Звонит Петр Дудочкин, который до этого присылал мне свои статьи против пьянства, спаивания народа. Говорит о моей статье, кричит: "Рыба плывет нереститься против течения!" В Литературном институте узнаю, что на занятии по текущей литературе Н. Томашевский поздравил студентов... с выходом моей статьи. Лично я не был знаком с ним, знал его как автора честной вступительной статьи к двухтомнику Константина Воробьева, изданного в Прибалтике. Потом я познакомился с ним, вместе выезжали в 1989 году в Курск, на родину Воробьева, в связи с его юбилеем - восьмидесятилетием со дня рождения, как-то он засиделся допоздна у меня в номере гостиницы и все рассказывал о Воробье, как любовно называл он Константина Воробьева, признавался, как много значил этот писатель в его жизни, сколько он натерпелся от его резкого, трудного характера и все мог простить ему за незаурядность его личности и таланта. О Константине Воробьеве писал и я в своей статье "Освобождение", но мог бы добавить и нечто из личных встреч - как впервые, кажется, летом 1960 года, встретился с ним на квартире Михаила Карунного, в доме против Военторга, в центре Москвы. Карунный заведовал отделом прозы в издательстве "Советская Россия", где и выходила тогда первая в Москве воробьевская книга. Сразу же у меня с Воробьевым произошла схватка из-за Леонова: я тогда был, можно сказать, одержим любовью к Леонову (в 1958 году в издательстве "Советский писатель" вышла моя книга "Роман Л. Леонова "Русский лес""), мерилом моих симпатий к писателям было их отношение к Леонову. Доходило до анекдотичности. Как-то в статье одного публициста, помнится, Н. Грибачева, мелькнула отрадная для меня фамилия, и вроде бы сам этот публицист стал для меня другим. Но, увы, фамилия-то была не Леонов, а Лесков, и автор тут же стал для меня прежним Грибачевым (дело было не в Лескове, он и без того Лесков, а Леонов наш современник, недооцененный, как я думал, по достоинству). Мы оба с Воробьевым кричали, один вознося непомерно Леонова, другой ругая его чуть ли не как графомана. Синь глаз моего литературного противника вонзалась в меня льдинками неприязни, напряженные мышцы лица искажали ту его волевую чистоту, которая бросилась мне в глаза, как только я тогда увидел его. Все-таки мы и в тот раз отошли от взаимной горячки, а позже в издательстве "Советская Россия" встретились уже как добрые знакомые. Со временем, лучше узнав его как писателя, я понял, что ему, с его "жгучей правдой войны", с его жестким характером "правдолюбца", не до леоновской "велеречивости", как он довольно предвзято судил о творчестве Леонида Максимовича. Но закончу о верном

поклоннике "Воробья" - Н. Томашевском. Не знал я никого из своих знакомых, кто бы так, как этот не русский по национальности человек, предан был памяти близкого ему русского писателя. Вспомнилась мне его слабая, чуть виноватая улыбка, когда я узнал о смерти, настигшей его в далекой от Москвы деревне.

Были с нами в той поездке по курской земле В. Астафьев, Е. Носов, московские, курские писатели. Незадолго до этого в журнале "Сельская жизнь" (№ 1, 1988), говоря о моей статье "Освобождение", Астафьев сказал, что автора ее "очень хотели уничтожить". Тогда Виктор Петрович был щедрее душой, как бы добрее к русским людям, и, они можно сказать, объединялись, кучковались вокруг него в той поездке. Где-нибудь на остановке, выйдя из машины, собравшись в круг, все, включая секретаря обкома партии, разинув рот слушали россказни Виктора Петровича, изумительные по живописной языковой лепке, с простонародной "солью", - под хриплый хохот его самого. Кажется, только однажды случилась заминка в господствующем положении Виктора Петровича как рассказчика. Дело было на банкетике перед нашим отъездом. Астафьев сидел рядом с Евгением Носовым во главе стола, добавляя к пирушке перцу своих шуток до тех пор, пока слово не взял его внушительный сосед. Евгений Иванович заговорил не о каких-нибудь пустяках, а о самом Микеланджело, и таким голосом, что его сосед, задававший тон застолью, несколько притих, а затем совсем смолк, поглядывая с делано-ироничной, а больше явно смущенной улыбкой на восседавшего рядом эпического собрата. С таким же почтением, как о Микеланджело, говорил Евгений Носов о "высокой культуре маленьких народов Прибалтики. В Эстонии я не видел ни одного лопуха, это в России все лопухами заросло".

Но я все отвлекаюсь. Итак, первым поддержал меня в Литинституте незнакомый мне тогда Николай Томашевский. Но общая атмосфера была настороженной, ожидающей. Встретив меня в коридоре, тогдашний проректор Евгений Сидоров просил зайти к нему в кабинет. Стены небольшого кабинета были увешаны гравюрами с видами парижских бульваров и улиц, казалось, наш проректор уютно чувствовал себя здесь, как в маленьком Париже. Со временем он окажется сам парижанином, пройдя путь от ректора Литинститута до министра культуры России, а потом став представителем России в ЮНЕСКО. Он начал разговор с того, что назвал мою статью обаятельной, но, по его словам, я слишком подставил себя, тут же он заверил, что выступать против меня не будет, но просил, чтобы я в своем выступлении на Ученом совете, где будет обсуждаться моя статья, не упоминал в отрицательном смысле Троцкого. Что-то интригующее было в этом предупреждении: не поменялось ли сверху отношение к Льву Давидовичу? С этой мыслью я и ушел от Сидорова, гадая, каких можно ждать перемен.

Решил я встретиться с Михаилом Алексеевым, который по моей вине влип в историю, о коей он и не помышлял. По выходе в свет моей статьи он расхваливал ее на все лады разным лицам, начиная с руководителей Союза писателей и кончая даже моей дочерью Мариной (когда она вместо меня подошла к телефону), но вот грянул сигнал со Старой площади. После моей статьи роман Алексеева, по его собственным словам, "был вычеркнут из списка соискателей Ленинской премии". Градус расположения ко мне Михаила Николаевича естественно понизился, что я сразу же и заметил, войдя в кабинет главного редактора журнала "Москва". Шел я туда, как это ни странно показалось бы ему, чтобы поддержать его, может быть, нуждается в информации, какая у меня есть относительно нашего уже ставшего общим дела. Но никаких вопросов у него ко мне не было, да и не чувствовалось никакого интереса к моему приходу, и когда я помянул ему о предупреждении Сидорова насчет Троцкого, Михаил Николаевич тут же быстро проговорил: "Не надо называть Троцкого, не надо!" И, не понимая опять-таки, почему нельзя называть Троцкого, полагая, что, вероятно, им известно то, чего мне не дано знать, - я счел разговор поконченным и ушел.

Уже не помню, по какому поводу встретился я в ту пору со Свиридовым Николаем Васильевичем, председателем Российского Госкомитета по печати. Николай Васильевич благоволил ко мне, не раз приглашал меня на беседы, когда готовил для какого-нибудь совещания документ, доклад, вроде, помнится, доклада о детской литературе. Присутствовал

при этом главный редактор Комитета Петр Александрович Карелин, который тепло относился ко мне еще со времен его работы в "Известиях", с конца пятидесятых годов, где я иногда печатался. На этот раз мы были одни с Николаем Васильевичем, и как сейчас вижу его взгляд - пристальный и в то же время какой-то отсутствующий, какого я раньше никогда не видел у него. Он ни слова не сказал о моей статье, хотя я был уверен, что именно ею и были заняты сейчас его мысли, всей этой идеологией вокруг нее, вышедшей из стен ЦК, где он когда-то работал и токи которого как бы доходили до его кабинета. Интуитивно чувствовалась мною настороженность моего собеседника, и, чтобы не ставить его в неловкое положение, я простился с ним и, перед тем как выйти из кабинета, желая вывести его шуткой из смутительного состояния, проговорил громко и бодро: "Наше дело правое, победа будет за нами!" Николай Васильевич реагировал на мою выходку так же, как в свое время военный писатель Василий Соколов, которому на его телефонный звонок в день Пасхи я крикнул приветственно в трубку: "Христос Воскресе!" - и ответом было молчание.

Впоследствии работавший в Комитете по печати поэт Артур Корнеев, хорошо знавший, по его словам, Свиридова, передал мне лестные слова Николая Васильевича о моей тогдашней "смелости" в разговоре с ним. От него же, Корнеева, я узнал, какой страх пережил Свиридов в дни августовского путча 1991 года: он боялся, что его арестуют, будут пытать и расстреляют. Напомним, что по радио "демократы" призывали в те дни доносить на всех тех, кто поддержал гекачепистов.

Наступил, однако, день 20 января 1983 года, когда я должен был держать ответ за свою злополучную статью на заседании Ученого совета Литературного института. Двадцать лет работал я в Литинституте, вроде бы знал всех присутствующих, но что будут они говорить? Как меняется человек, оказавшись на трибуне, в обстановке официальной, с ее требованиями единогласия! Но вот смотрю на Владимира Федоровича Пименова, который, как всегда перед открытием собрания, заседания, по-орлиному оглядывает собравшихся, и на память приходит десятилетней давности история со статьей А. Яковлева "Против антиисторизма". Тогда он смягчил направленный на меня удар, и сейчас я почему-то ожидаю этого же. И что это так и будет, я почувствовал по началу же его выступления. Привычно начальственным тоном, двигая густыми бровями, он объявил "об одном обстоятельстве, которое имело место недавно", - о моей статье, критике ее в печати, и здесь я приведу (по стенограмме) его слова, которые, на мой взгляд, дают наглядное представление о нем как человеке. "Нам не нужно допускать такие ошибки: ведь мы не только писатели, критики, журналисты - мы еще и преподаватели, мы воспитываем молодых литераторов, молодежь! В статье Лобанова мы видим ревизию линии партии в коллективизации. Нельзя допускать нарушения законов историзма, нельзя делать никаких ревизий в этом вопросе... Ведь если бы не было колхозов - мы не победили бы в Великой Отечественной войне!

Не надо и неправильно было бы говорить о некоей "абстрактной" душе крестьянина. Душа - это то, что не стоит на месте, развивается диалектически, и игнорировать классовую борьбу, которая тогда шла по всей стране, - нельзя.

Да, тридцатые годы были сложными, но нечего сводить это время только к разрухе, только к кошмарам и голоду".

И уже после выступлений других ораторов, в своем заключительном слове, как ректор и ведущий заседание, Пименов сказал: "Все, что мы здесь сказали, Лобановым должно быть воспринято как серьезная критика. Мне хочется, чтобы он признал свои ошибки в критике Шолохова, в описании деревни тридцатых годов, коллективизации. Итак, Ученый совет сегодня совершенно справедливо признал статью М. П. Лобанова в журнале "Волга" неправильной и ошибочной. Заседание закрываем, повестка дня исчерпана".

Я и сейчас, читая все, что говорил тогда Пименов, чувствую, как не хотел он обострять разговор, придавать ему политический характер, даже слова "ревизии линии партии" воспринимались мною как проходные в общем строе его спокойной, можно сказать, лояльной речи. А ведь мог бы он, говоря о том, что мы не только писатели, но и преподаватели, воспитатели молодых литераторов, вспомнить ту давнюю историю с моим

студентом Георгием Беляковым... Ту самую историю, которая доставила ему как ректору столько служебных неприятностей, идеологических проверок. Но об этом он не вспоминал, как будто ничего этого не было, так же как и на литинститутском партсобрании по этому нашумевшему делу я не услышал от него ни одного обвинительного слова в мой адрес как руководителя злосчастного моего семинариста.

И с его словами о коллективизации я согласен - конечно, без нее мы не победили бы в Великой Отечественной войне! И тридцатые годы - это, конечно, не только разруха, не только голод, не только репрессии, но и невиданный массовый созидательный энтузиазм, небывалый для истории России доступ для народа к знаниям, образованию, поистине извержение из народных недр талантов во всех областях жизни - от государственной до культурной, И очистительные 1937- 1938 годы, когда эти таланты были призваны крепить мощь страны, заменяя места устраненных разрушителей и болтунов троцкистского толка!

Колоритный был человек Владимир Федорович! Как я уже говорил, он был сыном священника, и это "изгойство" преломлялось в нем демонстративным, довольно забавным иногда "атеизмом". На партсобрании он как-то возмущался: "Вчера в общежитии захожу в студенческую комнату и вижу - читают! Что бы вы думали? Библию читают! Видите ли, заинтересовались Библией! Нечего им больше читать!" - и оглядывал ряды сидящих в зале с деланым театральным изумлением, - недаром в свое время был он директором театра Вахтангова, главным редактором журнала "Театр". В другой раз с той же трибуны поведал нам о том, как пошутил над ним Сергей Михалков недавно, во время открытия Всемирного конгресса защитников мира. "Сидим с Михалковым. Объявляют президиум. Михалков говорит: "Пименов, иди в президиум. Тебя назвали!" Смотрим: лезет в президиум поп Пимен!" - под смешок в зале.закончил ректор Литинститута. Это - о Патриархе Пимене, кстати, на средства Патриархии и был организован этот конгресс. Когда мы вместе с Владимиром Федоровичем были в ГДР, кажется, в 1980 году, он на приеме в Лейпцигской ратуше нахваливал сидевшего рядом с ним руководителя отдела культуры горкома СЕПГ, ярко выраженного еврея, называя его "перспективным работником". "Неперспективные" немцы, мне показалось, довольно сочувственно реагировали на кадровый прогноз советского геноссе.

Родовое "изгойство" нисколько не помешало Пименову всю жизнь подниматься по служебной лестнице. Как не помешало священство отца А. М. Василевскому (он и сам окончил духовную семинарию в Костроме) стать одним из самых выдающихся советских военачальников, Маршалом Советского Союза. (Кстати, Сталин упрекнул Василевского за то, что он. прервал связь с отцом-священником, посоветовал забрать старика отца к себе в Москву.)

Вообще Пименов - фигура характерная для сталинской эпохи и отчасти эпохи брежневской с ее "застоем", но никак не для хрущевской с ее гнилой "оттепелью" - но на этом я не буду останавливаться.

Вернусь к заседанию Ученого совета. После Пименова выступил завкафедрой советской литературы Вс. Сурганов. В Литинститут он пришел работать недавно, перевел его сюда проректор Александр Михайлович Галанов из пединститута имени Ленина. До этого заведующим этой кафедрой был Виктор Ксенофонтович Панков, человек милый, всегда улыбающийся, но критик весьма всеядный, который в свои статьи, как в мешок, запихивал подряд всех чистых и нечистых, вопящих от соседства друг с другом, и завязывал это скопище узлом соцреализхма. После смерти Панкова, услышав о называемых кандидатах на "освободившееся место", я пришел к Галанову и предложил пригласить на эту должность Александра Овчаренко. Александр Иванович не раз оказывал мне добрые услуги. Он был официальным оппонентом на защите моей кандидатской диссертации в МГУ Написал положительную внутреннюю рецензию на мою рукопись, которая долго мытарилась в издательстве "Современник", после чего дело несколько продвинулось. Он предлагал мою кандидатуру в качестве руководителя аспирантов в Академии общественных наук при ЦК КПСС, хотя и безуспешно. Зав кафедрой в этой академии, знаменитый в писательских кругах

"серый кардинал" Черноуцан поставил на моей фамилии крест, объясняя это тем, что у меня нет педагогического опыта (хотя я уже долгие годы работал в Литературном институте, где, кстати, работаю и теперь, более сорока лет, с 1963 года). Когда я заговорил с Галановым об Овчаренко, он с хитроватым пониманием взглянул на меня (дескать, знаю я вашего Овчаренко) и сказал, что есть более приемлемая кандидатура. Таким более приемлемым оказался Сурганов, который, став зав кафедрой, с помощью Галанова с его цековскими связями переехал из Подольска в Москву, поселился в элитном цековском доме по соседству с главными редакторами, партбоссами.

Первое мое впечатление о нем было как о человеке, который несколько ушиблен "пятым пунктом", в частности касательно русских. Как-то шла защита дипломных работ, выступал мой семинарист Муравенко и начал говорить о разнице между американской и русской литературой в пользу последней. Сурганов был оппонентом моего выпускника, и как же я был удивлен, когда он накинулся на него, как на "квасного патриота", "русского шовиниста". "Какой же он русский шовинист, когда он украинец, живет в Киеве!" - не выдержав, крикнул я. Неожиданно для меня Сурганов заметно смутился и не нашелся ничего иного сказать, как только: "Я не знал, что он украинец". Со временем я увидел, что он все-таки из числа "умеренных", а по поводу моей статьи резонерствовал об "искажении в ней общей картины литературного процесса".

Слово дали шолоховеду Федору Бирюкову. До этого он нашептывал в коридоре членам Ученого совета, что "надо спасать Лобанова", а теперь с ходу начал обвинять меня в клевете на Шолохова, на социализм, даже на трактор: "Ведь трактор - это идеологическое и политическое орудие! Поэт Безыменский, который побывал в годы коллективизации в деревне, так писал о тракторе..." И продекламировал с прыгающим от пафоса лицом стихотворение Безыменского о тракторе. Я слушал и не верил своим ушам - всегда льстил мне, призывал в коридоре "спасать" меня, а здесь такая злоба, откуда она? Эх, русачки мы, русачки! Чего стоят наши патриотические слова, когда мы в трудное время топим друг друга! Впрочем, можно иногда видеть, как из этой топи протягивается рука в знак запоздалого примирения. Тот же Бирюков спустя пятнадцать лет после описанной выше истории защищает вдруг меня в газете "Советская Россия" (13 ноября 1997 года) от А. Яковлева, вспоминает, как меня "немедленно пригласили для объяснения на партийную группу кафедры творчества. Он пришел, привел примеры, как высокопоставленный автор извратил его тексты, стараясь приписать всяческие грехи" и т. д. Да и я тоже, уже недавно, при встрече с ним почувствовал себя неловко за то нехорошее слово в коридоре, и мы мирно поговорили друг с другом, жизнь коротка, особенно в нашем с ним возрасте, и так много кругом взаимной неприязни.

Смотрю на Евгения Сидорова, который должен сейчас выступать. Вспоминаются слова, сказанные им при разговоре со мной в его кабинете, что он не будет выступать против. Но эта фраза почему-то прокрутилась в моем сознании с обратным смыслом: скажет же что-нибудь против. И почему-то я решил, что не пропустит Евгений Юрьевич то место в моей статье, где приводятся адресованные Зиновьеву слова Ленина о необходимости активизации массового террора в Питере в связи с убийством Володарского. И я как в воду глядел. Сказал обо мне добрые слова как о критике, как о преподавателе, и вдруг о том самом... Тонко сказал: есть в статье место, которое дает основание думать о Владимире Ильиче как о стороннике терроризма.

- Это не я говорю, - бросил я с места. - Я цитирую из книги Давида Голинкова "Крушение антисоветского подполья в СССР".

- Тем хуже! - как-то молниеносно парировал Сидоров, как ракеткой в пинг-понге, что поставило меня просто в тупик.

Но в целом отношение его ко мне выглядело, говоря его любимым словом, толерантным. "Михаил Петрович Лобанов - человек уважаемый, он хорошо работает в институте, никаких административных мер мы применять к нему не можем и не будем. Но обсуждать книги и статьи, вызывающие споры в печати, мы должны обязательно". И в

последней фразе назвал мою "главную идею" - "мечтательно-консервативной". Видимо, в этом была какая-то доля истины, хотя и было для меня странно...

Почему из такой мечтательной консервативности загорелся сыр-бор на самом верху партийной власти? Может быть, и там переоценивали возможности "русской почвенности", не веря в полную силу в то, что было уже явью, - в наличную реальность радикальную, имеющую давние революционные традиции и уже готовую перейти в новое свое состояние - "перестроечно-криминального" толка.

А в итоге-то могу сказать только доброе слово о "толерантности" ко мне Евгения Сидорова. Даже и когда я написал о нем в "Молодой гвардии" что-то "изящно-двусмысленное" по поводу того его "тем хуже", он не затаил обиду и, уже будучи министром культуры России, повстречавшись со мной во дворике Литинститута, рассказал мне о своей инициативе по некоторому улучшению пенсионной обеспеченности группы писателей-фронтовиков, в которую включил и меня, за что я, по своему инстинкту христианскому считать грехом неблагодарность, ответил ему благодарным письмом.

С обычной ко мне доброжелательностью выступил Виктор Тельпугов, заведующий кафедрой творчества, при этом, разумеется, оговариваясь, что статья моя "действительно вызывает определенные возражения с политической точки зрения", и тут же именуя меня "нашим товарищем, прекрасным критиком, которого мы все любим и уважаем". Привожу здесь эти эпитеты, конечно, не ради дешевой саморекламы, а чтобы показать, насколько порядочным было поведение Виктора Петровича, как, впрочем, и некоторых других.

Как всегда, отличился Валерий Дементьев: статья Лобанова порочна своей антипартийностью, антиисторизмом; чему такой преподаватель может научить студентов Литинститута?

В заключение слово было предоставлено мне, и я зачитал следующий текст:

"Хочу поблагодарить за критику моей статьи "Освобождение", которая получила такой резонанс, которого я не ожидал. Я чувствую себя обязанным сказать несколько слов о замысле статьи. В основе ее - анализ романа М. Алексеева "Драчуны", затронувшего сложную, острую проблему первых лет коллективизации. Известно, что имели место две точки зрения о путях социалистического строительства в деревне. Все мы знаем позицию Ленина по этому вопросу. В своей статье "О кооперации" он говорил о необходимости перехода к социалистической деревне наименее болезненным путем, "наиболее простым, легким и доступным для крестьянства". Пока не будет создана материальная и культурная база для такого перехода - "до тех пор это будет вредно, это будет, можно сказать, гибельно для коммунизма". В статье "Странички из дневника" Ленин говорил о недопустимости задаваться "предвзятой целью внедрить в деревню коммунизм".

Совершенно иной была позиция Троцкого, который требовал исключительно принудительных мер в отношении крестьянства, тотальной милитаризации крестьянского труда: "Утверждение, что свободный труд, вольнонаемный труд производительнее труда принудительного - было безусловно правильно в применении к строю феодальному, строю буржуазному, но не к социалистическому".

К сожалению, после смерти Ленина на отдельных этапах коллективизации скрытые троцкисты продолжали проводить линию Троцкого в вопросе о крестьянстве. В основе романа М. Алексеева и лежит эта трагическая ситуация - когда крестьяне пошли по новому пути. И, вместе с тем, столкнулись с троцкистскими методами работы в деревне. Наши идеологические противники - советологи - используют эти известные факты в выгодном для них антисоветском смысле. И заслуга М. Алексеева именно в том, что он не избежал этих фактов, а осветил их с позиции партийной и народной правды (и выбил тем самым возможность идейно спекулировать на драматических событиях нашей истории). Художническая принципиальность, проявленная автором "Драчунов", мне кажется, особенно насущна именно сейчас, когда партия безбоязненно обсуждает, не боится затрагивать болевые точки нашей истории, нашего современного развития.

Журнал "Волга", печатая мою статью о "Драчунах", естественно, ориентировался как

на партийность позиции автора романа, так и на полную убежденность в искренности, идейную недвусмысленность моей позиции в отношении романа. Именно из указанной выше позиции по вопросу о крестьянстве я и исходил, когда писал свою статью. И если статья воспринята не так, как я хотел, - значит, я не донес до читателей свою мысль, излишне лаконичную, конспективную в некоторых местах. Тут есть над чем мне подумать, и я, безусловно, приму к сведению предъявленные мне упреки. Однако я могу искренне сказать, что никаких нигилистических целей я не преследовал в своей статье. Все, кто знает мою работу в критике на протяжении десятилетий, могут подтвердить, что мне всегда были глубоко чужды любые проявления диссидентства и я никогда не держал и не собираюсь держать идеологического кукиша в кармане.

Еще раз благодарю за критику, над которой я еще много буду думать и которая не пройдет для меня бесследно".

После Ученого совета предстояло мне еще пройти через партгруппу кафедры творчества. Здесь на меня накинулись Евгений Долматовский и Валерий Дементьев. Долматовский кричал: "Вы пишете, были троцкистские методы в коллективизации. Это клевета! Я сам организовывал колхоз!" Для меня это было сюрпризом! Пятнадцатилетний городской мальчик переделывал "темное" тысячелетнее крестьянство, командовал и учил, как жить и работать на земле! Дементьев в упор, как следователь, угрожающе допрашивал: "Вы признаете критику Центрального Комитета?!" И потом где только он не топтал меня: в издательствах "Советская Россия" и "Современник", в Госкомпечати, в Союзе писателей РСФСР, на всех заседаниях, в редакции журнала "Октябрь" (он был там членом редколлегии), где мне присудили премию за статью о В. Белове - к его пятидесятилетию - и тут же отменили, как только Дементьев устроил в редакции шум против меня.

Этот Дементьев в свое время, во второй половине шестидесятых годов, прочитав какую-нибудь очередную мою статью в "Молодой гвардии", останавливал меня при встрече во дворике Литинститута и скороговоркой хвалил ее, оглядываясь при этом, не идет ли кто-нибудь из них. Попросил он как-то меня написать рецензию на его книжку очерков о "памятниках культуры", но все это было так посредственно и безлико, "а-ля Русь", что у меня рука не поднялась писать об этом опусе. В те годы в Союзе писателей РСФСР мне было поручено вести работу с молодыми критиками, и, естественно, я использовал эти свои обязанности для того, чтобы привлекать побольше русских в качестве руководителей, участников обсуждений, семинаров. Но в самом начале семидесятых годов с уходом, вернее, снятием с поста руководителя Союза писателей РСФСР Л. Соболева и приходом на его место С. Михалкова ответственным за работу с молодыми критиками сделали Валерия Дементьева, и все переменилось. Из состава членов бюро и совета по критике он убрал почти всех русских, и хотя меня это не коснулось, я не мог оставаться в этой компании. Замелькали одни и те же фамилии в роли руководителей критических семинаров, ведущих участников совещаний. Книпович - Перцов - Гринберг - Молдавский - Борев и т. д. И соответствующий отбор для систематически проходивших семинаров тех молодых зоилов, которые затем пополнят антирусскую орду в критике.

За моим делом в Литинституте, как мне рассказывал секретарь нашей парторганизации Н. Буханцов, внимательно следил Краснопресненский райком партии, требуя исключения меня из партии и снятия с работы, но до этого не дошло. И вне стен Литературного института было немало лояльных и сочувствующих мне. Владимир Лазарев на собрании московских писателей открыто выступил в защиту статьи и журнала "Волга", за что получил партийный выговор. Не скрывали своего положительного отношения к статье Вадим Кожинов, Сергей Семанов, Юрий Лощиц, Юрий Селезнев, Марк Любомудров, Николай Кузин, из молодых - Сергей Лыкошин. Встретил я человеческую поддержку и со стороны Андрея Туркова, несмотря на разницу наших литературных позиций.

Выше приводились слова генсека Ю. Андропова в беседе с первым секретарем Союза писателей СССР Г. Марковым, что с выходом статьи "Освобождение" в журнале "Волга" партийный комитет в Саратове "должен еще принять меры". И меры были приняты. На бюро

обкома партии тогдашний первый секретарь обкома В. К. Гусев добивался ответа: как все это могло произойти, как могла выйти такая статья? В местной партийной газете выступил ее редактор с самыми отъявленными политическими обвинениями в адрес автора статьи, журнала. Оказывается, Лобанова в Москве давно раскусили, так он, как вражеский агент, проник в "Волгу" и произвел эту идеологическую диверсию. Хотя никуда я не проникал, журнал "Волга" сам обратился ко мне с просьбой написать статью. На собрании местных писателей должно было бы, по обычаю того времени, повториться все то, что было сказано в столичной прессе и местным начальством. Но тут вдруг не все пошло по команде. Один из местных писателей, Василий Кондратов, назвал статью правильной и заявил, что через пять лет отношение к ней будет совсем другое. Надо знать положение писателя в провинции, чтобы оценить такое мужество.

8 февраля 1983 года состоялось обсуждение моей статьи "Освобождение" на секретариате правления Союза писателей РСФСР под председательством С. Михалкова. Я думаю, любопытно было бы привести в сокращении некоторые выступления (по стенограмме).

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

8 февраля 1983 г. Председательствует - С. МИХАЛКОВ.

С. МИХАЛКОВ. Товарищи!

Разрешите мне считать заседание секретариата открытым.

У нас сегодня секретариат должен быть ориентирующим нас на будущее и настораживающим наших редакторов в связи с тем, что журнал "Волга" опубликовал статью Лобанова, которую Центральный Комитет партии определил как ошибочную. Обком партии вынес главному редактору Палькину строгий выговор, соответствующие взыскания получили товарищи, которые были причастны к публикации этой статьи. А выводы нам нужно делать здесь.

Статья Лобанова уже обсуждена, статья Лобанова получила соответствующую оценку в "Литературной газете", в "Литературной России", и, я думаю, мы не собираемся здесь воспитывать тов. Лобанова. Он достаточно взрослый человек. Это не новичок в литературной критике и литературоведении. В его статье ясно выражена его позиция, его точка зрения на нашу современную литературу. Можно сказать шире: это его мировоззрение. И поэтому воспитывать и учить тов. Лобанова мы не собираемся. Но поскольку мы ответственны за такие публикации в наших журналах, мы должны делать соответствующие выводы.

... Удар по нашей литературе нанесен через него, отталкиваясь от него, интерпретируя то, что вздумалось интерпретировать критику. Начиная с шолоховской "Поднятой целины" он проявил недоверие к писательскому слову, сказанному за все предыдущие годы. Я уж не говорю о том, что Лобанов одной фразой зачеркивает всю детскую литературу. По его мнению, такой литературы вообще нет. Но это пусть, Бог ему простит, такая литература есть! Лобанова не будет, а детская литература будет. Но это не предмет нашего сегодняшнего обсуждения.

Нам небезразлично, что взгляд на нашу советскую литературу, на литературные явления становится материалом для проповедничества неверных идейных позиций в отношении литературы. Для нас небезразлично то, что читатель и молодые писатели вводятся в заблуждение, и небезразлично то, что тов. Лобанов преподает в Литературном институте. Вероятно, он и там знакомит своих студентов со своими теоретическими взглядами. ...

Произведение современного писателя, писателя-коммуниста, произведение критика, очеркиста в нынешних условиях должно быть в какой-то степени маяком, маяком, по которому надо равняться, который указывает путь. И если этот маяк светит не туда, то

оказывает ли он помощь нашему большому "кораблю"? Нет, наоборот, он сбивает его с верного пути. А мы рассчитываем наши журналы на широкую читательскую массу и должны понимать, что нельзя читателя сбивать с толку. ...

Литература - есть часть общего большого партийного дела. А у нас то и дело появляются произведения, не являющиеся частью нашего большого партийного дела.

В.ДЕМЕНТЬЕВ. ...Шолохов ... не мог просто так сказать, что питерский рабочий приехал учить земледельцев, станичников труду. Что же на самом деле происходит в романе? В главах 25, 29, 24 речь идет о том, что учат конкретно, как пахать, Семена Давыдова, причем учит его Разметнов, учит Любишкин. ... Или другой пример: Кондрат Майданников прочел целую лекцию Семену Давыдову перед тем, как тому взяться за чапыги, он учил его, как нужно пахать на быках.

Так где же питерский рабочий учит станичников земледельческому труду?

В. ФЕДОРОВ. Это метафора.

В.ДЕМЕНТЬЕВ. Она неверна. Это вроде ложного маяка, идя на который корабль может подорваться. Это метафора, но нужно понимать, в каком контексте она должна быть. ...

Дальше. Особенно мне близок А. Твардовский. У него вырывается клочок фразы, что Твардовский-де в период написания "Страны Муравии" прибегал к методу изображения или перевода реальности в план несколько условный и что этот метод в дальнейшем дал свои большие результаты.

Что же получается, по Лобанову? Получается, что Твардовский "Страной Муравией" открыл целую серию фальшивых произведений тем, что он отрывал все от действительности, от реальности и все переводил в условный план. На самом же деле все это не так, потому что категория условности у Твардовского - категория эстетическая. Это высказывание он употребил значительно позже, в своей биографии в 1954 году, когда в нашей литературе шла дискуссия по поводу подобных изображений в литературе и по поводу реализма в литературе. ...

Я не говорю о том, что перечеркиваются Камю, Маркес, перечеркивается Куприн, вплоть до московской школы. Во многих местах Лобанов нарочно темнит, то есть прибегает к формально нарочитым многозначительным ссылкам на франкфуртскую школу. Как будто никто не читал философов Мартина Хайдеггера, Маркузе, Адорно. Ни один не читал, только он прочитал. ...

В некоторых местах концепция Лобанова сводится к тому, что в русской деревне было благолепие, все было прекрасно, но вторглась какая-то инфернальная сила - и все пошло кувырком. ...

Я напомню один эпизод. Один барин вблизи села Покровское приказал разметать стог сена, который был собран из пятидесяти возов, как уверяли мужики. Этот барин долго спорил с крестьянами. И когда разметали один стог, в нем оказалось тридцать два воза, а не пятьдесят. С кем же это было? С Константином Ивановичем Левиным. И написал об этом Лев Николаевич Толстой. Так было. Такие были мужики, и таков их благостный лик, каким он и должен быть в нашем сознании.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Михаил Лобанов знал, на что шел. Статья осмысленная и осознанная. Это - поступок, и не нужно делать вид, что мы чего-то недопонимаем.

Я ее прочитал внимательно и не принял ее внутренне, принципиально и категорически. Считаю, что статья нанесла большой вред нашему литературному делу, нашей критике и нашему читателю. Очень жаль, что сегодня нет здесь Михаила Петровича, было бы правильней пригласить его сюда.

В.ДЕМЕНТЬЕВ. Он был на Ученом совете в Литературном институте, он ничего не принял.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Я не согласен с тем, что мы не должны воспитывать, не должны учить. Нужно бороться за каждого человека, и за Лобанова тоже. Нужно спорить, аргументировать и силой, и убедительностью фактов. Потому что Лобанов - это не просто Лобанов, это -

тенденция. Нужно спорить и доказывать, нужно давать точную партийную характеристику.

Статья Лобанова написана просто ..., надо отдать должное Лобанову - это его лучшая, очень сильная статья, потому что он шел здесь на бой. ...

Практически круг за кругом снимается все, что дорого нам, что осталось во имя человечества. Сделано это своеобразно. ...

Роман "Драчуны" написан как прелюдия к роману о Сталинграде. Люди, которые прошли через эти тяжелейшие испытания, жизнью своей спасли Отечество, страну.

Вот позиция автора романа Михаила Алексеева. Она вся обращена в будущее. Позиция же автора статьи Михаила Лобанова реакционно-романтическая, то есть в качестве позитива у Лобанова - позитив веховский. Эта статья - заключительный, завершающий аккорд развития Лобанова, которое он прошел за последние десять - пятнадцать лет. Это продолжение идеологии, которая вошла в русскую общественную мысль после революции 1905 года как попытка отречения от русских революционных традиций и поворота сознания в направлении защиты реакции. Кокетничанье с веховской линией в конечном счете, будучи логическим продолжением, приводит именно сюда.

В этом смысле, я бы хотел сказать, данная статья - это, не просто факт плохого редактирования журнала "Волга".

Эта статья свидетельствует об очень трудных, в какой-то степени кризисных, явлениях в нашей критике, теоретическом мировоззренческом разброде... Н. ДОРИЗО. Я согласен с тем, что говорил Феликс Кузнецов, особенно в последней части. С одной только фразой я не соглашаюсь. Я имею в виду ущерб, нанесенный Алексееву. Удивительная история произошла с этой статьей. У меня полное ощущение, что статья написана не о романе Алексеева, который я прочитал, а совсем о другом. И эти две вещи существуют порознь. ...

У Алексеева за плечами большая литература, тот же "Вишневый омут". В романе "Драчуны" Лобанову нравится только одно, что Алексеев дошел до вершины, когда он показывает голод. Но это однобокое и неверное отношение к литературе, которое не может не вызывать чувство внутреннего желания спорить. ...

Насчет того, что нет у нас детской литературы, - я об этом даже не хочу разговаривать. Говорить об этом - это значит ломиться в открытую дверь. У меня лично, как у человека, больше всего вызвала возмущение странная и неверная трактовка Лобановым рассказа Платонова "Возвращение".

Это, товарищи, - Ремарк, а не Платонов. Это - западная литература. ...

Если бы говорил человек, который не прошел войну... У нас есть фильмы, созданные людьми, которые не были на войне, и это чувствуется. Но Лобанов воевал, а позиция его вызывает чувство спора. ...

Е. ИСАЕВ. "Волевое начало",- осуждает Лобанов. Смотря какое волевое начало. Есть волевое начало дьявола, и есть волевое начало Бога. Это разные вещи. Если бы не волевое начало, не знаю, сидели бы мы за этим столом.

В каждом человеке, в каждом обществе есть волевое начало. Это как часть разума, как часть основы. Это государство, прежде всего. Мы еще государство не отменили. Это партийное начало.

Возьмите ту часть статьи Лобанова, где он подвергает критике большое, громоздкое строительство, говорит, что в громоздком строительстве мы потеряли человека. Но если бы к 1929 году мы не начали делать большое железо, что мы получили бы в 1941-м? ...

Если бы не было волевого начала, мы бы экономически и технически не осилили фашизм. У нас в литературе, на мой взгляд, упущена одна очень большая тема - как, каким образом была подготовлена энергетическая система нашего государства, если мы, отступив до рубежа Волги, Москвы, Ленинграда, сумели перевооружить армию, потеряв практически все промышленные центры в европейской части. ...

Так что волевое начало - его нельзя ставить в такое неудобное положение, держать где-то в уголке.

У Лобанова в статье совершена, на мой взгляд, ревизия основной, генеральной

исторической идеи всего нашего государства и всей нашей деятельности, и эта ревизия произошла, к сожалению, на фоне прекрасного романа Алексеева. Мы должны Алексеева защитить и всю нашу литературу от субъективных толкований М. Лобанова.

Ю. ГРИБОВ. ...Мне кажется, в этом нашем заседании нам надо сказать о нашей линии. Между прочим, Лобанов делает всегда такой вид, что он знает что-то такое, о чем не знают другие. А мы знаем, что Лобанов - способный критик. Он учит молодежь и может ее убеждать. Я считаю, что наше мнение об этой статье должно быть самое отрицательное и мы должны серьезно его высказать...

Н. ШУНДИК. ...Я не знаю, возможно, от чего-то и надо освобождаться Михаилу Алексееву, всем, видимо, нам надо кое от чет освобождаться, что стало грузом, но только не от метода диалектического мышления. Лобанов пишет: "Если писатель будет честен перед памятью своих погибших друзей, как он честен в "Драчунах" перед памятью погибших земляков, то новый его роман о войне может оказаться и новым словом о ней".

Но как понимать, по Лобанову, честность М. Алексеева в "Драчунах", если он назвал это произведение "нравственным судом" над его остальными книгами о деревне? Не метафизическим ли аршином измерил Лобанов "Драчунов"? ...

И в заключение еще несколько слов вот по какому поводу.

По-моему, мы достаточно сильны, чтобы ошибки подобного рода осмысливать с достоинством, без зубодробильного пафоса, по-товарищески. Но еще нужна хорошая озабоченность, умение и желание не потешать наших врагов, не давать им повод бесноваться по этому поводу: вот, мол, смотрите, расправа над инакомыслием. А у нас, господа, никакой расправы. У нас мужской разговор. И уж будьте уверены, мы в своих делах разберемся сами по всем правилам нашей безукоризненной чести.

С. МИХАЛКОВ. Ошибки Лобанова не случайность, это его мировоззрение, это - тенденция, это его позиция, причем за ним идут и другие.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Не так уж много.

С. МИХАЛКОВ. Но все-таки идут.

М. АЛЕКСЕЕВ. Некоторые товарищи были участниками расширенного секретариата Московской писательской организации, когда роман "Драчуны" выдвигали на премию. Там выступило семнадцать ораторов, и одним из этих ораторов был автор нашумевшей статьи. Он выступал устно, потому несвязно и трудно - трудно было уловить смысл. Но в зародыше в его выступлении было все то, что появилось в этой статье. Желая мне польстить, он сказал, что после появления романа "Драчуны" писать по-прежнему уже нельзя. ...

Там выступал Кузнецов и говорил, что это не метод - противопоставлять всех и вся. Но, очевидно, секретарям и участникам этого важного заседания будет полезно узнать одно обстоятельство: роман "Драчуны" вышел в начале прошлого года, и с тех пор я получил полторы тысячи писем. И из этих полутора тысяч писем нет ни одного, которое выступило бы против идеологии героев этого романа.

И вторая, не менее существенная деталь. Казалось бы, раз Алексеев написал тяжелые детали о 1933 годе, западные издатели должны были бы наброситься на этот роман. Ничего подобного! А вы знаете, как они подхватывают, если есть хоть маленькая пропагандистская крупица против советской власти.

Если вы помните, противопоставление не только "Драчунам", но и "Поднятой целине" в статье наличествует. А ведь Лобанов мог бы заметить, что в "Драчунах" учительница читает "Поднятую целину" и какой восторг это вызывает у героев. ...

По поводу двух статей, появившихся в "Литературной газете" и "Литературной России". Мне показалось вначале, что, может быть, не нужно сразу из двух стволов ударять по Лобанову, потому что "Литературная газета" - это главный калибр, а потом уж "Литературная Россия". Хотя было бы странно, если бы наша российская газета промолчала.

Б чем я убежден: "Литературная Россия" могла бы подобрать критика более спокойного, более объективного и вдумчивого, чем Оскоцкий. Мы боимся признаться, что групповщина у нас все-таки существует. Даже "Литературная газета" и та вынуждена

заметить, что этот критик за одни и те же ошибки разных писателей судит по-разному: одних карает, других милует. Пусть статья была бы в этом же смысле, но более спокойная, более объективная. В ней слишком много крика. На какой-то пронзительной ноте она написана. Если у Николаева хватило такта написать, что на роман Алексеева была большая критика в газетах и журналах, то Оскоцкий этого не заметил. Он готов меня соединить, слить воедино с Лобановым. Давняя сложившаяся неприязнь Оскоцкого прощупывается и тут. Я не говорю, что такие статьи не нужны. Они нужны. Но хотелось бы, чтобы это был другой, более объективный критик. ...

Я был бы нечестен, если бы сказал, что статья совсем неинтересная. При первом чтении она действует очень сильно. Лобанов - талантливый критик, от этого никуда не денешься. И потому статья произвела большой резонанс.

Ю.ДРУНИНА. Феликс Феодосьевич сказал, что Лобанов знал, что идет на бой. У меня не было при чтении статьи такого ощущения. Я думаю, что он шел на сенсацию. Статей с элементами этого было довольно много. И я буду нечестной, если не скажу, что они мне нравились, потому что это был период, когда у нас все было благостно, прямолинейно, плоско. И когда появлялась такая критика, это было приятно, что мы не боялись ни в глазах собственных, ни в глазах наших друзей в кавычках никаких трудностей, не казались китайцами. Но нужно учитывать время, когда выходят те или иные статьи. Сейчас время сложное. Наступило время "холодной войны".

У меня нет ощущения, что Лобанов хотел похвалить Алексеева.

Был трудный период в нашей истории. 33-й год. Голод. Но уж если говорить об испытаниях, почему же Лобанов не говорит об испытаниях войны? Снова у него получается перекос. ...

Я вовсе не призываю к примитивному, но надо нам подумать об общей линии. Здесь не может быть двух мнений...

В. ФЕДОРОВ. Лично меня статья критика Лобанова очень огорчила, потому что я к Лобанову относился всегда с симпатией. Какая-то материальность в его размышлениях всегда присутствует, и в этой статье она также есть.

Я думаю, что статья написана не в расчете на сенсацию, он достаточно зрелый человек и искренний в своих верованиях, а какие это верования - это вопрос другой. ...

Второе, на что я хотел бы обратить внимание: очень грустно, да и не только грустно, прямо слов нет, когда вы читаете статью Лобанова и видите, что как будто изнутри она патриотична, и вы клюете на это. Вам кажется, что как будто он смелый человек, но какая же это смелость? Когда он бросает какие-то метафорические сравнения, что в революции происходили какие-то ужасные вещи и народ страдал, - и в это же время появился Павка Корчагин. У Лобанова это как-то так высвечено, что уходит Павка Корчагин...

Ю. БОНДАРЕВ. К выступлению наших мудрых критиков добавить здесь нечего с точки зрения эстетической и теоретической. Мне хотелось бы сказать вот о чем. Жизнь дает повод для суеты, для злобы, для печали и радости, для ностальгии, наконец, для самого главного - я имею в виду состояние человека, когда он задумывается о смысле жизни. И думаю, что не нужно здесь вести разговор о неких сиюминутных маяках, а надо судить и ориентировать себя в реальности по звездам, по созвездиям, по главному в жизни. ... Юлия Друнина была права: мы живем в тревожное время. Упаси нас Бог от стереотипного мышления - мысли по одной мерке. Я за дерзость в критике. А это разговор о жизни, о счастье, о смерти, о любви, ненависти и пр. Это ориентация по звездам.

А. АЛЕКСИН. Мы выдвинули роман Михаила Алексеева "Драчуны" на соискание Ленинской премии и правильно поступили, ибо это - явление в нашей литературе.

Я считаю, что статья М. Лобанова по сути дела никакого отношения к роману не имеет. ...

Попутно и походя критик изничтожает и нашу прославленную на весь мир детскую литературу - литературу Аркадия Гайдара, Корнея Чуковского, Виталия Бианки, Николая Носова...

В. ПОВОЛЯЕВ. Лобанов - критик смелый, злой и умный.

Когда мы выдвигали произведение Алексеева на Ленинскую премию, мы говорили, что герои его, мальчишки 1933 года, были потом участниками Великой Отечественной войны. Поэтому попытка Лобанова как-то заслонить эти вещи вызывает у нас совершенно справедливую тревогу.

Я присоединяюсь к высказыванию Друниной, что удар был нанесен всем нам. Может быть, критик занял такую позицию, что надо сталкивать всех лбами, и тем самым он старается завоевать для себя дешевую популярность?

Ю. СБИТНЕВ. ... Я прочитал статью Лобанова с величайшим интересом. Дал мне прочитать ее М. Н.Алексеев, и я ее прочитал, повторяю, с большим интересом. Я увидел, что это статья, мимо которой мы не можем пройти. ...

Что в этой статье есть? Нет там никакой бердяевщины, никакой почвенности. Есть только лобановщина. Все подразумевают какую-то основу, какую-то выстроенную систему. Там системы никакой нет. Там крестьянин убивается.

А он давным-давно не такой, каким его представляет Миша Лобанов. Он не может быть почвенником, потому что такой крестьянин сто пятьдесят лет отсутствует. ...

Литераторов, которых совершенно верно и костромской критик Дедков рубил под корень, мы взяли под защиту. Мы говорим: чеканная проза Афанасьева или необыкновенные экзерсисы Кима, то есть я расцениваю это как выходки, совершенно непонятные критике.

Обрадовала меня эта статья тем, что нам надо заниматься нашим хозяйством очень серьезно...

Ф. КУЗНЕЦОВ. Мазохистская радость, надо сказать.

Ю. СБИТНЕВ. Не случайно было постановление о критике. Мы говорим: мы выполняем его прекрасно. А что прекрасного? Наша литература, периодическая литература, которая существует сейчас, не освещена никак...

А. КЕШОКОВ. Когда мы говорим о выдающихся, известных литературных образцах русской литературы, мы непременно затрагиваем и задеваем и художественные образцы национальных литератур, потому что многие из них возникли под непосредственным влиянием русской литературы. ... Я хочу сказать, что, замахиваясь на русских писателей, Лобанов также замахивается и на национальную литературу.

Критика должна быть преисполнена любви и уважения к тому предмету, который становится предметом исследования, то есть критика должна быть преисполнена любви к литературе, и прежде всего к носителям этой литературы. Без этой любви и уважения критика может быть только субъективной. Эта статья при всех ее других недостатках лишена любви и уважения к литературе вообще и к писателю в частности. Вот в этом, как мне кажется, и состоит вредность этой статьи.

А. ЧЕПУРНОВ. В критике недопустим внеисторический, ненаучный подход, отсутствие диалектического анализа. В статье Лобанова "Освобождение", помещенной в журнале "Волга" (№ 10 за 1982 год), допущено внеисторическое сопоставление произведений разных лет. Подобный метод, намеренно или случайно, может иметь провокационный характер. Искажая истинный, конкретной эпохой порожденный пафос писателя, этот метод приводит порою к неоправданному столкновению крупных явлений нашей литературы. ...

Все это заставляет нас не мириться и не идти на компромисс со взглядами, идущими вразрез с марксистско-ленинской эстетикой.

А. БЕЛЯЕВ. Разговор, который сегодня состоялся на секретариате Союза писателей, показал высокую политическую зрелость наших писателей, и все выступившие здесь товарищи дали верную и точную, партийную оценку статье Лобанова.

Здесь некоторые товарищи говорили, что с огромным интересом читали эту статью. Я должен сказать, что я читал эту статью со все возрастающей тревогой, так как видел, как все глубже и глубже Лобанов запутывался в поднятых им вопросах. Здесь уже отмечали, что статья, в сущности, ставит под вопрос пользу и необходимость проведенного

социалистического переустройства нашей деревни и советскую литературу, которая болела за это социалистическое переустройство и поддерживала его. Несостоятельна и сама методология этой статьи. Она далека от марксистско-ленинской и выявляет слабости мировоззренческой позиции автора.

И очень хорошо, что Московская писательская организация собирается дать бой этим нездоровым тенденциям, которые время от времени проявляются в литературе и которые, надо сказать, находят должную оценку у литературной общественности.

Я присутствую на втором секретариате, где поднимаются подобные проблемы. Нельзя, однако, не обратить внимание на то, что статья Лобанова была опубликована в октябре месяце. Прошли октябрь, ноябрь, декабрь, январь, все читали с интересом эту статью и молчали. Потребовалось решение ЦК партии, чтобы этот интерес повернулся в правильную сторону. Я понимаю, что нужно было время, что-бы переварить все эти "концепции", но ошибочные тенденции, которые уже не раз проявлялись у Лобанова, они всем давно известны. О них говорили, о них писали, и на статью надо было сразу обратить внимание и забить тревогу.

Я не в качестве упрека секретариату это говорю. Упреки надо адресовать членам редколлегии журнала "Волга". Получив эту статью в октябре, они должны были своевременно обратить на нее внимание и дать ей оценку.

Не может не возмущать недостойное обращение Лобанова с молодым талантливым писателем Крупиным. Лобанов ругает его за то, что Крупин честно, по-партийному, по-человечески отнесся к критике своих товарищей и воспринял ее. И непонятно, за что его Лобанов подвергает такому грубому и беспрецедентному поношению в своей статье.

Это должно быть приостановлено. Так мы далеко не уйдем. Тут говорили уже: непонятно, откуда у Лобанова столько презрения к писателям.

Я согласен с Юлией Друниной, что пора кончать играть в политические игры. Они до добра не доведут. Постановление ЦК КПСС о журналах требует от секретариата СП РСФСР сделать очень серьезные выводы и по каждому российскому журналу внимательно разобраться.

Обратите внимание, все скандальные публикации, не прошедшие в Москве, где-то появляются на периферии. На моей памяти второй такой разбор. Один по "Простору", когда была прекращена публикация. И второй по журналу "Волга", где очень некритически отнеслись к столичному критику и прямо "с колес" он пошел в печать. Редактор журнала членов редколлегии не поставил в известность - привыкли.

Я думаю, что постановление секретариата СП РСФСР будет разослано всем журналам, и с учетом последнего постановления ЦК о творческой связи журналов с практикой коммунистического строительства, необходимости повышения требовательности, дисциплинированности оно будет помогать нам успешно выполнять решения XXVI съезда КПСС и указания ЦК о высокой мере ответственности каждого за порученное дело.

С. МИХАЛКОВ. Мы, дорогие друзья, собрались сюда не для того, чтобы судить Лобанова, а для того, чтобы обсудить работу редакций наших журналов, ошибку редакции "Волги". Я думаю, что "Литературная Россия" может дать хороший, подробный отчет о нашем секретариате.

Возражу Юрию Бондареву. Когда я говорил о маяках, я имел в виду идеологические маяки. А наши идеологические маяки не могут превратиться в столбы.

Тут кто-то сказал: надо бороться за Лобанова. Сегодня надо скорее бороться за молодого писателя Крупина. У Лобанова сложившийся характер, философия.

Мы рассчитываем на Московскую организацию, потому что это самая сильная организация. Мы рассчитываем на то, что там надо дать бой выступлениям, подобным лобановской статье. Не нужно закрывать глаза на то, что статья Лобанова, напечатанная в "Волге", имеет и своих апологетов, которые его поздравляют с этой статьей, чьи групповые интересы и чьи тенденции он разделяет. Они разделяют его позицию. Есть люди, которые находятся в боевой готовности, но не на нашей, а на его стороне. ЦК партии посчитал статью

"Освобождение" вредной. Если бы она была безликой, может быть, ЦК не стал бы обращать на нее такое внимание. Но она вредна, потому что она спекулятивно-провокационна. А по отношению к Алексееву критик поступил бесчестно. Лобанов не такой глупый и необразованный человек. Он понимал, что делает.

Я считаю, что убеждать его не нужно. Убеждать нужно редакторов быть внимательными, заведующих отделами критики, молодых литераторов, которые следуют за такими критиками и писателями, которые исповедуют эти же позиции. Мы не в детском саду, чтобы перевоспитывать Лобанова! Да, спорить с ним нужно, но убедить его - вы не убедите. Дементьев сказал уже, что на совете в Литинституте он не отказался от своей позиции.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Бороться против идей, но за людей.

С. МИХАЛКОВ. Посмотрим, какие будут результаты. Напишет ли он что-то честное и искреннее? Если он напишет это сейчас, это будет неискреннее.

Низвергаются маяки. С каких позиций? С наших позиций? С партийных позиций? Пересматривают Горького. Не успел Симонов умереть, его уже ниспровергают. Кожинов ревизует всю нашу литературу об Отечественной войне. Что это такое? ЦК партии не будет спускать нам таких идеологических просчетов, серьезных ошибок. Редакторы должны отвечать.

Мне кажется, сегодня прошел деловой секретариат, все выступили и сказали свое мнение. Мне очень жаль, что Викулов не пришел.

Ю. БОНДАРЕВ. Викулов свое отношение уже высказал.

С. МИХАЛКОВ. Во всяком случае, было бы хорошо, если бы он тоже присутствовал, потому что "Современник" мы обсуждали на секретариате примерно за такие же ошибки.

Я предлагаю принять следующее постановление секретариата:

"Проект постановления секретариата правления Союза писателей РСФСР от 8 февраля 1983 года.

В постановлении ЦК КПСС "О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства" указывается, что редколлегии, партийные организации журналов и авторский актив призваны работать с большей мерой ответственности. Отмечается, что на страницах журналов появляются историко-литературные и литературно-критические работы, авторы которых явно не справляются со сложным материалом, обнаруживают мировоззренческую путаницу, неумение рассматривать общественные явления исторически, с четких классовых позиций.

Эти положения постановления ЦК КПСС были нарушены редакцией журнала "Волга", опубликовавшей статью М. Лобанова "Освобождение" (Волга. 1982. № 10).

Обсудив статью М. Лобанова "Освобождение", секретариат правления Союза писателей РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Считать серьезной ошибкой журнала "Волга" публикацию статьи М. Лобанова "Освобождение".

Обратить внимание главных редакторов на их личную ответственность, а также на ответственность редколлегий и редакционного аппарата за качество и идейно-художественный уровень публикуемых материалов.

Активизировать работу редакционных коллегий, обеспечивая тем самым полную коллегиальность при отборе материалов для печати.

Проводить мероприятия по неуклонному укреплению трудовой дисциплины в аппарате редакций.

Данное решение довести до сведения всех руководителей писательских организаций, главных редакторов и редакций литературных журналов и альманахов СП РСФСР".

Вот такое постановление есть предложение принять. Нет возражений? (Нет.)

Я считаю, что члены редколлегий должны также отвечать, и, если они не читают материалы и потом, после опубликования ошибочных, идейно порочных статей, не высказывают своего отношения у себя в редакции, если они замалчивают это, они должны

или уходить из редакции, или нести ответственность.

Я очень благодарен Ф. Кузнецову за его выступление и что на Московском идеологическом активе будет дан бой этой статье, а у вас есть могучие критические силы.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Надо найти серьезных критиков, а это - проблема. Здесь создалась очень сложная ситуация.

С. МИХАЛКОВ. Но, дорогой Феликс, почему нельзя попросить выступить на этом активе Суровцева, Кузнецова, Николаева, Дементьева, Озерова, Туркова и других?

На этом разрешите закончить обсуждение.

***

Интересные встречи и разговоры были у меня впоследствии с участниками этого обсуждении. Назову поименно некоторых из них.

Н. ДОРИЗО. В Дом литераторов я не любил ходить и крайне редко, случайно оказывался там. Но однажды зашел туда посидеть за столиком в ресторане с дочерью Мариной и моими добрыми знакомыми - профессором-медиком Александром Сергеевичем Бобровым и его милой женой, тоже медиком Людмилой Михайловной. У себя дома она была такой гостеприимной хозяйкой, что казалось, ей некогда присесть к столу, и теперь мне было приятно видеть, как, веселая, не занятая гостями, она отдыхала в нашей маленькой компании. Доволен был и Александр Сергеевич, похваливая давно не пробованную копченую "сталинскую колбасу", аппетитно жуя и дивясь качеству писательской трапезы. Марина как-то не по возрасту неумело, безразлично отхлебывала маленькими глоточками шампанское из бокала, еще не привыкшая к новизне обстановки. А я, чувствуя почти домашний уют за столиком, думал, что и в этом писательском окружении можно уединиться и хорошо провести время. Но недолго длилась эта идиллия.

Неожиданно около стола появился Николай Доризо. Глядя на меня туповатым, нетрезвым взглядом, он протянул мне руку: "Привет, Лобанов!" Не вставая с места, я громко ответил, что не подаю руки тому, кто в мое отсутствие обливал меня грязью.

- Сто граммов без сдачи! - крикнул Доризо стоявшей рядом официантке, выхватывая из кармана бумажку и тут же требуя ответа, крича, почему я не подал ему руки. Я повторил свои слова.

- Мерзавец! - прохрипел он, багровея мясистой физиономией, и, когда я вскочил, он быстро отпрянул в сторону, встал около женщины, видимо, из администрации ресторана, что-то осторожно говоря ей. Тут я заметил, что сидевший поблизости от нас за столиком Евтушенко с любопытством поглядывал в нашу сторону, став зрителем забавной сцены. Сдерживавший меня Александр Сергеевич жаждал узнать, кто же это такой - нарушитель нашего спокойствия.

- Слышали такую песенку: "Парней так много холостых, а я люблю женатого"? Так вот автор этой песенки по фамилии Доризо и есть нарушитель нашего спокойствия.

- Доризо? Боже мой, разве я могла бы подумать... такая песенка... - искренне сокрушалась Людмила Михайловна, а ее супруг, как-то двусмысленно улыбаясь, покачивал головой: "Вот это Доризо".

Николая Доризо я знал давно, еще по своей работе в ростовской газете "Молот" в начале пятидесятых годов, когда он печатал в ней свои стихи, выпускал в местном издательстве свои стихотворные сборники. Помню, в начале 1953 года, возвращаясь из Ростова в Москву, я оказался в одном купе с какими-то московскими литераторами, к которым то и дело заходил Доризо, ехавший в том же вагоне. Он только что познакомился с ними и все вставлял в разговор, какие остроумные анекдоты он слышал от "Миши Светлова". Видно было, что он уже знает, как входить в литературу, что умение "почесать языком", рассказать байку, завязать связи - зачастую важнее самого кропанья стихов.

Вскоре после стычки в Доме литераторов в мае 1985 года я очутился вместе с Доризо в группе писателей, поехавших в Париж. Там он большей частью, сказавшись больным,

отсиживался в гостинице. А когда мы были в маленьком левом издательстве с выставленными книгами Троцкого и других революционеров и издатель вспоминал своих знакомых из московских писателей, то назвал он и отсутствовавшего Доризо.

НИКОЛАЙ ШУНДИК. На VIII съезде писателей РСФСР, в 1989 году, С.В.Михалков принес мне извинение за свою, как он выразился, "необоснованную критику" моей статьи "Освобождение" на секретариате СП РСФСР в феврале 1983 года. Выступивший тогда же на съезде Вл. Бондаренко сказал с трибуны, что невредно было бы и другим извиниться, назвав в их числе и Н. Шундика. И я тогда же поведал, как Николай Алексеевич, встречаясь со мною, бьет челом, чуть не касаясь головой земли, и этим самым как бы уже подает сигнал к согласию. И вот на трибуну важно поднимается Шундик и, водрузив очки на косящие глаза, сообщает залу, что он человек вежливый, всегда здоровался и будет здороваться с Лобановым и хочет сейчас сделать то, что его давно мучит, - извиниться перед Кардиным, которого он в свое время несправедливо критиковал за известную статью в "Новом мире". В статье той космополит Кардин ядовито иронизировал над русской, советской историей, пустив в ход эффектную фразу, что "никакого выстрела "Авроры" не было". Не было и самого Кардина в зале, где извинялся перед ним "русский патриот", но это и не имело значения, главное - зафиксировано извинение перед евреем, а значит, снято возможное подозрение в "шовинизме", "антисемитизме", что страшнее всего для карьериста. А какая польза от извинения перед Лобановым? Одна морока. Вот так и лавировали эти казенные "русские патриоты", всегда готовые ради секретарства, Государственных премий, "собраний сочинений" идти на поклон к кардиным.

ЮРИЙ ГРИБОВ. Осенью 1999 года мне довелось отдыхать вместе с Юрием Грибовым в санатории "Карачарово" Тверской области. Жили мы с ним три недели в одной комнате, что было для меня не очень удобно, потому что мне надо было писать, а какое писание при соседе? Поэтому я уходил в лес, подальше от аллей, где он мог меня увидеть и опять затеять все один и тот же политический разговор. А в комнате, прохаживаясь взад-вперед мимо меня, он выставлял перед собой ладонями вверх руки с трепещущими пальцами и допрашивал неизвестно кого. Откуда появилась Хакамада? Почему Немцов говорит, что они люди - не бедные? Откуда у него деньги? Почему народ молчит? Почему нет наших, русских террористов? Я помалкивал, зная, что в противном случае будут только плодиться эти бесконечные "почему".

Он рассказывал интересные истории из своей жизни в послевоенное время, когда младшим лейтенантом служил в Германии, познакомился там с немецкой девушкой и как уже спустя десятилетия встретился с нею и ее мужем во время своего приезда в ГДР. "Я говорил Бондареву: тебе надо было писать с меня, как это было, а не придумывать любовь лейтенанта Княжко к немке". Слушая Грибова, я почти восхищался его свободой поведения - и когда?! где?! - в то время, как я, его одногодок, студентом корпел над книгами в МГУ после ранения и контузии на фронте.

Но больше всего он вспоминал свое секретарство. Какое было время! Он был секретарем СП СССР по издательским делам. Когда уезжали куда-нибудь Марков или Верченко, он принимал иностранные писательские делегации. "Надо было их занимать разговором часа два-три за столом. За мной была зарезервирована бутылка шампанского, ничего другого не пил. Сижу с ними, выйду по делам, вернусь, опять разговоры, налью шампанское из своей бутылки".

"Четыре месяца в году секретарям союза полагался отпуск, бесплатные путевки в санатории, - вспоминал Юрий Тарасович. - У меня ежегодно был такой распорядок отдыха. В марте - Пицунда. В мае - Карловы Вары. В августе - сентябре - правительственный санаторий "Объединенные Сочи" в Сочи. Там видел через железную решетку, как ходил к морю по лесенке Брежнев, махал рукой. В ноябре - декабре - Дубулты.

Рядом была правительственная дача, видел, как гулял Косыгин".

Вдруг задумавшись, Юрий Тарасович произносил тихо: "Жена у меня умерла в прошлом году. Плохо без нее". Видимо, это точило его, и казалось, он отгонял мысли о жене

воспоминаниями о том, где, в каких заграницах, в каких местах нашей страны он бывал и чем там его угощали. Сейчас, при "демократах", будучи на голодном пайке, когда-то сытым писателям остается только предаваться ностальгии по прежним временам. Итак: в Чехословакии - пиво и горы мяса. В Италии его учили, как надо чистить апельсин - срезать верхушку, надрезывать кожуру на дольки. На Кубе пили ром в смеси - двести граммов желтого и пятьдесят граммов гранатового сока с прибавкой травки - и двумя кусочками льдинки. В Румынии пили вино опоэшты - "мы говорили оболдэшты - голова ясна, ударяет в ноги".

Во Вьетнаме - крабы, кальмары. "Как нас принимали под Парижем французские коммунисты, сколько было вина!" В Казахстане секретарь обкома пригласил Юрия Тарасовича к себе на дачу и угощал жеребенком (а гость думал, что это телятина). В Бурято-Монголии секретарь обкома угощал его пареными пельменями. В Костромской области председатель колхоза послал за ящиком пива, заедали его свежей копченой свининой. В Пошехонье на сырном заводе угостили ложечкой закваса с бактериями - очень полезная штука, этой ложечки хватает на бочку сырной массы. Об этом Грибов написал в "Правду", когда был там спецкором. Прочитал министр пищевой промышленности, позвонил ему и сказал: приезжайте на любой завод выбирать любой сыр.

Голова шла у меня кругом от этого гастрономического клубления и винных паров, пока вдруг не отрезвел от мысли: чем-то важным, видимо, приходится человеку платить за искус подобных маленьких праздничков, которые остаются в памяти разве что забавами, когда нас постигают утраты.

ЕГОР ИСАЕВ. Прихожу домой, жена говорит: "Звонил Егор Исаев, приглашает на свой юбилей. Сказал, что не представляет его без тебя". Знаю Исаева с конца пятидесятых годов, когда он еще работал в отделе поэзии издательства "Советский писатель", читал на ходу отрывки из своей поэмы "Суд памяти", которую долго писал. Мне нравились в ней стихи о нашей планете - Земле, несущейся в мировом пространстве, увиденной как бы с космической высоты. Меня всегда восхищало его устное словотворчество, неиссякаемость образного словоизвержения, выступал ли он с трибуны, на эстраде или же импровизировал в разговоре. Мне даже кажется, что он не говорит, а именно импровизирует, кто бы ни был перед ним и о чем бы ни шла речь. Иногда так увлекается, что даже как бы и не воспринимает слушателя. В таком положении однажды оказался я. Еще недавно выходила "Библиотека российской классики" (ныне деятельность этого уникального по размаху издания приостановлена из-за финансовых трудностей). Председатель редакционного совета этого издания - Егор Александрович Исаев, в числе других членов совета - и я. С выходом первых томов в 1994 году была устроена "шикарная" презентация в гостинице "Космос" около станции метро "ВДНХ". И вот поздно ночью, в ожидании машины, чтобы отправиться домой, мы сидим с Егором одни за столом, в огромном зале - и еще только несколько человек неподалеку. Поднимается Егор с места, с бокалом в руке, обводит отсутствующим взглядом стол и громко обращается к пустым стульям: "Товарищи! Сегодня мы много говорили о великой русской литературе. Это литература..." Мне жутковато стало. Около трех часов ночи, все товарищи и господа давно разъехались, одни мы за столом в огромном, почти безлюдном зале... Но вскоре, сидя в машине, Егор Александрович был уже самим собой, щедро, красочно философствуя, бодря шофера энергичными присказками, оставляя нам заряд своего красноречия и на обратный путь - от Переделкина ко мне на Юго-Запад.

Но вернусь к его юбилею, в мае 2001 года. Был он сперва в Государственной думе - куда пускали по спискам, а потом на окраине Москвы - в поселке Сходня, в Российской Международной академии туризма, где его щедро одарили и морально и материально. На банкете по его просьбе я должен был выступить в числе первых. И вот он, сам объявляя о моем выступлении, начал негодовать на тех, кто "преследовал Лобанова" за его статью "Освобождение". Было как-то трогательно слышать это: мне показалось, что он и сам забыл о своем участии в том "обсуждении"... - а может быть, искренне считает, что все прошлое - чепуха, как те пустые стулья на презентаций. Но, глядя на Егора, сидевшего во главе стола

рядом с Михаилом Алексеевым, я вдруг, шпоря свою речь, находил все-таки слова нужные, искренние, а потом, уже сидя, с грустью почему-то подумал, как быстро пронеслась наша жизнь и сколько этих юбилеев мешается ныне с похоронами.

В. Ф. ШАУРО. Бывшие заведующие отделами ЦК КПСС - культуры В. Ф. Шауро и отдела пропаганды Б. И. Стукалин после появления моей статьи "Освобождение" написали докладную записку в секретариат ЦК КПСС с осуждением этой статьи. В. Шауро я увидел в лицо только раз в жизни - перед отпеванием Леонида Максимовича Леонова в храме Большого Вознесения, 10 августа 1994 года. О Шауро я раньше слышал, что он "великий молчальник", всегда уходил от общения, разговоров с писателями. И здесь, у паперти, он стоял особняком, приглядываясь, видимо, к необычной для него обстановке. В храме я оказался рядом с ним, простояв недолго, он как-то незаметно вышел.

Б. И. СТУКАЛИН. С Борисом Ивановичем Стукалиным я познакомился на квартире Л. М. Леонова в начале девяностых годов, где собрались близкие Леониду Максимовичу люди, которых он хотел видеть в качестве хранителей своего литературного наследия. Выйдя потом на улицу, мы прошлись немного вместе, на ходу поговорив кое о чем (помнится, он сказал мне об отсутствии "стратегии" у Ельцина), я отметил мысленно, видя воочию вчерашнего зав отделом пропаганды ЦК, как была важна наверху, для того же Ю. Андропова, в подборе кадров "русская мягкость". После этого Стукалин звонил мне, очень просил в качестве редактора поработать с Леонидом Максимовичем над рукописью его "Пирамиды". Было видно, с каким пиететом Борис Иванович относится к патриарху русской литературы. И этому он остался верен и впоследствии, когда, уже после смерти Леонова, взял на себя основное бремя по организации его юбилея в мае 1999 года - столетия со дня рождения писателя. "Демократическая" власть устранилась от юбилея, не дала ни копейки, и Стукалину, пользуясь прежними связями, пришлось "шапочно" добывать деньги.

Перед торжественным заседанием мне, как члену юбилейного комитета, сказали, что я должен сидеть в президиуме. Вот уж чего мне не хотелось! Но вдруг я вспомнил, по книге Фейхтвангера "Москва. 1937 год", как в том же Октябрьском зале Дома Союзов, где будет торжественное заседание, проходил в 1937 году процесс над троцкистами, и я тут же решил: "Ну конечно же, сяду в президиум!" Сидеть на той же самой сцене, на том же самом месте за столом, где сидел Вышинский, допрашивая скученных напротив на скамье подсудимых, всех этих радеков-пятаковых - крестинских-раковских, а перед этим, в 1936 году, - зиновьевых-каменевых, а позже, в 1938 году,- бухариных, прямо-таки огромное удовольствие сулила мне возможность представить это! И, признаюсь, пока шло заседание, мысли мои были заняты тем славным временем, когда загнанную в этот угол перед сценой троцкистскую банду настигло справедливое возмездие.

После заседания ко мне подошел Стукалин и, заговорив о моем интервью в газете "Советская Россия" в связи со столетием Леонова, несколько смущенно сказал: "Крепко Вы по н и м ударили". "И Вы по мнев свое время тоже", - подумал я, но сказал другое, повторил сказанное в газете: о его решающей роли в устроении леоновского юбилея.

***

На заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР, на котором была обсуждена моя статья "Освобождение", я не получил приглашения и о выступ/гениях на этом заседании узнал из короткого отчета о нем в "Литературной России" от 25 февраля 1983 года. Выступавшие в большинстве как бы отрабатывали идеологической бдительностью свои должности, премии, их речи не отличались силой убеждения. Это очевидно даже для стороннего, объективного наблюдателя. Уже цитированный мной немецкий исследователь Дирк Кречмар пишет в своей книге: "Ввиду того, что сам генеральный секретарь выразил неудовольствие статьей Лобанова, СП РСФСР должен был так же четко отреагировать на нее. 8 февраля 1983 года, то есть уже через четыре месяца после публикации, секретариат правления СП РСФСР созвал специальное совещание для обсуждения статьи Лобанова.

Несмотря на то, что все секретари правления отдавали себе отчет в политическом идеологическом размахе лобановской статьи, их речи оставляли впечатление скорее беспомощности и неуверенности".

Приведу мнение и нашего отечественного талантливого критика, главного редактора журнала "Кубань" Виталия Канашкина, который опубликовал в этом журнале (№ 10, 1990) без сокращений текст обсуждения моей статьи на секретариате правления СП РСФСР и там же писал: "Уровень суждений и представлений в статье М.Лобанова оказался таким, что после "Освобождения" сочинять и размышлять так, как это делалось до ее появления, стало невозможно". Это, конечно, большое преувеличение достоинства моей статьи, так же, как и слишком суровы, по-моему, слова критика о выступлениях писателей: "Мы как бы открываем комод, из которого на нас пышет нафталином и залежалым тряпьем. Ощущение возникает "обрыдлое". Но такое, от которого никуда не деться. Ведь перед нами не кто иной, как мы сами".

Такой же "залежалостью" веяло и от обсуждения статьи в Московской писательской организации. Автор книги "Счастье быть самим собой" В. Петелин с подкупающим простодушием признается, как он готовился выступать там на парткоме в поддержку некоторых положений моей статьи, но не решился этого сделать из-за запрета начальства.

Статья "Освобождение", ставшая предметом критики самого генсека Андропова, вызвала отклики и за рубежом - от Америки до Японии. Один из таких откликов - присланная мне рецензия в японской газете "Асахи" (тираж 10 миллионов экз.).

Все связанное со статьей пережитое стало моим освобождением от литературной публичности. И я надолго замолк, испытывая какое-то странное умиротворение. Хорошо, что все-таки все кончилось благополучно. Теперь я могу уйти в себя, жить посмиреннее и помудрее, без писательского суесловия. Мне и до того было противно всякое выставление себя напоказ, я не понимал никогда, как можно упиваться на сцене "славой", "известностью" перед массой публики, которая через какие-нибудь два-три часа вывалится из зала на улицы и рассеется по городу, занятая своими заботами.

Летом, в августе 1983 года, умер Анатолий Васильевич Никонов. Ушел человек, с которым была связана, можно сказать, весенняя пора моей литературной жизни - "молодогвардейская". С его смертью уходила в прошлое часть самого меня. После похорон на Кунцевском кладбище мы собрались на поминки в здании издательства молодежных журналов на Новодмитровской, где он работал. Я сидел рядом с его сыном, изредка мы переговаривались с ним, не упоминая имени его отца. Если бы я знал, что его ожидает в будущем. Его найдут зимой замерзшим на улице и таким окоченевшим, что нельзя было нормально уложить в гроб. Было в этом что-то роковое для Анатолия Никонова с его драматической, в сущности, судьбой в катастрофическое для России время.

На поминках, помнится, поэт Владимир Фирсов начал читать свое стихотворение, наступало то оживление с растущим празднословием, которое как-то не ложилось в мою уже свыкшуюся с безмолвием душу, и я тихо покинул эту тризну.

Шли годы, и случилось то самое, что предсказал саратовский писатель Василий Кондрашов, - через несколько лет, пусть не пять, а немного попозже - через шесть лет отношение к моей статье стало совсем другим. В. Кожинов в своей статье ""Позиция" и понимание" ("Литературная Россия", 28 июля (№30), 1989) писал: "В "Литературной России" (№ 24, 1989) появилась информация о том, что саратовские писатели отменили свое давнее "решение", которое "осуждало" публикацию статьи Михаила Лобанова "Освобождение" в № 10 журнала "Волга" за 1982 год. В сущности, "решение" это отменено самой жизнью, и очень многие литераторы ныне ясно понимают, что та статья Михаила Лобанова - одно из самых важных духовных событий за двадцатилетие "застоя"... Читая семь лет назад статью Михаила Лобанова, я испытывал, помимо всего прочего, чувство великой радости оттого, что честь отечественной культуры спасена, что открыто звучит ее полный смысла и бескомпромиссный голос - хотя, казалось бы, в тогдашних условиях это было невозможно..."

Ст. Лесневский писал в "Литературной газете" (27 января 1988 года): "У нас не

прозвучало полного признания того, что мы совершили большую ошибку, учинив разгром памятной статьи М. Лобанова в "Волге". Между тем сейчас, перечитывая статью, мы находим в ней немало справедливого, точного. Не должна возникнуть такая ситуация, когда одно направление пытается доказать власти, что противоположное направление является врагом нашего строя. Эта ситуация находится вне морали и вне культуры".

Выступивший на VII съезде писателей РСФСР, в декабре 1990 года, В. Бондаренко говорил: "Но давайте не забывать, что это на российском секретариате громили не так давно наши уважаемые секретари Михаила Лобанова за его знаменитую статью. Мы хоть повинились перед ним? Нет... Я думаю, все называемые секретари, сидящие здесь, должны лично на съезде извиниться перед Михаилом Петровичем Лобановым" ("Литературная Россия", 21 декабря 1990 года).

Из всех названных секретарей извинился только один из них - руководитель СП РСФСР С. Михалков. В связи с этим в своем кратком слове на съезде я сказал: "Я не думал выступать на съезде, но, видимо, будет невежливо, если я не скажу несколько слов по поводу одного выступления. Я имею в виду выступление Сергея Владимировича Михалкова. Здесь, на съезде, он принес мне извинения за свое выступление на секретариате Союза писателей РСФСР в феврале 1983 года, когда после решения секретариата ЦК КПСС подверглась разносу моя статья "Освобождение" в журнале "Волга". Мне хотелось бы услышать от секретариата СП и извинения перед Николаем Егоровичем Палькиным, снятым тогда же с поста главного редактора "Волги" за публикацию моей статьи. Тем не менее извинения Сергей Владимировича - своеобразный аристократизм на фоне литературно-критического плебейства многих участников того судилища" ("Литературная Россия", 28 декабря 1990 года).

В своем слове я счел нужным сделать акцент на следующем: "Характерно, что большинство громивших "Волгу" за мою статью - русские, полтора десятка секретарей СП, лауреатов. Альберт Беляев слушал их и потирал руки от удовольствия: вот русские дураки, - бьют своего, лежачего. Это не в диковинку. Этим методом пользовались, пользуются политики... Сейчас левые радикалы испытывают явное затруднение, растет все большее недоверие к ним, разваливающим страну, и потому они стремятся использовать русских, и те идут на это" (там же). Но это уже та проблема, которая требует особого разговора.

В начале июня 2000 года по просьбе Михаила Николаевича Алексеева я поехал с ним в Саратов по случаю вручения лауреатам премии его имени. Местные писатели вспоминали ту давнюю историю с моей статьей, расхваливали меня, дарили книги. Во время плавания на катере по Волге мой визави по застолью поднял меня с места, подвел к борту и, вспоминая то писательское собрание по поводу моей статьи, начал вдруг выкрикивать в мутном вдохновении: "Мы слабаки! Трусы! Подлецы!" Чего мне оставалось делать, как не успокаивать его.

После поездок по городу, встреч нас принял губернатор области Д. Аяцков. Он вышел к нам навстречу, как только открылась дверь кабинета, торжественно обнял своего знаменитого земляка. Сели за большой стол, Алексеев - напротив губернатора, и началась беседа. Тут слушавший писателя с какой-то разогретой, понимающей улыбкой Аяцков воскликнул: "Этот подонок N!" Только позже, выйдя из губернаторского кабинета, спускаясь по лестнице, я сказал: "Не надо бы так резко об N." - заметив тут же, как внимательно посмотрел на меня шедший рядом молодой человек, видно, из администрации губернатора.

Пока шел разговор, у меня возникла мысль воспользоваться случаем, чтобы чем-то помочь местным писателям. И я обратился к Аяцкову: "Дмитрий Федорович, Вам известно, что в некоторых областях России писателям выделяются ежемесячные пособия. Нельзя ли то же самое сделать у вас? Это было бы знаком отеческого внимания к нуждающимся писателям!"

- Отеческое внимание есть, но не всегда есть возможность реализовать его, - отпарировал хозяин кабинета. - Вот мы помогаем артистам филармонии.

- Ну какое может быть сравнение исполнителей с писателями?

- Я - не против, - заключил Аяцков. - Пусть руководитель саратовских писателей сделает мне соответствующее представление.

Замечу, что сразу же после этого, при вручении премий, чтобы придать гласность обещанию губернатора, я в своем выступлении с трибуны перед публикой остановился на обещанных пособиях. И потом, в разговоре с секретарем местной писательской организации Иваном Шульпиным, присутствовавшим на нашей встрече с Аяцковым, просил убедительно в списке кандидатов поставить первым Кондрашова Василия Павловича. Он был единственным из саратовских писателей, кто вступился за меня, когда там, по команде из Москвы, трепали меня в феврале 1983 года за злополучную статью. Так хотелось мне отблагодарить Василия Павловича за поддержку, за благородное поведение - и был уверен, что сумел это сделать, когда решился вопрос о пособиях. И что же? Впоследствии узнаю, что ежемесячное пособие получили пять саратовских "классиков", Кондрашов же в список не попал. А ведь о нем я больше всего думал, когда пробивал вопрос об этих пособиях.

Я благодарен Михаилу Николаевичу за поездку на Саратовщину, особенно - в его родное село Монастырское. Когда мы, приехав туда, ходили по улицам и окраинам, я узнавал все описанное в его книгах - Вишневый омут, сад деда, другие места его детства. Здесь мне как-то виднее стал этот человек, ранее смущавший меня порою уклончивостью в поступках, крестьянским "себе на уме" при своих, конечно, качествах самородка, мудрости житейской. Здесь, в родных его местах, он понятнее мне стал как автор "Карюхи", "Драчунов" - выношенных им в глубине сердца, написанных рукой художника. "Я писал "Карюху" здесь, в Монастырском, в избе зимой, написал за два месяца", - сказал он мне и добавил, что хорошо бы нам с ним приехать сюда вдвоем. Он посетовал не в первый раз, что кому-то надо было поссорить нас, распустить слух, что будто он, Алексеев, топтал меня за статью, но это - ложь. И не в первый уже раз вспомнил, как из-за моей статьи отменили уже решенное было дело - присуждение ему за "Драчунов" Ленинской премии. А ведь в самом деле, подумал я, человек пострадал из-за меня, а вроде чувствует себя чем-то виноватым передо мной - что за странная русская черта!

С особым чувством отправился я на кладбище, которое в моем представлении было связано с теми картинами в "Драчунах", когда сюда свозили и хоронили в ямах умерших от голода. Но никаких признаков тех могил здесь не оказалось. Только редкие островки могил поздних с большими деревянными крестами жались к краям огромного кладбищенского пространства с переливающимися от пронзающего холодного ветра ковыльными травами. Такого кладбища я не видел, весной с разливом, как мне рассказали, вода заливает всю околокладбищенскую низменность, и тогда в открывающейся красоте чего может быть больше - призрачного или - врачующего для людской памяти?

Журн. "Наш современник", № 2-4, 2001

Твердыня духа [1]

Биограф Серафима Саровского Н. А. Мотовилов оставил пронзительный рассказ о том, как слова старца заставили его, долгие годы лежавшего с неподвижными ногами, встать и пойти.

А вот любопытное место из книги "Воспоминания о Югове" (сборника воспоминаний разных лиц о писателе). Поэтесса, по ее словам, "обезноженная" болезнью, рассказывает о таком случае: однажды писатель Алексей Югов, врач по профессии, в разговоре "протянул ко мне руки, быстро и повелительно сказал: "Встань-ко! - и засмеялся. - Знаю, знаю, что не поднять, а хотелось бы!"

Вот в этом и отличие, пропасть между словом истинно духовным и литературным. В

---

[1] Из выступления на состоявшейся в конце 1990 года в Италии на Капри конференции, посвященной религиозно-культурным проблемам.

первом случае слово становится действием; во втором - словесностью.

Ныне причисленный Русской Православной Церковью к сонму святых епископ Игнатий (Брянчанинов) писал: "Бывали в жизни моей минуты или во время тяжких скорбей, или после продолжительного безмолвия, минуты, в которые появлялось в сердце моем "слово". Это "слово" было не мое. Оно утешало меня, наставляло, исполняло нетленной жизни и радости - и потом отходило. Случалось записывать мысли, которые так ярко светили в сии блаженные минуты. Читаю после, читаю не свое, читаю слова, из какой-то высшей среды нисходившие и остающиеся наставлением". По этой причине святитель считал, что его наставления - собственность не его личная, а всех верующих. По слову одного из отцов Церкви, Бог - это центр круга, чем ближе мы с точек окружности к этому центру приближаемся, тем более сближаемся друг с другом. Выступавший перед нами епископ Никандр бескомпромиссно противопоставил вертикальную линию самопознания - связь с Богом - горизонтальной - связи с культурой, не допуская абсолютно никакой возможности их взаимопроникновения. Другие выступавшие из числа литераторов, защищая культуру, видят в ней проводника божественной просветленности. Конечно, "дух дышит где хочет". И этой божественной просветленности в Пушкине неизмеримо больше, чем в его оплошном критике Владимире Соловьеве (Пушкин - не "философ"!), в богословских рационалистических построениях "всеединства" этого философа, в его премудрой "Софии". "Мысли о религии" Паскаля больше и глубже, может быть, дают почувствовать присутствие благодати в душе человека, нежели фундаментальные логические доказательства бытия Божия в богословской системе Фомы Аквинского. Или хотя бы из малых нынешних примеров. Поистине дар Божий в стихах Н. Рубцова, не искушенного в духовной эрудиции. Но вот ученейший филолог, знаток раннехристианской истории С. Аверинцев, он же автор мертвых "духовных стихов" в "Новом мире".

И все-таки культура, даже и с благодатными признаками, непомерно далека от религии. Духовно проникновенны пушкинские "Отцы пустынники и девы непорочны", но верующие обращаться будут к самой молитве Ефрема Сирина, а не к этому поэтическому, пусть и гениальному, ее переложению. Трогательна лермонтовская "Молитва" с ее "есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них". Но этой, как бы нечаянно сказанной, "прелестью" и бесконечно далеко это стихотворение от молитвы. Этой прелести было много в русской литературе, хотя один из западных писателей и назвал ее "святой". Агиографические сборники свидетельствуют, что святые, подвижники приходили к вере в результате духовных переворотов, внутренних прозрений, таинственных озарений. Но странно было бы фантазировать, что это могло быть под влиянием художественной литературы.

Более того, русская литература в лице даже ее гениев уводила от истинного центра круга. Есть что-то символическое в жуткой одинокой могиле Толстого на краю оврага в Ясной Поляне. Великий писатель сам отделил себя от православного кладбища (на котором похоронена и его жена, Софья Андреевна), от православного народа, но кто больший авторитет в оценке церковного отпадения Толстого? Святой Иоанн Кронштадтский, не пожелавший быть с "богоотступником" в почетных членах ученой корпорации, или либерально-радикальная интеллигенция, славословившая Толстого за его обличение Православной Церкви?

Философствующая интеллигенция и сама внесла немало духовной смуты. Сейчас говорят о возвращении к нам русских религиозных мыслителей, пишут о "религиозном ренессансе" десятых и даже начала двадцатых годов. Не говоря уже о том, что само определение "ренессанс" понятие гуманистическое и скорее противостоит религии, чем связано с нею, философские искания десятых годов несут на себе отпечаток религиозного модернизма. В отличие от классического славянофильства (И. Киреевский А. Хомяков, К. Аксаков) с его соборностью, традиционным Православием религиозный "персонализм" русских мыслителей начала XX века не лишен антихристианских черт. Творчество религиозной мысли Бердяева сдержано в плодотворности его релятивизмом (в одном ряду с

Христом у него Сократ, Магомет, Будда, Конфуций и т.д.). Гениальный умственный змий В. Розанов, как ядовитая капля химического реактива, неустанно долбил, подтачивая, разрушая самое ядро христианства, видя в Христе врага жизни, столь любезной Василию Васильевичу ветхозаветной иудейской плодовитости. И об этом ни слова в тех дифирамбических статьях об этих двух мыслителях, которые охотно печатаются в нынешних газетах и журналах.

Примечательно, что степень интереса, сочувствия к дореволюционным мыслителям прямо пропорциональна их отчужденности от "ортодоксального Православия". Например, более, чем другие, связанные с ним С. Булгаков, И. Ильин уже не вызывают такого понимания, как те же Бердяев и Розанов. Но зато модным именем для либеральных, леворадикальных изданий стало имя Г. Федотова, который уверял, что идеи "черной сотни", как "русского издания или первого варианта национал-социализма ... переживут всех нас", который за "православным самодержавием, то есть за московским символом веры ... легко различал ... острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам". И это было написано находившимся в эмиграции в США Г. Федотовым в 1945 году, после окончания войны России с гитлеровской Германией. Не потому ли столь близок этот мыслитель либералам, что в нем можно видеть родоначальника тех лозунгов об "опасности русского православного фашизма", который сейчас в ходу как у нас в стране, так и за рубежом?

У нас всегда было слишком много учителей из среды писателей, которые в прошлом объявлялись "апостолами", "пророками" из одной только оппозиции существующему строю, "официальной религии". Художник Нестеров в своей картине "Душа народа (На Руси)" среди сонма лиц, олицетворяющих исторический, духовный, путь русского народа, изобразил рядом стоящими Достоевского, Толстого и Вл. Соловьева - в качестве религиозно-духовных выразителей Руси. Вот уж поистине "лебедь, рак и щука" - православный, религиозный бунтарь и философствующий мистик. Достоевский не ведет, он идет вслед за Христом и в этом сливается с христианским народом Руси. Эти же двое заявляют о себе как "обновители" христианства, и либеральная интеллигенция создает вокруг этих "исканий" такую "пророческую" репутацию, что даже такой, в общем-то, православный художник, как М. Нестеров, оказывается в ее власти. Перед идолищем "научного сознания" теми же прогрессистами объявляются "юродивыми" Гоголь, Достоевский, ретроградами - такие писатели традиционной веры, как Гончаров, Островский. Александр Николаевич Островский отвечал тем, кто отделял себя от Церкви, от народной веры: мы "не должны чуждаться его (народа) веры и обычаев, не то не поймем его, да и он нас не поймет".

Мы привыкли судить о России, ее истории по литературе, по книжным героям. О войне 1812 года - по "Войне и миру", о железнодорожном строительстве - по стихотворению Некрасова "Железная дорога", о Дальнем Востоке - по каторжанам чеховского "Сахалина" и так далее. Литература, собственно, закрыла реальную Россию. Гончаров, возвращаясь из кругосветного путешествия через Сибирь, был в восхищении от знакомства с тамошними людьми, начиная от таких "крупных исторических личностей", "титанов", как генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н. И. Муравьев-Амурский, совершивший немало "переворотов в пустом, безлюдном крае", как архиепископ Иннокентий (Вениаминов), издавший алеутский букварь, возглавивший огромную просветительскую работу среди местных племен; открыватели северных путей, хлебопашцы, купцы, инженеры, охотники, чиновники, военные, в деятельности которых "таится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других местах, а у нас из скромности молчат". Тогда же, в пятидесятых годах XIX века, развернулась историческая деятельность на Дальнем Востоке И. Невельского, который был не только замечательным моряком и крупным исследователем, но и человеком государственного ума, с именем которого связано присоединение к России огромных пространств Приамурского и Приуссурийского края. Героической была жизнь не только самого Невельского, но и жены его Екатерины Ивановны, женщины удивительно самоотверженной и милосердной.

Подобные подвиги созидания не нашли места в литературе, оказалась невидимой, как

подводная часть айсберга, исторически деятельная сторона русской жизни. И сам Иван Александрович Гончаров, возвратившись в Петербург, занялся совсем не тем, что он увидел в Сибири, - Обломовым, лежащим на диване.

И другая, столь же деятельная сторона русской жизни - молитвенная - оказалась вне литературы. О современнике Пушкина Серафиме Саровском тогдашняя словесность вряд ли что и слышала.

С исторической Голгофы, с высоты исторического опыта всего пережитого нашим народом в XX веке отрезвляется наш взгляд на прошлое, его культуру, открываются глубинные, истинные духовные ценности.

С объявленной сверху "перестройкой-революцией" литература захлебнулась в общественных страстях и раздорах. Да что там литература! Оказались втянутыми в раздоры - страшно молвить - сами Церкви, и, что особенно прискорбно-для нас, русских, - Русская Православная Церковь и Русская Зарубежная Церковь, которая открывает в стране свои приходы. Церковь - это, конечно, не только ее служители, высшие иерархи, а нечто более вечное и нетленное. И, если можно так выразиться, - нынешние общественные немощи ее коренятся в нас самих. Наш епископ рассказал мне о своем разговоре с известным русским писателем, который наставлял его и через него священников, Церковь: "Вы должны духовно возрождать народ". Владыка на это отвечал: "Не вы, а мы. Церковь - это все мы, не только священнослужители. От каждого зависит, будет ли духовное возрождение".

Еще недавно писатели, поэты любили говорить о себе, что они "за все в ответе". И выходило, что отвечали за все и ни за что. Ныне этим демиургам более пристало быть в ответе не за всех и за все на свете, а прежде всего за себя. Как говорил в старинное время один благородный человек в ответ на монаршее пожалование: куда мне с ними, с тысячью душ, справиться, когда я не справляюсь с одной, своей собственной душой? И уже не так сейчас диковаты, как прежде, для нас гоголевские слова, что писателю сначала надо образовать себя, а потом писать книги.

"В начале было Слово". Слово - Логос, Бог. В советской литературе А. Твардовский перекладывал на стихи определение слова, данное вождем: "Нет, слово - это тоже дело. Как Ленин часто повторял". Ах как лестно для литератора, что сказанное им слово - уже дело. Сколько насказано, наговорено, заболтано; а где наши дела, где плоды наших слов? И кого же мы обманывали, когда говорили не то, что думали, когда видели одно, а писали другое, когда слова были одни, а дела другие? И в кризисе, катастрофе страны - не повинна ли и наша славная литература, с ее разрывом между словом и готовностью отвечать за него, обеспечивать его нравственно?

И сейчас не суетно ли наше слово? Нынешние писатели приохотились выступать по телевидению - так сказать, по чину литературного Мелхиседека. Правда, еще Гоголь говорил, что не священник к нам, а мы к нему должны идти. Так и сочинитель: лучше бы читатели шли к его книгам, нежели ему самому навязываться с "проповедями".

Как когда-то, совсем еще недавно, наша литература бодро маршировала в коммунистическое будущее, так ныне она совсем пала духом, бедняга. В отношении народа модным стало слово "выживание" - "гнусный неологизм", более подходящий для крыс, животных, чем для людей, по справедливому замечанию нашего соотечественника Е. А. Вагина (вынужденно эмигрировавшего после отбытия восьмилетнего срока в мордовских политических лагерях и ныне проживающего в Риме). Уныние - великий грех, тем более когда оно распространяется на народ. Не "выживание", а данное нам свыше испытание по делам нашим, а испытывается, видимо, тот, кто имеет для этого силы.

Собственно, испытывается-то наша тысячелетняя вера. И как старая интеллигенция, пренебрегая ею, впадала в модернистские религиозно-философские блуждания, так нынешние "интеллигенты первого поколения" забавляются своими "исканиями", от неоязычества до йогорерихизма. Но, например, исихазм породил Сергия Радонежского, великие духовные силы русской литературы, культуры, а какая-нибудь "пассионарность" - всего лишь ее автора, Л. Гумилева. Все-таки есть пропасть между сущим и мнимым.

Недаром в Новом Завете говорится о "Божьих глубинах" и о "так называемых глубинах сатанинских". Заметьте, "глубины сатанинские" - "так называемые", то есть мнимые, при всей изощренности их, так сказать, структур.

В литературе сейчас главным мне видится кристаллизация духовной жизни народа, все-таки несомненной при всем ужасе действительности. Но здесь силен искус стилизованности, в том числе православной, что приводит иногда писателя к неожиданным метаморфозам. Мне рассказали, как один наш исторический писатель с православными замашками во время приема в Ватикане советской делегации, в связи с тысячелетием Крещения Руси, бухнулся в ноги папе римскому. Не думаю, что спутал папу с нашим патриархом.

Есть тайные молитвы при Литургии, не слышимые никем, а только произносимые священником мысленно. Есть тайна слова. Литература наша, за немногими исключениями, все эти семьдесят лет слишком суесловила, чтобы оставалось в ней место религиозному отношению к слову.

Теперь ей, парализованной "плюрализмом", потопом словоблудия, предстоит прийти в себя и обратиться наконец к той, названной выше, окружности с центром в ней. Здесь та твердыня духа, в которой, как никогда, нуждается ныне литература. Здесь и пути сближения всех здоровых творческих сил.

Газета "Литературная Россия", 11 января 1991, № 2

Из-под руин

Может быть, одной из причин (и не такой уж маловажной, как это может показаться) разрушения нашего великого государства было наводнение в средствах массовой информации литературной лексики Михаила Горбачева, тогдашнего Генерального секретаря ЦК КПСС, а затем президента СССР. Потребовался немалый срок, чтобы людям стало очевидным блудословие этого ловкого типа с отметиной на лбу. А ведь первое время как многим он морочил головы своим краснобайством, умением "говорить без бумажки" (после неумелых на этот счет своих предшественников), "прогрессивностью социалистических идей" в противовес вчерашнему "застою". Слушатели и в толк не брали, что сей оратор по образованию юрист, и уже по одному этому можно судить о цене его слова, к тому же юрист провинциального уровня, с языковой, культурной, исторической малограмотностью ("начать", "ложить", любимые писатели Гельман, Гранин, у Сталина "крыша поехала" и т. д.). Провинциальный Керенский. Но время показало, что новоявленный Керенский оказался куда более к месту, чем Александр Федорович. В свое время А. Ф. Керенский восклицал: "Почему союзники никак не могут по-настоящему почувствовать Россию? Они заставляют меня в течение двух третей времени говорить ради них в западноевропейском либеральном духе, и мне остается всего одна треть на разговоры в духе российского славянского социализма, необходимые для того, чтобы продержаться еще 24 часа" (цит. по: Старцев В. И. Крах керенщины. - Наука, 1982. С. 197). Керенский умалчивал о том, почему он вынужден подчиняться "союзникам" и говорить "в западноевропейском либеральном духе". Все по той же причине, по которой назначенный им командующим войсками петроградского генерал-губернаторства генерал-лейтенант Теплов обязан слепо служить ему, Керенскому. Дело в том, что Теплов в свое время, еще полковником, был принят в масонскую ложу и должен был беспрекословно подчиняться секретарю "Верховного Совета народов России", каковым был Керенский.

Появление Горбачева на главной политической арене страны сопровождалось тотчас вошедшим в пропагандистский оборот словом "перестройка". Это слово было довольно распространенным в прежнее советское время, еще в двадцатые - тридцатые годы (в выступлениях Дзержинского "перестройка в Высшем Совете Народного хозяйства", у Кагановича "перестройка на железнодорожном транспорте" и т. д.). Но тут, у Горбачева, слово это приобрело какой-то новый, невиданный, даже сакральный смысл. За "обаянием"

этого слова (ставшего сразу же всемирно знаменитым, как когда-то "спутник") массовое сознание не увидело его зловещего двойника - "революции" ("перестройка-революция"). Но именно ради "революции", то есть погрома государства, народа, и была задумана пресловутая "перестройка" под прикрытием борьбы со "сталинизмом", "тоталитаризмом". Бесконечные речи и выступления Горбачева пестрели словами и выражениями "ускорение", "прогресс", "больше социализма", "больше демократии", "гласность", "общечеловеческие ценности", "европейский дом", "цивилизованный мир" и т.д. Истоки этой либеральной лексики, собственно, и не скрывались ближайшим идеологическим окружением Горбачева. Так, об одном из его помощников шла речь в моем выступлении на пленуме Союза писателей России в марте 1990 года ("Литературная Россия", 30 марта 1990 года). Мною были приведены слова этого горбачевского помощника из его статьи в журнале "Коммунист" о необходимости издания книг: "корифеев отечественной политической науки" масонского толка.

В их статьях, книгах масонская цель - разрушение государственных, религиозных, культурных основ России - камуфлировалась расплывчато-либеральной фразеологией, словесным букетом из "прогресса", "демократии", "конституции", "парламентаризма" "правового порядка", "представительного правления", "выборного начала", "общественного блага", "общественного мнения" и т. д.

И вот эти темные имена вызваны ныне "демократами" из тайников прошлого. Выходят их работы, книги о них.

Во время декабрьского восстания 1825 года солдаты кричали под окнами царского дворца: "Да здравствует Конституция!", веря лжи своих офицеров-заговорщиков, будто Николай силой отобрал корону у своего старшего брата Константина и тот идет с войсками на Петербург (из Польши), чтобы стать законным государем, а его жена, их императрица, называется Конституцией. Для Пестеля и его сообщников слово "Конституция" было орудием обмана, средством для достижения своих политических целей, разрушительных для государства. Автор небезызвестной книги "Россия в 1839 году" маркиз де Кюстин передает следующие сказанные в беседе с ним слова Николая I о "Конституции": "...Представительного образа правления я постигнуть не могу. Это правительство лжи, обмана, подкупа ... Покупать голоса, покупать совесть, завлекать одних, чтобы обманывать других, - я с презрением отверг все эти средства, столь позорящие тех, кто подчиняется, сколь и того, кто повелевает ... я никогда не соглашусь управлять каким-либо народом при помощи хитрости и интриг". Собеседник Николая I - француз-путешественник, проявивший в своей книге хлестаковскую "легкость мыслей необыкновенную" в оценке (почти сплошь черной) России, в характеристике ее императора (как деспотического повелителя "шестидесяти миллионов рабов"), на этот раз невольно признается: "Впечатление, произведенное на меня словами императора, было огромно: я чувствовал себя подавленным. Благородство взглядов, откровенность его речи - все это еще более возвышало в моих глазах его всемогущество. Я был, признаюсь в этом, совершенно ослеплен. Человек, которому, несмотря на мои идеи о независимости, я должен был простить, что он является неограниченным властелином 60-миллионного народа, казался мне существом сверхъестественным".

Масонам ковалевским конца XIX - начала XX века не надобно было прибегать к таким дешевым, рассчитанным на наивность толпы трюкам, как заставлять ее выкрикивать под видом женского имени "Конституцию". Уже более изощренные, "цивилизованные" средства идут в ход для обработки "общественного мнения", внедрения в него "конституционных начал", "демократических ценностей", "свободы и прав личности", обезличивая этим идеологическим террором массового человека, делая его рабом чужой воли, враждебной интересам данного государства, данного народа. И поразительно, как "лжедух" (слово из стихотворения К. Аксакова) может до такой степени прельстить "общественное мнение", что оно принимает его даже в свой духовный пантеон как некую святыню. Ведь тот же М. М. Ковалевский, главный масон в России - разрушитель ее государственности, традиционных

основ, похоронен (в 1916 году) не где-нибудь, а в самой Александро-Невской Лавре, некрополе выдающихся русских людей, с такой либеральной надписью: "Историку и учителю права, борцу за свободу, равенство и прогресс". И ныне здесь же пристроились такие "демократы"-русофобы, как Собчак, Старовойтова, успокоившаяся, наконец, от своей неугомонной мысли о расчленении России на десятки государств.

***

Великой ложью нашего времени называл К. П. Победоносцев либерально-демократическую казуистику, рассчитанную на оболванивание масс, на вытравливание в них религиозно-гражданского начала, на превращение их в легко управляемое рабское стадо [2]. Фигура колоссальная, поистине столп русского религиозного, национально-государственного противостояния западному либерализму, "нигилятине" (Достоевский) в самой России, Победоносцев воплощал в своей личности то нравственно несокрушимое, что сам называл прямотою русского человека. В письме Александру III он писал о поэте В. А. Жуковском: "Кажется, для покойного Государя и для всей России было бы неоценимым благом присутствие - только присутствие - человека с такою душою, с прямым и ясным взглядом русского человека на дела и на людей. С Жуковским - и может быть, с ним только одним - покойный Государь в состоянии был бы говорить прямо..." О "прямых стезях" говорится в Библии (Ис. 40, 3). Но они неведомы тем, о ком Христос сказал: "Ваш отец дьявол" (Ин. 8, 44). Есть одна особенность в средствах выражения "либеральной мысли" [3], не ставшая предметом пристального внимания читателя, но которая (эта особенность) обнаруживает самую суть дела и которую можно назвать "стилистической дьяволиадой". Ну вот хотя бы первый попавшийся на глаза пример из текущей периодики.

"Я благодарен судьбе, что мне пришлось непосредственно заниматься такой деликатной проблемой, как религиозное возрождение". Помнится, немалое удивление в литературных кругах вызвало известие, что этот член Политбюро А.Н. Яковлев совершил вояж в Оптину пустынь. С чего бы это? Пещерный атеист, и вдруг это "хождение". Ныне мы узнаем (из этой же статьи) о побудительном мотиве данной вылазки. Оказывается, новоявленному игумену из ЦК надо было в своих целях прибрать к рукам духовенство, подкупив его передачей Церкви "конфессиональной собственности". Но как все и всегда в "этой стране", "инициатива" религиозного возродителя завязла в российской косности, на этот раз церковной. "Немало священников на местах оказались просто жуликами, разворовывающими церковное имущество, - жалуется он. - Богословская теория и практика как бы застыли, не желая поступиться даже теми догматами, которые явно пришли в

---

[2] Насколько циничны "демократические" приемы по околпачиванию масс, показали "президентские выборы" в нашей стране летом 1996 года. В книге бывшего ельцинского телохранителя генерала Коржакова "Восход и закат" приводятся "тезисы и мысли", подготовленные аналитической группой Чубайса - Дьяченко (дочь Ельцина) для предвыборной поездки Ельцина в Волгоградскую область. Ему даются рекомендации, как он должен пошутить с избирателями. Вот один из "шуточных эпизодов-ситуаций". К Ельцину должен подойти подставной ветеран войны с множеством орденов на груди и завести разговор о том, как важно бы подтвердить для его внуков, что их дед за геройство получил ордена, а не купил их на базаре. "Есть у меня просьба к вам или предложение: может быть, найдет правительство возможность выпустить книгу такую, что ли, или альбом, где были бы все наши фотографии, ордена... Вы поймите, Б. Н., что это не мне нужно, это моим внукам нужно и вашим. Кстати, а что касается меня, то скоро одна фотография волновать будет, сами понимаете, где". И здесь следует "соль" "эпизода-ситуации". - "Хорошо начали, да плохо кончили (Слова Ельцина.) - (Перебивая.) Вообще не кончаю! (Реплика сопровождается общим смехом.)".

[3] Приписка от "аналитической группы": "...Прошу не отвергать "с ходу" эту идею. Ее поймет вся страна. Она дойдет до каждого. Если ветеран, естественно, подготовленный, будет достаточно "мужиковат" (он все прошел, все испытал, никого и ничего не боится, из тех, кто режет "правду-матку"), а Б. Н. искренне расхохочется, то это будет незабываемым эпизодом".

противоречие с жизнью". Церковь должна "поступиться догматами", что означает - отказаться от христианства, Православия. Вот что стояло за

Не говоря уже об интеллектуальном убожестве изготовителей этой сценарной шутки, об их родовом специфическом юморе "ниже пояса", как омерзительна эта грязная кухня лжевыборов! И после всех этих гнусных сценариев, "бесед" перед телекамерами с подставными персонажами этот мистификатор и лицедей объявляется "всенародно избранным". Упомянутое обезьянничанье Чубайсов под "фронтовиков" заставляет вспомнить рассуждение Гердера в "Идеях к философии истории человечества" о том, почему Создатель лишил божественной речи обезьян: "...Как осквернила бы язык человеческий обезьяна, грубая, дикая, похотливая, если бы стала твердить человеческие слова, наполовину обладая уже человеческим разумом. Омерзительная смесь человеческих звуков и обезьяньих мыслей - нет, нельзя было так унижать Божественную речь, и обезьяна замолчала..."

Но, скажите, каким разумом должны обладать те, кто изъясняется на таком нечеловеческом наречии?.. фразеологией о "религиозном возрождении", о "возрождении нравственности, духовности".

Здешним доморощенным умельцам фразерства хотелось бы посоветовать пройти курс выучки у такого истинного классика либерального стиля, как У Черчилль (кстати, превосходного литератора, отмеченного Нобелевской премией 1953 года по литературе). Вот где высочайшее мастерство стилистического лицедейства, почти гипнотического, "облагораживания" даже чудовищного политического цинизма. В своих мемуарах Черчилль рассказывает об американской атомной бомбардировке японских городов, на что он дал "принципиальное согласие" как премьер союзной державы. "Я сразу же подумал о том, что японский народ, храбростью которого я всегда восхищался, сможет усмотреть в появлении этого почти сверхъестественного оружия оправдание, которое спасет его честь и освободит его от обязательства погибнуть до последнего солдата"’. Сколько здесь "цивилизованного" лицемерия, какое изощренное лавирование, лицедейство "гуманной" мысли, как будто речь идет о добром воспитательном уроке от "появления" (вроде бы и неприменения) "сверхъестественного оружия", "спасительного" для чести и самого существования народа, намеченного для адского опыта. "Внезапно у нас появилась возможность милосердного прекращения бойни на Востоке и гораздо более отрадные перспективы в Европе". "Милосердной" называется атомная бомбардировка, в огне которой погибли сотни тысяч людей и в результате которой до сих пор многие страдают и умирают от облучения. Известно, что такие же атомные удары предназначались и для городов нашей страны, и возможно, что они были бы осуществлены "ради спасения чести русского народа", но помешало создание Советским Союзом своей атомной бомбы. Нетрудно представить, что ядерная агрессия выдавалась бы также за "акт милосердия" во имя спасения человечества от "империи зла". Насколько же сами США были "империей добра", свидетельствуют приводимые "Независимой газетой" (сентябрь 1997 года) бесчисленные, в течение десятилетий, начиная с начала пятидесятых годов, факты наглого вторжения американских самолетов в пределы нашего государства. Собственно, со стороны Америки против нас всегда шла не только "холодная", но и "горячая война" (которой и теперь она угрожает, которую развязывает против "непокорных"). На лживом языке демократии это называется "санкциями против диктаторского режима", против "нарушения прав человека", "демократических свобод" и т. д.

В августовском перевороте 1991 года, в разрушении Советского государства, как известно, действовали совместно внутренняя "пятая колонна" со спецслужбами США. И установившийся "демократический" режим в растерзанной России облекся в такие "стилевые формы самовыражения", когда "цивилизованное" слово становится личиной обратного, агрессивного смысла. Кто ныне из мыслящих русских не вздрогнет от омерзения при слове "реформатор", всегда до того звучавшем в русском языке столь благозвучно, уводившем в глубину родной русской истории с ее великими реформами. Сегодня взрываются не только все составляющие государства (от экономики, армии до культуры), но и сам русский язык с

его традиционными понятиями. Кто не знает, что такое эти нынешние "реформы", уничтожающие государство, народ! За этими "реформами" стоит свора остервенелых врагов России, каких наша история еще не знала. И для этой нечисти слово "реформа" - вроде уголовной статьи, с помощью которой они расправляются со своими противниками. Все, кто против их "реформ", - клеймятся как тоталитаристы, сталинисты, шовинисты, красно-коричневые, черносотенцы, враги демократии, "цивилизованного мира" и т. д.

Бывший "мэр" Москвы Гавриил Попов прославился своим вкладом в "науку об экономике", тем, что в одной из своих "концептуальных" статей начала девяностых годов предлагал узаконить взятку должностным лицам "в силу специфики условий, в которых эти реформы проводятся". И вот этот теоретик и в еще большей степени практик взяточничества взялся защищать своего друга Собчака, тоже бывшего "мэра" петербургского, привлеченного к уголовной ответственности за коррупцию. Казуистика хода мыслей Гавриила Попова (нынешнего председателя "Российского движения демократических реформ") столь изощренна, что она может стать прямо-таки вдохновляющим незаменимым образчиком перевертывания с ног на голову любого уголовного дела. Вот эта кривая "доводов" (дается по отчету в "Независимой газете" от 9 октября 1997 года): "демонстративный наезд" правоохранительных органов на Собчака после его встречи с президентом Франции Шираком "не может не оскорбить французского президента". Это же и неуважение к "президенту российскому", поскольку "темные силы", организовавшие сей "наезд", желают представить дело так, "что Ельцин не владеет ситуацией (иначе он посоветовал бы Шираку не устраивать встречу)". Естественно, "темные силы" ("враги реформ") появляются в глазах "демократических" главарей всякий раз, когда им нужно отбиваться от разоблачений. И этот заключительный "ход": "...Всякая административная работа в России неизбежно связана с гигантским количеством проступков и нарушений..." Ну какой же может быть разговор об административных нарушениях, злоупотреблениях, преступлениях и т. д.! Это не Европа, а Россия, где все это в "гигантском количестве" было, есть и будет. Такова "диалектика" оправдательной речи одного государственного уголовника в защиту своего подельника.

Впрочем, спектр доводов господ "демократов" в свою пользу и в интересах своих собратьев чрезвычайно богат, и мне, признаться, больше по душе употребляемые ими при этом художественные краски, достойные почитаться вкладом в образную копилку великой русской литературы. Как-то в телепередаче "Времечко" (есть у них еще "Сегоднячко"!) очередная беседа волосатого ведущего с говоруном из них же была вдруг прервана телефонным вопросом как бы к умилению обоих: "Почему девяносто процентов вождей большевистских и нынешних демократических составляют евреи?" Ведущий, как будто заранее ожидавший этого вопроса, с ходу вцепился в "жареное": "В чем причина здешнего антисемитизма?" Его собеседник Егор Яковлев, до "перестройки" сделавший карьеру на "ленининиане", а затем ярый "демократ", главный редактор "Московских новостей", а ныне "Общей газеты", при слове "антисемитизм" заметно воспрянул духом, но не ограничился банальным залпом по "черносотенцам", "фашистам", "шовинистам", а выдал нечто художественное: "У меня в "Московских новостях" девяносто процентов работали не знаю кто такие, я в их штаны не заглядывал" [4].

Русский язык в своей истории испытал не одно иноязычное нашествие, перемолол их, но нынешняя "демократическая" языковая агрессия - это нечто невиданное. В знаменитых словах Тургенева о русском языке нам больше помнится "великий, могучий, свободный",

---

[4] Не обязательно, однако, прибегать к таким радикальным мерам, когда дело обстоит гораздо проще: небезызвестный М. Шаккум пишет на этот счет в "Независимой газете" от 10 февраля 1998 года (статья "Свой" Гайдар и "чужой" Лукашенко"): "Многие, наверное, обратили внимание, как один и тот же "демократический интеллигент" - ведущий программы "Зеркало" Николай Сванидзе разговаривал с Лукашенко и Новодворской. В первом случае - при полном соблюдении дипломатического политеса - стена холодного отчуждения, во втором - при внешнем подобии спора - разговор внутренне близких существ, понимающих друг друга с полуслова. И это "внутреннее родство" оказывается порой важнее любых идеологических расхождений".

как-то меньше в памяти остается "правдивый". А ведь в этом определении, пожалуй, главная особенность нашего языка, роднящая его со Словом, Логосом. Ныне происходит небывалое в русском языке - разрушение этического содержания слова, извращение его прямого смысла, подмена понятий. Массовый читатель обычно скользит по "демократическим" словосочетаниям, не вдумываясь в их значение. Но вот, например, "Выбор России" - оголтелая местечковая группа из Гайдаров-Чубайсов, патологических ненавистников России, выдает свою диверсию против нее за выбор самой России! Появились слова-"оборотни", лексика с характерным этническим смещением. Криминальный разгул за рубежом выходцев из России, преимущественно евреев, обогатившихся на российских "реформах", покрывается словами "русская мафия". И все процветающее ворье именуется "новыми русскими". Судебную статью сделали эти "языкотворцы" из слова "покаяние", требуя от русского народа ответа за мнимые преступления "тюрьмы народов" и вовсе не желая лично каяться за палачество своих дедов - троцкистских "пламенных революционеров" - и за нынешние злодеяния своих соплеменников-"реформаторов". Нельзя не удивляться поистине цирковым номерам с этим "покаянием". Так, в одной из вечерних телепередач 6 ноября 1997 года некий политолог смысл покаяния выразил так: русскому человеку должно быть стыдно, когда он видит, как хорошо живут в Европе, как там благоденствуют, почему этого нет у нас? Стыдиться, стыдиться надо, а значит, и каяться за эту махровую отсталость!

Зловещим смыслом наполняются слова, преподносимые в виде некого благодеяния: "выдача зарплаты". Уж не говоря о том, что "экономическим законом" нового режима стал рабский труд, невыплата зарплаты в течение полугода - года, информационный бум вокруг намечающейся "выдачи зарплаты учителям, врачам" таит в себе чудовищное деяние. Как при Ленине угроза голодной смерти была средством закабаления народа, так ныне орудием этого закабаления стала "выдача зарплаты" за счет разграбления, почти даровой распродажи народной собственности, наработанной многими поколениями. "Молодые реформаторы", спекулируя на необходимости найти деньги для "выдачи зарплаты", выставляют на торги, "аукционы" последние остатки в основном уже разграбленных богатств народного хозяйства, передают их за бесценок в руки антинациональных финансовых воротил. Каковы последствия этой распродажи - видно на примере хотя бы норильского комбината "Никель". Скупивший тридцать восемь процентов акций ОНЭКСИМ-банк получает четыре миллиарда долларов прибыли в год, не производя никакого технологического обновления производства. Для нормальной жизни населения Норильска достаточно двести пятьдесят миллионов долларов в год, но новые хозяева, выкачивая колоссальную прибыль, не выделяют из нее ни доллара для нужд оказавшихся в беде людей. Из 130 тысяч работавших на комбинате уволены пятьдесят тысяч, которые обречены с семьями на голодную смерть, так как уехать отсюда у них нет возможности - один билет до Центральной России стоит один миллион восемьсот тысяч рублей.

Обо всем этом было рассказано в телепрограмме "Время" (18 октября 1997 года). Сама передача эта стала возможной потому, что столкнулись интересы банкиров, и телеведущий рьяно старался угодить своему хозяину, владельцу телеканала, разоблачая его конкурента - другого банкира, победившего на торгах. Вот подноготная вроде бы обнадеживающих слов: "выплата зарплаты".

Не правдивый русский язык, о котором говорил Тургенев, а язык лживый, двуличный, затмевающий, фальсифицирующий истину - основа либеральной лексики. К сожалению, даже и пишущая патриотическая братия принимает как данность навязываемую "демократами" лексику, тем самым закрепляя ее в сознании читающей массы, примиряя с нею.. Но здесь не может быть никакого примиренья, так как за словами, даже за их оттенками, стоят слишком серьезные вещи. Где-то в самом начале девяностых годов в "Литературной России" (при главном редакторе Эрнсте Ивановиче Сафонове) была напечатана моя заметка по поводу одной вроде бы ничтожной редакционной правки моего текста в этой газете: были сняты кавычки в слове "мэр" (о Собчаке). В этой заметке я пояснил, что все эти "мэры", "мэрии", "префекты", "супрефекты", "префектуры",

"муниципалитеты" могут восприниматься нами только в кавычках, что они никогда не приживутся у нас в силу исторической и даже языковой отторгаемости от них русской жизни, что навязывание "демократами" народу этого нового административного словаря напоминает всякого рода гауляйтеров времен немецкой оккупации. Но заморочивание голов идет порой небезуспешно. Приведу забавную сценку, свидетелем которой я был недавно, находясь в доме отдыха в Карачарове Тверской области. Около автобусной остановки на лавочке сидит женщина, другая, стоящая рядом, рассказывает ей о своем деле (видимо, об оформлении убогой собственности, земельного участка): "Капютор обманул, целый год ничего не добилась, вчера ходила в Белый дом".

- И в Твери есть Белый дом? - спрашиваю я ее.

Та молчит. Сидящая на скамейке молодая женщина улыбается.

- Белый дом в Карачарове.

- Белый дом один, в Америке, - решился я на местную проповедь. - Америка наш враг, и называть учреждение в нашей стране Белым домом - все равно что называть имперской канцелярией, если бы в войне победили немцы.

Старуха глядит, занятая своими мыслями, а молодая женщина, здешняя жительница, уточняет, что этот дом - бывший райком, в самом деле белый, из белого кирпича. Но называть его "Белым домом" стали только в последнее время.

Какой спрос, однако, с бабушек, если сама писательская братия в своем патриотическом задоре пишет Белый дом без кавычек, тем самым способствуя утверждению вроде бы ненавистной ей американизации. "Со словом надо обращаться честно" (Гоголь). Если слово - наше орудие, то его надо держать в чистоте, ибо даже песчинка может стать причиной словесного затора и лишить слова действенности. И может ведь каждый своими средствами блокировать те словесные формулы, которые представляют собою опорные пункты режима. Здесь ничего не остается незамеченным. Я заметил, например, что Вл. Гусев слово "президент" (в отношении Ельцина) всегда ставит в кавычки, что и понятно после растоптанной им Конституции и расстрела Дома Советов 4 октября 1993 года (признаюсь, я никогда не писал "президент Ельцин", а просто Ельцин). С удовольствием прочитал в перечне масонов об А. Козыреве: "Министр иностранных дел администрации режима Ельцина" (журнал "Кубань", № 1, 1997). Вот именно - министр ельцинского режима, а не России. Но тут же автор срывается, называя такого же проамериканиста "радикал-либерала" В. Лукина "бывшим послом России в США". Для меня незабываемо, что значил Кремль для нас, особенно после войны, - ассоциировался он в нашем сознании со Сталиным. Когда мы читали цитаты из иностранной печати: "Кремль принял решение", "Кремль ответил согласием", "Кремль отвергает..." и т. д., - то за Кремлем стояла колоссальная фигура Сталина, его государственная воля, и поистине ветром великой эпохи веяло от древних кремлевских стен. И обезьяньим фарсом несет от нынешнего "Кремля" ("В Кремле готовится...", "Кремль начал еще одну радикальную административную реформу..." и прочее), в котором окопалось политическое отребье, не способное ни на какое государственное дело, хотя и весьма верткое в организации всяких "хануков" и антирусских "указов". Очистится, конечно, Кремль со временем от этой нечисти, но зависеть это во многом будет и от того, насколько люди начнут разбираться в том, какой подлинный смысл стоит за словом. Зрячим человек может стать, только освободясь от магии либерального слова.

***

Одним из видов литературного стиля можно назвать так называемый "интеллигентный стиль". Стоит напомнить, что предельным выражением "интеллигентности" как высшего качества человеческой личности стали знаменитые (постоянно повторяемые в печати и по телевидению) слова академика Д. Лихачева о том, что можно имитировать все, казаться кем угодно: добрым, умным, щедрым, отзывчивым, нельзя подделаться только под

интеллигентность. Отпечаток интеллигентского избранничества лежит на книге Д. Лихачева "Письма о добром", переиздаваемой повсеместно (от Японии до нашей Пензы, где она была выпущена Департаментом культуры в 1996 году, из нее и даются здесь цитаты). Перед нами коллекция поучений, наставлений на самые разнообразные житейские и культурные темы - начиная от правил поведения в обществе, общения с людьми, умения одеваться до способности человека "понимать искусство", "человеческое в искусстве", ценить "русскую природу", "природу других стран", "культуру в природе", памятники культуры, сознавать пользу путешествий, уметь замечать красивые пейзажи и т. д. и т. д. Автор предостерегает читателей (юных и взрослых) от таких пороков, как зависть, жадность, карьеризм. Советует, "когда следует обижаться", как овладевать "искусством ошибаться" (все это названия главок), способами "быть счастливым", "повышать уровень счастья всего человечества, в конце концов". Но, конечно, главное - "человек должен быть интеллигентен" (название главки). "Интеллигентность" не сходит со страниц книги, для автора это эталон всех ценностей в жизни. В том числе - и языковых, стилистических. В книге есть главки: "Как говорить", "Как писать". Академика шокирует "грубость", "неинтеллигентность" языка, "в языке сказывается интеллигентность человека". Но в том-то и заключается жизнь языка (а не его нормативность), что грубость иногда куда более выразительна и содержательна, чем интеллигентское чистоплюйство. Известная Дмитрию Сергеевичу Лихачеву его землячка ленинградка Ольга Берггольц, поэтесса, выдала в свое время такую (памятную в литературных кругах) фразу о любовной лирике Степана Щипачева: "диэтические яйца". Грубовато, конечно, но довольно метко. И в "интеллигентности" лихачевского языка слишком много уж "правильности", жеманства, некой театральности ("находите для себя правильные решения жить по-доброму, а я помашу вам вслед").

Любопытны лихачевские рекомендации психологического порядка. Так, например, он пишет: "Когда-то считалось неприличным показывать всем своим видом, что с вами произошло несчастье, что у вас горе. Надо было и в горе сохранять достоинство, быть ровным со всеми, не погружаться в себя и оставаться по возможности приветливым и даже веселым. Это большое и настоящее искусство". Все это напомнило мне одно место из воспоминаний С. Т. Аксакова "Встречи с мартинистами". Сергей Тимофеевич рассказывает, как известный масон Лабзин (издатель "Сионского вестника") на одном из домашних спектаклей требовал быть веселым от молодого актера, который только что получил письмо о смерти отца. Несчастный попробовал было сказать, что он не в состоянии теперь читать монолог любовника, что он "не в духе", на что Лабзин с презрением ответил: "Ну что тут за духи! Прочтите!" Он не отпустил его с ужина, когда тот хотел отпроситься, заставлял его громко петь, стуча рукояткой столового ножа по столу. Этот урок "искусства" быть веселым при любом душевном состоянии оставил тягчайший след в памяти Аксакова.

Впрочем, несколько слов о некоторых особенностях стилистики вроде бы случайно оказавшихся рядом авторов. Речь идет о неких геометрических, математических измерениях духовных, этических вещей. Вот характерная для Лабзина фраза: "Премудрость Божия обрела единственный способ к разрешению трудности в поднятии павшего. Явилась существовавшая всегда умственно между сими двумя линиями ипотенуза, произвела свой квадрат и заключила в оном полное действие и правосудия, и любви Божеской". Дмитрий Сергеевич обходится без этой уловки мерить "премудрость Божию" линиями, ипотенузами, квадратами и прочим, он более аналитичен, материалистически въедлив, желая избавить нас от порока, например, от обиды. "Если решили все же обидеться, то прежде произведите некое математическое действие - вычитание, деление и пр. Допустим, вас оскорбили за то, в чем вы только отчасти виноваты. Вычитайте из вашего чувства обиды все, что к вам не относится. Допустим, что вас обидели из побуждений благородных, - произведите деление вашего чувства на побуждения благородные, вызвавшие оскорбительное замечание, и тогда, произведя в уме некую нужную математическую операцию, вы сможете ответить на обиду с большим достоинством, которое будет тем благороднее, чем меньше значения вы придаете обиде. До известных пределов, конечно".

Из ключевых тезисов мировоззрения академика Лихачева выпишем следующее: "Природа создавала человека много миллионов лет, пока не создала, и вот эту творческую, созидательную деятельность природы нужно, я думаю, уважать, нужно прожить жизнь с достоинством, и прожить так, чтобы природа, работавшая над нашим созданием, не была обижена". Лихачев всю жизнь занимался изучением древнерусской литературы, проникнутой, как известно, глубочайшим религиозным духом, и надо быть поистине "интеллигентом", чтобы, несмотря на этот опыт, держаться до сих пор "научного уровня" журнала 20-х годов "Безбожник" в вопросе происхождения человека ("природа создавала человека много миллионов лет").

Академик пытается играть роль эдакого древнерусского летописца ("добру и злу внимающего равнодушно"). Но как совместить с этим свою подпись под коллективным письмом "демократов"-экстремистов Ельцину, одобрявших расстрел 4 октября 1993 года? И теперь эта невинно пролитая кровь как бы дымится между строчками всего того "доброго", о чем разглагольствует Лихачев. В тех же "Письмах о добре" до жути переиначивается значение благородных слов, понятий, когда читатель знает, что за ними стоит сообщник палачей. Вот этот набор поучений: "Самая большая ценность в мире - жизнь: чужая, своя"; "Надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспоминать"; "Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания"; "В сострадании есть сознание своего единства с человечеством и миром... Именно поэтому забытое понятие сострадания требует своего полного возрождения и развития"; "В Библии сказано: "Чти отца своего и матерь свою, и долголетен будешь на земле". Это относится и к целому народу, и к отдельному человеку"; "В своих "письмах" я тоже рекомендую несомненные правила "ездить на велосипеде" - жить честно, по правде"; "В жизни ценнее всего доброта"; "Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других"; "Человек должен быть интеллигентен!.. Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью" и т. д. и т. п. Автор многократно повторяет, что главное для человека - быть интеллигентным, что это единственно неподдельное его качество, и вот обнаруживается, чего стоит на самом деле эта интеллигентность, эта личина, или, по Далю, "накладная рожа" благопристойности, которую, конечно, легче напялить на себя, нежели следовать добру истинному, христианскому. "По плодам их узнаете их". Как по "плодам" узнаем мы родоначальников так называемого гуманизма, деятелей Возрождения, провозгласивших автономность, самодостаточность человеческой личности, оказавшейся (без соотнесенности с абсолютными религиозными ценностями) жертвой морального разложения или же трагического тупика, о чем так живописно рассказал философ А. Лосев в своей книге "Эстетика Возрождения".

Но сегодняшние гуманисты не чувствуют себя в тупике, они самонадеянно поучают публику "как жить", не следя за тем, насколько "адекватны" эти поучения их собственному поведению. В свое время, кажется, в конце шестидесятых годов, в "застойную жизнь советских людей" ворвался хлесткий лозунг Солженицына "Жить не по лжи!" (коим бомбардировали бедных наших обывателей всякие "голоса Америки", "свободы", "би-би-си" и прочие зарубежные радиостанции). И, оказавшись за границей, этот оракул и оттуда поучал нас, как "жить не по лжи", сам лично прекрасно уживаясь со лживой американской демократией, гордясь тем, что президент Рейган ссылался на него в своей клевете на "империю зла". Не смея пикнуть против темных сил "мирового порядка", против сионизма, он требовал такого же "благоразумия" и от бывших своих соотечественников, которые обращались к нему за поддержкой, с просьбой сделать достоянием тамошней гласности разгул русофобии в России. В страшное время на рубеже восьмидесятых - девяностых годов, когда чума "демократии", неистовствуя в Москве, расползалась по всей русской земле, когда разрушители государства уже не скрывали своих агентурных связей с Америкой, - что делал в то решающее для судьбы России время "вермонтский отшельник"? Он выжидал, пока Россию не поразил августовский переворот 1991 года, исторгший из суперстрадальческой души изгнанника дичайший вопль восторга ("Ура Преображенской революции!"). А вскоре этот благополучный мученик одобрил расстрел 4 октября 1993 года, расценив его как

закономерное следствие большевистского прошлого - оказывается, виноваты не расстрельщики, не Ельцин, не захватившие власть "демократы", а некие "прошлые большевики" - опять-таки уловка той самой либеральной стилистики, о которой речь шла выше. Эти господа готовы вывести "гуманизм" из любого злодеяния, оправдать его самыми изощренными средствами (как в данном случае - кровавая расправа 4 октября диктовалась якобы борьбой против "большевистской тирании", "коммунистического наследия" и т. д.). Надо ли говорить, что человек с таким казуистическим мышлением не может быть художником, как бы не аттестовывал себя оным сам Солженицын.

Да он и здесь, обустроившись в России, все продолжает катить свою историческую колымагу, упиваясь по радио, под звон колокольчика, собственным чтением своей "эпопеи" о Феврале семнадцатого года. Кому нужен этот Февраль со всеми его гучковыми, маклаковыми, Милюковыми и прочими тенями, когда Россия оказалась под пятой нового Февраля, терзаемая, распинаемая уже не тенями, а реальными врагами России. Однако об этом новом Феврале и помалкивает учитель "жить не по лжи", не называет поименно ни одного из главарей нынешнего режима, виновных в уничтожении России.

И это не случайно. Не раз восхищался Солженицын "героическим чеченским народом", в последнем своем телевыступлении на эту тему самодовольно напомнил, что именно он в недавнем прошлом требовал предоставления чеченцам полной свободы, независимости. Теперь очередь за другими областями России? Уж не для этого ли носится он со своей затеей о "местном самоуправлении", о "земстве"? Что такое земство в настоящее время? В Воронеже вышел альманах "Воронежские письма", где опубликованы материалы, свидетельствующие о том, насколько богата русская провинция мыслящими людьми, прекрасно разбирающимися в весьма актуальных для нынешней России общественно-исторических проблемах. Есть здесь и статья молодого историка, воронежца А. Ю. Минакова "Земщина". Автор ведет речь об истории земства в России, начиная со времен Ивана Грозного (XVI век) и кончая началом XX века. Отмечается то исторически ценное, положительное, что содержала в себе земщина; не закрывая возможности в будущем попыток возродить ее созидательные элементы, автор подчеркивает мысль о той опасности, которая заключается в нынешнем навязывании стране земства. Он пишет: "...Серьезно опасаемся, что земская идея может стать козырной картой в руках демагогов, вторично в течение XX века способствовавших развалу великой державы. Известно, что резкое усиление местного самоуправления, наряду с распадом оставшихся империй и отмиранием национальных государств, соответствует планам установления проамериканского "нового мирового порядка". Даже если считать подобный вариант маловероятным, как минимум, следует опасаться, что на смену уже изрядно скомпрометировавшим себя "мэрским" затеям придет какая-нибудь очередная декорация в стиле "а-ля рюс", призванная прикрывать произвол "новых русских" компрадоров". Приведем еще одно суждение автора, достойное внимания: "Начнем с того, что взятое само по себе, как некий "механизм народовластия", земство рискует стать не только декоративным и малоэффективным институтом, но и откровенно разрушительным началом". Земство в дореволюционной России было "одним из составных элементов целостной системы общественных и государственных институтов. Вырванная из этого совершенно определенного контекста и приобретшая несвойственное ей самодовлеющее значение, земщина может оказаться откровенно антигосударственным явлением".

Не следует забывать, что в прошлом (особенно в конце XIX и в начале XX века) земство использовалось либеральной оппозицией, революционными экстремистами в своих разрушительных антигосударственных целях. Большой фактический материал на этот счет содержится в книге Н. М. Пирумовой "Земское либеральное движение" (вышедшей еще в "доперестроечное" время и выдержанной в ключе марксистско-ленинской методологии). В ней приводится множество свидетельств современников о крайней политизированности земства. Д. Шаховской: "Идея политического освобождения нераздельно связывалась с самой сущностью земства и составляла его характеристическую черту". К. Головин: "Она

(провинциальная интеллигенция) переполнила собой земские должности и превратила вскоре подчиненные земской управе учреждения в постоянные активные очаги революционной пропаганды". Д. Шипов (в соответствии с политической установкой либеральных земцев): "Превращение каждого земского врача, каждого фельдшера или акушерки в местного общественного деятеля". М. Петрункович: "Итак, в настоящую минуту земство должно написать на своем знамени три положения: свобода слова и печати, гарантия личности и созыв Учредительного собрания. Земские собрания требуют серьезной чистки и привлечения более живых и сильных элементов. Только при соблюдении этого последнего условия земство будет способно начать борьбу (В. Гольцев в статье "Земский собор"): "Развитие земского и городского самоуправления на основе общего избирательного права, полная свобода вероисповедания; свобода языка; предоставление Польше широкого самоуправления; постепенная отмена ограничительных мер по отношению к евреям; постепенное уменьшение постоянного войска и замена его милицией; почин международного разоружения. Вот приблизительно те реформы, которые предстоит осуществить России с созывом Земского собора".

Либеральные земцы видели в земских учреждениях не столько органы местного самоуправления, сколько школу политической выучки. Сами они действовали как заговорщики, собираясь на нелегальные сборища (Петров А. Ф. Нелегальные общеземские совещания и съезды конца семидесятых - начала восьмидесятых годов XIX века // "Вопросы истории", 1974, № 9). На первом таком нелегальном земском съезде, состоявшемся в Москве на конспиративной квартире в марте 1879 года, председательствовал известный нам М. М. Ковалевский. Секретно проходивший съезд не оставил каких-либо данных о содержании его работы.

Такова оборотная сторона земства, выставляемого ныне Солженицыным в качестве всеспасительной панацеи для России. Но есть, пожалуй, и другой смысл в этой доморощенной земщине. Судьба России зависит от происходящего в Москве, здесь центр главных событий, оказывающих решающее влияние на положение в стране. От провинции ныне мало что зависит. Опыт показывает, что "мнение народное" ничего не стоит; избранные населением "красные губернаторы" не могут выйти из-под пяты центрального режима, связанного с мировыми силами, бессильны противостоять ему в его разрушительных действиях. А ждать, когда провинция возродится через десятки лет и оттуда начнется возрождение России, ждать этого при нынешних темпах уничтожения "демократами" страны - не пустая ли мечтательность? Жестокая реальность в том, что в нынешних условиях всякая болтовня о "местном самоуправлении" является прямым пособничеством оккупантам. Возможны ли были "земства" при гитлеровской оккупации?

Сегодняшними сторонниками "третьего пути" ставится себе в особую заслугу, в особое благородство и благоразумие - неучастие в сопротивлении. Эдакая независимость от крайностей левых и правых. Характерна в этом отношении программная статья "День завтрашний - день ближайший" в журнале "Москва" (1997, № 1), написанная главным редактором Л. Бородиным. Не будем останавливаться на приписывании автором абсолютной, исключительной вины самому русскому народу в той катастрофе, которая обрушилась на Россию. (Вроде: "Будто бы не народ в лице наинароднейших его представителей одобрил Беловежские соглашения. Будто бы не из народа вылупились мастера финансовых пирамид...") Надо ли спорить с автором, варьирующим парадокс К. Леонтьева, что "дух антихристов не опускался на Россию извне, но вызрел в ней..." (не обидятся ли на такой "шовинизм" потомки одного из колен израилевых, считающих, что из недр их - колена Данова - выйдет антихрист).

По словам Бородина, "православно-государственная ориентация журнала, не запятнавшая себя уступками политической конъюнктуре... в программном отношении смотрится серьезнее и основательнее курсов многих изданий...". Программа эта - в следовании третьему пути. "В политической практике мы ожидаем подлинной третьей созидательной силы, изжившей иллюзии как "правого", так и "левого" экстремизма, то есть

равно пагубные пристрастия к "западничеству", с одной стороны, и "реанимированию" коммунистических прожектов - с другой". Вывод таков: "Правым сегодня видится не тот, кто надеется сопротивляться до победы, а тот, кто сумеет остановить войну, то есть некто третий, чье слово и дело так или иначе зададут центростремительную тенденцию, и на крайних флангах политического театра действий останутся тогда корысть политическая да корысть экономическая, те самые евангельские козлы, что мудрым хозяином были заблаговременно отделены от стада".

Не может ли быть так, что, пока автор ждет "завтрашнего дня" с некой (непонятно, конкретно какой) "центростремительной тенденцией", - хищники (коим нельзя сопротивляться) перережут все стадо, не только "евангельских козлов".

В своей статье "Лукавые примирители" (журнал "Штурм", 1996, № 5) я писал, как сливаются в общий хор примирителей с нынешними радикальными "реформаторами" голоса вроде бы совсем недавно разных людей - от вчерашнего знаменитого тележурналиста-патриота до бывшего крупного партократа, ныне возглавляющего не какое-либо, а "реалистическое" общественное, движение. В последнее время этот хор пополняется некой "третьей силой" (от А. Лебедя, быстро забывшего, впрочем, эту "третью силу", когда поманил его к себе Ельцин, но загорланившего о ней снова, как только был вышвырнут. Ну, так вот, от А. Лебедя- до литературных теоретиков). Невольно вспоминаются слова И. В. Сталина: "Для революции требуется ведущее революционное меньшинство, но самое... энергичное меньшинство будет беспомощно, если не будет опираться на хотя бы пассивную поддержку миллионов людей". Нынешнюю криминальную революцию в России (под именем "перестройка-революция") тоже начало меньшинство, но именно пассивность большинства позволяет ей утверждаться в беспредельности своих злодеяний. Так называемая "третья сила", отвергающая борьбу, сопротивление, служит утверждению гибельного для России режима.

****

Недавно мне довелось услышать такой разговор. Продавщица газет в подземном тоннеле к очаковской платформе говорила покупателю:

- Пенсия у меня двести тысяч (по-нынешнему - 200 рублей. - М. Я.), как с ней прожить, а вот устроилась здесь и подрабатываю. Слава тебе, Господи! - перекрестилась она с умилением в голосе.

- Чему же вы так радуетесь? - спросил у нее купивший газету мужчина средних лет. - Вот Ельцин услышит вас и скажет: видите, как доволен народ, его морят голодом, а он доволен, теперь можно морить его до конца.

- Их надо всех из автомата перестрелять! - вскрикнула только что молившаяся пенсионерка. - Заставили всех нас мучиться!

В моих глазах и сейчас стоит эта женщина с изменившимся в один миг лицом. Я и раньше видел, какая ненависть взрывается в русских людях при имени Ельцина и его сообщников, но здесь меня поразил сам этот переход от молитвы, сердечного умиления к автомату. Сколько же, оказывается, ненависти может скопиться в самой доброй душе к тем, кто ныне хозяйничает в стране!

Но что такое это "Слава тебе, Господи!"? Для кого-то это "рабство", кто-то выводит из этого свои политические лозунги. На встрече со студентами Литературного института Г. Зюганов заявил: "Лимит на революции в стране исчерпан". Приглашенный в другой раз на встречу в том же Литинституте А. Лебедь (возможно, по наущению радзиховских-каспаровых) похвалил русский народ за "великое терпение", видя в этом "фактор стабильности" в стране. Но терпение понятно при великой цели, как это было характерно для нашего народа в годы Великой Отечественной войны. А ныне? Новой "общественной этикой" (с обратным знаком) стало публичное садистское глумление нуворишей над ограбленным народом. Они же и выставляются "героями нашего времени".

Телеканал НТВ известного банкира без устали фабрикует "героев дня", эту любопытнейшую популяцию нынешней нелюди. Занятно было наблюдать, например, за таким "героем дня", как Святослав Федоров (7 июня 1997 года). Рекомендовали его как предпринимателя, политика, недавнего кандидата в президенты, офтальмолога (глазной врач). За работой его не показали, а жаль: неосведомленный телезритель подивился бы, с чего начал этот герой, прибравший к рукам (еще до всеобщей "приватизации") государственную поликлинику с богатейшим современным оборудованием. С этого "старта равных возможностей" и началось сказочное обогащение героя. Помнится, как еще лет семь-восемь тому назад с "голубого экрана" Федоров, вдруг выхватив из нагрудного кармана какую-то книжицу, воскликнул: "Вот что я оставлю внуку!" (видимо, какой-то банковский счет). Теперь уже не глазник, а плантатор оставит внуку не эту книжицу, а целые угодья, конный завод, усадьбу с казино, не говоря уже о долларовых миллионах. Недаром он, гарцуя на коне, бахвалился, что цена этой лошадки (одной из множества других на его конном заводе) - двести тысяч долларов. Объездив и обойдя владения свои, семидесятилетний глазник-предприниматель предстает в семейном кругу, вдвоем с супругой Иреной Ефимовной, именующей его "солнышком" (он ее - "лапочкой"). Сидят они за "закусоном", по словам Ирены Ефимовны, вкушая "экологически чистый продукт". Казалось бы, рай земной, радоваться бы самим и делать добро другим. Но почему столько жестокости, прорывающейся ненависти в глазах, раздражительности в голосе? Супруги возмущены, что им завидуют. И завидуют потому, что все бездельники, рабы. "Все привыкли к рабству... Депутаты Госдумы - бывшие рабы из рабской системы... Российский народ не готов к труду, он должен поменять менталитет". Итог речи "солнышка" таков: когда этот народ вымрет - тогда и исчезнет рабство, рабское отношение к труду.

Глядя на этого "героя дня", воочию видишь, что делают с человеком деньги. Он даже не замечает, как он пошл со всем своим богатством, даже смешон на своей в двести тысяч долларов коняге. Каким тленом несет от него, молодящегося старика. Наберетесь ли вы смелости лечь под скальпель этой разрекламированной звезды "самой гуманнейшей профессии" - хирурга-глазника, зная, что и в человеческом глазу таковому видится не что иное, как только доллар?

То, что происходит ныне в нашей стране, - никак не может вместиться в нормальное сознание. С ошеломляющей ясностью открылось, как плохо знали мы то общество, в котором жили, как далеки мы были от понимания "человеческой природы", не представляя себе, до каких глубин низости, нравственного извращения может дойти человек, пораженный страстью к наживе. И узнали мы на собственной шкуре, на собственной судьбе, что значит власть "финансовой олигархии", когда пять еврейских банкиров вмиг (как только был объявлен "рынок") захватили восемьдесят процентов нашей государственной, народной собственности. Добрался и до нас "ревнивый бог Израиля" - всевластие "золотого тельца", денег, во имя мирового владычества "избранного народа".

Но этим "сынам дьявола" (слова Спасителя в Евангелии от Иоанна) мало одного материального, экономического господства. Они хотят поработить наши души, истребить в них качества, данные свыше, сделать нас рабами. Мы должны четко уяснить, с кем имеем дело. Казалось бы, уму непостижимо: народ русский спас евреев от гитлеровского истребления, и что же в ответ? Одна ненависть, всепожирающая ненависть. О, тогда, в годы войны, они горланили оды русским, упивались стихами о том, как "умирали солдаты, по-русски рубаху рванув на груди" (это ли не "по-русски" сказано?). Небезызвестный Василий Гроссман в грозную зиму сорок первого написал очерк о деревенской старухе, как она встретила их, военных журналистов, накормила, уложила спать. И какие слова о "величии народной души" нашлись у автора, у того самого автора, который потом с такой злобой писал о рабстве той самой души! Перелистайте газеты, журналы последнего десятилетия (со времен "перестройки"), посмотрите, как отмечался в них День Победы, - и вас буквально захлестнет вал публичной ненависти к "русскому фашизму", "русским антисемитам" и т. д.

Ныне дети, внуки тех, кто были спасены от нацистского уничтожения, с расистским

остервенением творят геноцид русского народа. Гайдары-Чубайсы стали проводниками грабительских реформ с помощью "либерализации цен", "ваучеров", "приватизации", именно с этими именами связаны те неисчислимые беды и страдания, которые обрушились на наш народ, именно этими именами открывается черный список врагов России, за злодеяния которых еще придется держать ответ породившему их племени (как не раз случалось с ним еще здесь, в земной жизни).

Итак, нам агрессивно навязывают такие условия существования (вернее, вымирания), когда мы должны забыть свою историю, свою религию, все самое заветное и взять за образец "этику" двуногих хищников.

Да, такие, как Федоровы, с их мертвой, вовсе не медицинской, хваткой, - процветают, но вот люди с задатками гениев - наподобие Лобачевского, Менделеева, Пирогова, - что им делать в этом "рыночном" мире, где ни в грош не ставится наука? Что делать талантам - цвету народа? Что делать самому народу, призванному к историческому творчеству, созиданию, в то время как из него хотят сделать барахольщиков, ненавидящих честный труд, чернорабочее быдло, обслуживающее колонизаторов, когда все здоровое, имеющееся в нации, не принимающее нынешней "демократии", объявляется балластом, "лишним населением", подлежащим беспощадному устранению с "исторической арены" (и эти требования заокеанских тэлботтов из мирового правительства повторяются здешними Федоровыми). Что делать с духовной заразой, проникающей в социальные поры, в массовое сознание, - с тем страшным злом, которое на общественном языке именуется "американизацией"?

Не будем абсолютизировать это зло, видеть в нем нечто беспримерно апокалиптическое в истории. В ней, в истории, никогда не прекращалась борьба сил разрушительных, революционных с силами охранительными, консервативными. Не меньшее, пожалуй, нынешнего разлагающего влияния американизма имело в Европе разрушительное действие идей французской революции в конце XVIII - начале XIX века. Любопытно читать, например, "письмо из Германии" немца, напечатанное в одном из русских журналов начала XIX века. Речь идет о "перемене, которую испытала Германия от слишком тесного общения с Францией". "Какая причина сему низвержению Германии с нравственной ее высоты? Франция, Франция! - кричат все немцы, единая виновница всех наших бед". Французы - "ловкие подлипалы у немецких жен и девиц. Язык для них совсем новый, и их ласковые обольщения понравились немкам. Красотки восхищались, когда у ног их млели сии обожатели, упадали в обморок и хотели умирать. Ах! как они милы, ловки! - кричали они, - как, напротив того, наши грубы, неотесанны". "При всех немецких дворах, во всех здешних домах болтали и наряжались по-французски". "Германия! Германия! Ты противоборствовала мечу всеобладавшего Рима, иго его тебе было чуждо, а теперь ты, пред скипетром французских модных торговок, преклоняешь ты свою выю... Угнетения, ухудшения и обман явились в Германию, и старинная немецкая честность сказала: прощай!"

Увы, то же самое наблюдалось в России, и, что поразительно, - сразу после победы над Наполеоном, и даже во время войны с ним. Те же самые французы, "ловкие подлипалы" у русских жен и девиц, о чем много писалось в тогдашних русских журналах, вроде следующего о военнопленных французах: "...Не бывает ни одного собрания, ни одного бала, куда бы французы преимущественно приглашены не были... Они имеют вход во все дома... Некоторые русские дворяне с ними о России рассуждают, слушают их и любуются их красноречием и даже берут их в учители к детям своим". "Благородные девицы не погнушались руку свою предложить - кому? Тем, у которых кровь свойственников или ближних, несчастным сим девицам принадлежавших, не успела еще на руках обсохнуть! Тем, от которых, может быть, вкусили тяжкую смерть отцы, братья, сродники их, друзья, не говоря уже о соотечественниках, ибо для мудрых космополитов, или обитательниц вселенной - ни сего звания, ни сей связи не существует... И после содеяния нынешними пленными в Отечестве нашем неслыханных святотатств и насилий".

"Доселе на дворян наших жаловались в безрассудной страсти подражать во всем

иностранцам; ныне, и что всего удивительнее! после 1812 года, купечество наше, носившее доселе русское платье особого покроя, вдруг вздумало гнушаться столь почетным и прекрасным одеянием... Сия часть почетного нашего купечества нарядилась, конечно, неумышленно, в платье, присвоенное ныне выходцам земли иудейской!!" "Когда перестанем мы применяться к иноземцам?., есть такие, которые Россию почитают Америкою".

История показала, что не только высшие, образованные сословия, так называемая интеллигенция, но и народ в целом подвержен разлагающему влиянию, тому, что Достоевский называл развратом (надеясь, что народ все-таки избежит этого. Каждый сейчас может судить, оправдались ли надежды писателя).

После разрушения Советского Союза главным врагом для "мировой демократии" стало Православие в нашей стране. Об этом откровенно говорят официальные лица Америки, и это хорошо известно.

Антиправославная политика нынешнего режима (при всем показушном лобзании с иерархами) поощряет всякого рода экстремистских "реформистов" внутри церковной жизни. Стараниями "демократической" печати раздута известность священника Георгия Кочеткова, настоятеля храма Успения Божией Матери в Печатниках (Москва). В заслугу этого "реформиста" ставится его "собственный путь внутри Православия" - с отказом от уставных форм богослужения, канонической строгости при совершении Евхаристии, с "обновлением" Православия путем внесения в него элементов других, чуждых ему конфессий и т. д. Одним словом (если не говорить о чем-то сходном в прошлом, вроде секты жидовствующих в начале XV века, "обновленцах-живоцерковниках" в двадцатых годах двадцатого столетия), пред нами те заносчивые, нигилистические умствования, которые нам, литераторам, обрыдли в своей литературной среде, нестерпимой от гвалта всех этих "апрелевцев" о "демократии", "правах человека", "свободе слова" и т. д. Впрочем, и там и здесь - один и тот же национальный состав, одна и та же "паства". То главное, что ставит своей практической целью Кочетков, - это "расширение границ церковности", двигателем чего должна стать "воцерковленная интеллигенция". Затея не новая. В свое время, в семидесятых годах двадцатого столетия, небезызвестный Александр Мень проповедовал особую миссию гуманитарной интеллигенции в деле "новой евангелизации" страны (кстати, в своей книге "Бодался теленок с дубом" Александр Солженицын также говорит об особой роли в общественном пробуждении тех же самых гуманитариев, типа "Люши" Чуковской, нетерпимой, по словам самого же автора, к Православию). Читателю, мало-мальски зрячему, понятно, что это за "гуманитарная интеллигенция", долженствующая в "современном духе" "очистить" Православие, церковность от традиционализма. (Кому попадались на глаза статьи, например, диссидентки Зои Крахмальниковой, тот может представить, сколько нескрываемой злобы у таких "православных" к Русской Православной Церкви, к Патриарху.)

Но оставим все эти разглагольствования о "воцерковлении" через культуру и перейдем к событию, поразительному даже и для наших дней. Случилось это в упомянутом храме Успения Божией Матери. Службу вели Георгий Кочетков и недавно назначенный в приход второй священник Михаил Дубовицкий. И до этого были неизбежные конфликты между двумя священниками, один из которых уклонялся от уставных правил богослужения, а второй строго следовал им. На этот раз о. Михаил отказался выполнять неканонические требования настоятеля храма Кочеткова, и здесь последовало то, что мы увидели в телепрограмме "Русский дом" 1 августа 1997 года. Вышедшего из алтаря о. Михаила окружила группа "прихожан" с явно семитскими физиономиями, и началось избиение священника, громким криком звавшего на помощь. Затем последовал кадр, как избиваемого священника заталкивают в машину неотложной помощи и отправляют в психушку.

Фантастично, что все это записано на пленку "прихожанами" - "кочетковцами", видимо, для публичного, по тому же телевизору, устрашения своих противников - чего осторожничать, сегодня все в их власти, и они могут творить что угодно и безнаказанно. И страшно становится; ведь любого из нас, кто будет отстаивать чистоту Православия, могут схватить, как преступника, и засадить в психиатричку. К счастью (как стало известно из

газет), о. Михаила в больнице не признали психически больным, и на следующие сутки он был выпущен.

Эта вопиющая история вынудила обычно сдержанного, даже благосклонного к "старшим братьям-иудеям" Патриарха Алексия II своим указом отстранить организатора погрома Георгия Кочеткова от обязанностей настоятеля храма. Но остается приход, "монолитный, внутренне спаянный", как его характеризует лукавая "Независимая газета" (приложение к "Независимой газете" - "НГ - Религии", № 7, 1997). Приход, не терпящий "чуждого ему по духу священника", то есть любого священника, если он не отвечает их бейтаровскому темпераменту. Ведь из этого "внутри спаянного" отряда, как пишет та же "Независимая газета", и объявился тот врач-психиатр, по специальному вызову которого был увезен в психбольницу о. Михаил.

***

В "Независимой газете - Наука" № 1, сентябрь 1997, говорится о физике Л. Ландау: "Из физиков XX века он на первое место ставил Эйнштейна" на втором сверхуровне из советских физиков упоминал только себя. В опубликованном здесь же в газете "Рейтинге выдающихся физиков-атомщиков XX века" на "первом высшем уровне" значатся немцы Карл Вайцзеккер и Вернер Гайзенберг (по признанию самых авторитетных физиков - физик № 1 XX века). Фамилия Л.Ландау стоит в "третьем уровне" в числе тридцати шести имен, в том числе тринадцати советских ученых. Что касается "величайшего ученого двух тысячелетий" - Эйнштейна, то этот "корифей" заключает список самого последнего, "четвертого уровня" ("до 1939 года Эйнштейн отвергал прогнозы практического использования атомной энергии").

Помнится, как в шестидесятых годах под сурдинку "физиков и лириков" муссировалась в печати фамилия Ландау как несравненного гения-физика с неземным даром сверхскоростного мышления. Певец этой особой популяции "физиков-теоретиков" Д. Гранин в своем романе "Искатели" вывел Ландау под именем Данкевича, Дана - как "просто" зовут обожающие его ученики (видимо, знающие особую миссию колена Данова). "Поспеть за ходом мысли Дана было невозможно... Дан двигался огромными прыжками". Один из его поклонников говорит о нем: "А ты знаешь, как он мыслит? Это молния". Известно высказывание Эйнштейна о том, что в течение двух лет, предшествовавших 1916 году, когда появилась общая теория относительности, у него в среднем возникала одна идея каждые две минуты, и каждый раз он отвергал эти идеи, заменяя их новыми. Сколько же идей провертелось в теоретической голове за эти два года... под силу справиться, пожалуй, лишь компьютеру... [5] Впрочем, в этих немыслимых мыслительных прыжках-полетах возможны явные конфузы, что и случилось с такого же рода интеллектуалом Матиссеном в "Эфирном тракте" А. Платонова. Инженер-агроном Матиссен убежден, что одной только мыслью, одним только словом "о-р-о-си-т-ь" можно без всякого приложения сил полить капустный участок. Более того, мыслью можно обстрелять вселенную, черт знает как наколобродить в ней. Увы, мозг бедного Исаака Григорьевича не выдержал, он умирает от мозгового штурма Вселенной, хотя, по свидетельству простодушного современника, "Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака Григорьевича". "Кроме Млечного Пути, Исаак Григорьевич навеки испортил одну звезду и совлек Солнце с Землею с их спокойного гладкого пути. От этого же, я так думаю, и какая-то планета отчего-то прилетела на Камчатские полуострова".

Любопытно, как научный революционизм соединяется в этих людях с радикализмом общественным, политическим. Тот же Ландау в 1938 году в возрасте тридцати лет был арестован как автор листовки, призывающей к свержению Сталина - "фашистского

---

[5] А. И. Солженицын с гордостью говорил своему западному биографу о своей жене Наталье Светловой (математике по образованию): "Она думает со скоростью ЭВМ... В мгновение она способна найти самый сильный аргумент... У нее всегда много идей о том, как действовать и как ответить..."

диктатора", "сталинского фашизма", к "решительной борьбе против сталинского и гитлеровского режима", против "сталинских палачей, способных только выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах", и т. д. Молодой ученый призывал "организовываться", "вступать в антифашистскую Рабочую партию и налаживать подпольную технику" и т. д. (Подлинность авторства Ландау в составлении этой листовки не подвергалась сомнению даже в девяностые годы. "Известия ЦК КПСС", № 3, 1991.) Молодого физика, не такого уж чудака-теоретика, призывавшего "сбросить фашистскую диктатуру Сталина", - Иосиф Виссарионович нашел возможным пощадить, отдав его на поруки академику Капице (хлопотавшему за него). С учетом этой революционности физика нам понятнее будут его научные амбиции.

В литературной среде еще нагляднее, пожалуй, видна эта пузырящаяся амбициозность. Сколько было шума вокруг романа В..Гроссмана "Жизнь и судьба". Как только его не именовали: вторая "Война и мир", "роман века" и т. п. Сам Гроссман виделся исходящим из плена египетского и одновременно входящим на Олимп литературы. Я начал читать его сочинение после "Колымских рассказов" Шаламова и не мог пересилить скуку: после страшной шаламовской правды (с ее "Оставь надежду...") о лагерной жизни - какой-то интеллектуальный сиропец на "зловещую тему": два героя-умника на лагерных нарах, как за "круглым столом", нудят о тоталитаризме, правах человека, свободе, рабстве. Ради этих лозунгов, навязших в зубах, и написан роман, ныне благополучно скончавшийся. А что осталось от других смельчаков - беков, анатолиев рыбаковых и всех других? Впрочем, престарелому автору. "Детей Арбата" нельзя не отдать должного в его неугомонной, не слабеющей с годами настырности в обвинении русских в антисемитизме. Старческая память, да, видимо, и вся жизнь бедолаги только и поддерживается одним этим "огоньком". Вот отрывок из его "Романа-воспоминания" ("Независимая газета", 10 июня 1997 года). В полувековой истории советской, русской литературы вылавливает он дрожащими руками всех тех, кого считает антисемитами, начиная с Ф. Панферова сороковых годов и кончая нынешними В. Астафьевым, В. Беловым, В. Распутиным. Оплевывает он, например, того же Ф. Панферова, а видно, как этот русский самородок, пусть не ахти какой писатель (во всяком случае, не хуже рыбаковых), до небес возвышается над обличителем. Вы посмотрите, какое великодушие (а можно сказать - какая дурацкая русская черта): только что встретился с незнакомым типом, не успел узнать его, а уже готов все сделать для него. Сам Рыбаков пишет о нем: "Отстоял мне в Союзе писателей квартиру, потом и дачу в Переделкине, рекомендовал и в члены редколлегии "Октября", выдвинул роман на Сталинскую премию..." Панферов был главным редактором журнала "Октябрь", имел вес не только в Союзе писателей, но и в высших партийных инстанциях, и наш сорокалетний "начинающий автор", конечно же, извлек для себя из всего этого максимум "житухи". Но если главный редактор "Октября" был с ним, что называется, "душа нараспашку", то не из таких простаков наш герой. Ночуя по приглашению Панферова на его даче, Рыбаков был начеку касательно своего портфеля с полученным гонораром: "Положил под подушку портфель с деньгами и заснул". Уж не сомневался ли гость в порядочности хозяина и его жены - писательницы, единственных, кто был в это время на даче? И не от них ли он упрятал под подушку портфель?

Но что же все-таки было причиной того, что осталось незаживающим рубцом в старческой памяти воспоминателя? А вот что. Как-то между ними зашел разговор о Волге (в связи с парфеновским романом).

"- Да, вам этого не понять.

- Кому это вам!

- Вам не понять, - повторил он, - в этой поездке я показываю читателю Волгу - нашу Волгу, великую русскую реку, дорогую каждому русскому человеку, матушку нашу Волгу, кормилицу, а вам, конечно, не понять.

- Кому это вам? - переспросил я... - Так кому это вам?

- Вам, инородцам.

- Ах, так. Мало того, что ты графоман, ты еще и антисемит".

Знакомый "мотив" - и известная почти ядерная реакция на него. В "Детях Арбата" Рыбакова есть такая сцена. Двое молодых приятелей - Саша Панкратов и Боря Соловейчик (из детей "борцов ленинской гвардии, пострадавших от сталинизма") в ссылке удостаивают вниманием старика Антона Семеновича, бывшего царского повара. За выпивкой заводят речь о его доме.

- Где он, дом-то? В Бердичеве?

Борис встал, подошел к двери, накинул крючок.

- Вы чего, ребята? - беспокойно забормотал Антон Семенович. - Я ведь в шутку.

- Последний раз шутишь, стерва, - усмехнулся Саша. Борис навалился на Антона Семеновича, прижал голову к столу.

- Ребята, пустите, - хрипел Антон Семенович.

- Не до конца его, Боря, на мою долю оставь, - сказал Саша... - Падаль! Задумал над нами измываться! Гад! Рванина!

- Извиняйся, гад.

- Извиняюсь, - прохрипел Антон Семенович. Борис вытолкал его за дверь, сбросил с крыльца, устало опустился на скамейку".

Бедному старику еще повезло, могло кончиться и хуже. Не такая ли нота угрозы звучит и в словах самого Рыбакова, обращенная к вчерашнему благодетелю? И за что же? За то, что тот сказал, как "дорога каждому русскому человеку Волга", и этого не понять "вам", "инородцам". И что же здесь такого криминального? Разве не то же самое могли бы сказать индусы о своем Ганге, египтяне о Ниле, немцы о Рейне и т.д.? Но главное - человек завалил "инородца" немыслимыми для того времени щедротами (публикации, повышенный гонорар, квартира, дача, членство в редколлегии, Сталинская премия) и в ответ получил пожизненную ненависть за одно безобидное, в сущности, слово. Даже и когда умирающий от рака Панферов хотел его видеть, этот "гуманист" отрубил: "Не имею желания".

О, русское простофильство и доверчивость! Добившийся все-таки встречи с "непримиримым", умирающий Панферов исповедуется перед ним: "...Вот и Анатолий пришел. Я знал, что он придет, я любил его, как брата... Большие надежды на него возлагал и сейчас возлагаю. Анатолий себя покажет..." И показал. И все же, при всей нравственной приниженности перед ничтожеством, не высится ли этот Панферов, как глыба, характером своим, самой человеческой природой над своим обличителем, у которого за душой ничего нет, кроме непомерной амбиции, интриганства, иссушающего злопамятства? Только такими "творческими возможностями" и могут блеснуть подобные писаки.

***

Но ведь такого же рода "деятельность" собратьев их и на других поприщах. В свое время Сталин провозгласил: "Кадры решают все!" Эти слова основывались на вере в безграничные силы народа, способного из недр своих выдвигать талантливых руководителей, знающих свое дело кадры. В докладе на Пленуме ЦК ВКП (б) 3 марта 1937 года Сталин говорил: "Можно бы назвать тысячи и десятки тысяч технически выросших большевистских руководителей, в сравнении с которыми все эти Пятаковы и Лившицы, Шестовы и Богуславские, Мураловы и Дробнисы являются пустыми болтунами и приготовишками с точки зрения технической подготовки". С ликвидацией "пятой колонны" (помимо всего прочего, поставлявшей болтунов и невежд) появилась целая плеяда молодых - чуть больше тридцати лет - наркомов, блестящих организаторов промышленности, народного хозяйства, таких, как А. Н. Косыгин, Н. А. Вознесенский, Д. Ф. Устинов, В. А. Малышев и многие другие. Это было время рождения, творческого взлета выдающихся авиаконструкторов, создателей новейших образцов вооружения, военной техники, что позволило стране подготовиться к отражению вражеского нашествия. Из народной же толщи выковывались в годы Великой Отечественной войны кадры военачальников, наших

известных полководцев.

И вот захватившие власть в стране "демократы", поддерживаемые мировой закулисой, уничтожают то, чем было сильно наше государство, - питающий его источник народных талантов. Молодежи из рабочих, крестьянских семей закрыт доступ к высшему образованию, ставшему привилегией нового класса грабителей. Это значит, что уже не будет того патриотического научно-культурного слоя, который создавала прежняя государственная система образования, и место его займет космополитический сброд, для которого Родина везде, где больше платят. Путь открыт не будущим Курчатовым, Королевым, Мишиным, а "гарвардским мальчикам", с их научной бездарностью, но зато с двойным-тройным гражданством, а "ненужный" героизм Юрия Гагарина вполне компенсируется рекламируемым по телевидению фиглярством в Центре подготовки космонавтов на центрифуге лоснящегося от сытости какого-нибудь госчиновника. Какое обилие "талантов" в нынешнем "российском правительстве" - и в теннис играют, и в футбол, и в сауне с девочками резвятся-соревнуются, и на центрифуге крутятся - ну, до дел ли государственных? Хотя Ельцин не нахвалится своими любимцами: "Какая умная команда работает из молодых реформаторов! Главное - умная!" [6] - заявил он на встрече со школьниками 1 сентября 1997 года. При словах об этих умниках всегда свирепая в распекании неугодных (вроде русских силовиков) физиономия Ельцина обливается эдаким физиологическим умилением от сознания, видимо, приобщенности к "интеллектуальной элите".

Итак, каков же выход для нас, русских, из того угла (почти резервации), куда нас загнали? Исторические, параллели здесь мало чем могут помочь. После монголотатарского вторжения, в XIII веке епископ Владимирский Серапион в проповедях своих, призывая людей к покаянию, как бы накладывал бальзам на измученные души их в условиях иноземного ига, укреплял веру, тем самым приуготовлял почву для будущего народного подвига. Но еще целое столетие отделяло проповедника от Куликовской битвы. Могут ли рассчитывать на такое отдаленное торжество нынешние проповедники? Восстанавливается храм Христа Спасителя, вступают в строй другие храмы, но не окажутся ли они в скором времени без паствы? При входе во двор Литературного института, где я работаю, висит огромное объявление: "Продажа квартир правительством Москвы". По дороге на автобусе от метро "Юго-Западная" (где я живу) до конечной остановки Очаково вы встречаетесь с приветливым предложением на громадном щите: "Продажа квартир. Мы построим вашу мечту". Здесь за короткий срок уже вырос целый район шестнадцатиэтажных домов, и нетрудно догадаться, кто в них вселился. На всех окрестных рынках - одни и те же кавказские лица, нерусская речь. Почти то же самое - в автобусах.

Еще одна черта к характеристике умственно-морального уровня "реформаторов". В "Дневнике" (запись от начала ноября 1988 года) писателя, ректора Литературного института С. Есина говорится: "Институт делает экспертизу по текстам Коха и Чубайса. Проходя в кабинет, вижу, как из приемной выносят магнитофон с большими вертикальными дисками.

---

[6] Вот что пишет об этих "реформаторах", "слывущих в стране очень умными", даже их собрат по "демократии" В. Белоцерковский ("Независимая газета", "НГ- Сценарии", 10 сентября 1997 года): "Один из них, например Борис Немцов, объясняя свое решение перейти в правительство, говорит, что "единственно важным" для него аргументом было "заявление президента о желании войти в историю не Борисом Годуновым, но Ярославом Мудрым, чтобы оставить после себя процветающую Россию". Чтобы дать такое объяснение, надо кроме всего прочего не иметь и чувства юмора. Как и в случае с гениальным предложением пересадить всех министров с иномарок на "Волги"...

"Еще один умный - Анатолий Чубайс... на экономическом форуме в Давосе на весь мир заявил, что война в Чечне полезна для экономики России. Идиотизм здесь двойной: во-первых, утверждать это - значит путать экономику для страны с экономикой для номенклатуры, для мафиозных олигархий, а во-вторых, не следовало так откровенничать с трибуны, да еще международной. Только в нашей тотально деморализованной стране такое выступление могло сойти с рук их автору". В данном случае речь может идти не только об умственной неполноценности Чубайса (первый вице-премьер!), но и о причастности его к той группе военных преступников, которая в своих интересах развязала и одобряла кровавую бойню в Чечне.

Слушали телефонные переговоры этих двух фигурантов современной истории, записанные на пленку. "Спецы" говорят, что тексты совсем криминальные по лексике, с большим количеством мата, речений из быта качков и бандитов. Будто переговариваются не два премьер-министра, а служащие "Коза Ностры"".

Поэт Юрий Кузнецов рассказал мне о забавном случае, как он был ошарашен, парализован, когда, впервые приехав в Москву, увидел в автобусе негров. Ему показалось, что ими заполнен весь вагон. А приглядевшись, подсчитал: их, негров, всего четыре, а остальные, человек тридцать, русские. В сем казусе есть нечто оптимистичное, эдакий здоровый национализм - зрячесть насчет того, сколько наших, и не перебор ли не наших. Но ныне-то уже выходит наоборот: четыре наших, а "остальные, человек тридцать", - кто они? Недаром старший братец А. Чубайса выкрикивает с трибуны, что Москва - город еврейский, чеченский и т. д. И, конечно же, сладкоголосые зазывания "рыночной" сирены "построить вам мечту" доходят не до наших обобранных русских, а до интернациональной мафии разных калибров. И если мы не имеем денег, чтобы купить квартиру, то должны иметь что-то в голове, чтобы понимать, что происходит вокруг и какие выводы нам надо делать. Как мы реагируем, когда, например, русофобское телевидение сладострастно смакует такой "сюжет": в Грозном из окна второго этажа дома чеченка, вопя по-дикому, грозит кулаком стоящей внизу плачущей русской женщине, выброшенной из собственной квартиры. Представьте, что в Москве русская женщина выгнала из квартиры чеченку, - какой вой подняли бы "демократы". А там, в этой "Ичкерии", десятками тысяч убивают, изгоняют из домов русских, и мы не просто молчим, а не хотим даже знать об этом. Но эти "злые чеченцы" попридержали бы свои кинжалы и автоматы, если бы знали, что такое же, как у них в "Ичкерии" с русскими, будет и с чеченцами в Москве. И во всей России!

Дряблость "всепрощения", "понимания" других в ущерб себе, своим национальным интересам и губит нас.

И это безволие мы готовы оправдывать некой нашей загадочной природой, данной нам, в отличие от других, неслыханной свободой воли. Этой "внутренней свободой" некоторые объясняют и беспримерное нынешнее терпение народа: для него слишком узкая цель - противостоять, объединяться, бороться на "внешних началах" (экономических, социальных, политических, патриотических и т. д.), "русская душа живет чем-то большим". Пьер Безухов у Толстого хохочет, оказавшись в неволе: "Ха-ха, ха! ...Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня - мою бессмертную душу! Ха, ха, ха! - смеялся он с выступившими на глаза слезами". Вот так и каждого из нас (как французы - Пьера) могут запереть, засадить в тюрьму, в сумасшедший дом (как о. Михаила), и что? Мы также будем хохотать от радости, что все это чепуха, вздор для нас с нашей "свободой воли", "бессмертной душой"? Пусть оно и так, но ко времени ли? Ведь ныне даже сам Патриарх Алексий II стал призывать: "Все мы должны защищать Отечество и от врагов внешних, и от врагов внутренних" ("Независимая газета", 24 февраля 1998 года).

Ныне важнее всего, пожалуй, осознание нами себя как русских, как нации, осознание не только своих слабых сторон, своих недостатков (в этом мы преуспели, как никто в мире), но и своих сильных качеств, своих достоинств. В свое время даже такой либерал, как В. Г. Короленко, после поездки в Америку писал: "И много у нас лучше. Лучше русского человека, ей-богу, нет человека на свете". И, пожалуй, нет человека, народа сильнее. Историк Н. Костомаров, малороссиянин, не чуждый украинского национализма, писал: "...Можно уже в отдаленные времена подметить те свойства, которые вообще составляли отличительные признаки великорусской народности: сплочение сил в собственной семье, стремление к расширению своих жительств..." О "еще неслыханной в мире стойкости, живучести и силе распространения" русского народа писал Н. Н. Страхов (в книге "Борьба с Западом в русской литературе"), видя в то же время "высший интерес" его в "духовной области". Ведь мы действительно великий, самобытный народ, и не только вкладом в мировую культуру, но и своим опытом бытия - общественного, религиозного. Ведь это русский народ объединил вокруг себя сотни наций, племен в великое государство, которое враги наши оклеветали как

"империю зла", но которое навсегда останется в истории прообразом человеческого братства.

С разрушением великого государства историей поставлен вопрос: на что способен русский народ без этого щита нашей национальной независимости? Насколько он жизнеспособен сам по себе, без традиционной в России самодержавной, авторитарной власти? Имея в виду именно авторитарное будущее нашего государства, сознавая временность, историческую бесперспективность на нашей земле беспощадно навязываемой нам "демократии", мы должны в это кризисное время трезво оценить свои возможности, чтобы опереться на собственные силы, которыми мы не обделены. Необходимо осознание своей принадлежности к нации особой - по своей стойкости, живучести. Другой народ, пройдя через все то, что испытали мы в XX веке, перестал бы существовать, а мы все еще ненавистный "имперский народ". Нас оккупировали, уничтожают, а мы видим не "великодушие победителей", а еще большую ненависть к нам. Значит, есть что-то в нас большее, чем наше собственное представление о себе как о потерпевших поражение.

В книге знаменитого сталинградского снайпера Василия Зайцева "За Волгой земли для нас не было" (литературная запись Ивана Падерина) есть такие слова: "Мертвые бывают в строю только на перекличках, а бой ведут живые". В строю с нами на исторических перекличках множество великих, героических имен из нашей тысячелетней истории, но не заслоняем ли мы их порою именами призрачными, даже враждебными России? Станислав Куняев в своем предисловии к заметкам Вл. Солоухина "Чаша" ("Наш современник", 1997, № 9,) справедливо пишет о неоправданной идеализации автором этих заметок "рыцарей белого движения". Зачарованный перечислением аристократических фамилий эмигрантов, похороненных на известном русском кладбище под Парижем, Вл. Солоухин как бы и не ведает, что именно эти княжеские, графские господа масонского посвящения и подготовили гибельный для России Февраль 1917 года. Все эти господа приветствовали бы, как своих собратьев, "демократов" - нынешних разрушителей России. Избави нас Боже от таких перекличек. Ведь еще в XIX веке, говоря о либералах, связанных с масонами-декабристами, Н. Греч писал: "Либералы, проповедовавшие равенство, охотно забирали под свои знамена князей и князьков всякого рода, и Трубецких, и Оболенских, и Щепиных, и Шаховских, и Голицыных, и Одоевских, и графов, и баронов. "Cela sonne bien!" - "Звон оттого хороший!" (Греч Н. И. Записки моей жизни. СПб.: изд. А. С. Суворина, 1886).

Но ведь даже и наши патриоты, вдохновляя нас, не могут заменить современников. Бой ведут живые! Бой против нынешних, невиданных по изощренности и жестокости врагов России. Наше время - время жертвенного героизма. От нашей эпохи останутся в памяти потомков не шахтеры, стучащие касками об асфальт перед "Белым домом", выклянчивающие не выплаченную им за год зарплату (а затем, после надувательских обещаний "сверху", готовые по-прежнему поддерживать преступную власть). В памяти будущих поколений останутся те герои, кто встал здесь 4 октября 1993 года на защиту Родины от "демократов". На крови этих героев и зреет святое дело освобождения России.

Ныне время личных подвигов. Запомнились мне слова литератора Владимира Фомичева: "Надо кому-то начинать первым". Его, как редактора газеты "Пульс Тушина", года три тому назад привлекли к суду за "антисемитизм", я был на суде и, слушая обвинения, не мог отделаться от мысли, что его могут засадить за решетку и не выпустить живым, расправятся, как с несчастным Осташвили. К счастью, Фомичева оправдали. Он сделал то, о чем боятся пикнуть на "свободном" Западе, показал, как важно начать именно одним из первых, идя на жертву в борьбе с теми, кто породил нынешних наших угнетателей. Это и есть признак здоровой нации, какими бы малозаметными ни казались подобные поступки в беспределе насилия.

В прошлом Россия поднималась на смертный бой с врагом, вызывая у современников вполне определенное представление о целях борьбы.

"Вставай, страна моя родная!" - восклицал Хомяков, обращаясь с началом Крымской войны к Родине, призывая ее покаяться в грехах, чтобы быть достойной своего исторического, религиозного призвания перед смертельной угрозой со стороны Запада.

"Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!" - гремело с пронизывающей трагической силой над страной, в которую вторглись гитлеровские "проклятые орды" для завоевания "жизненного пространства".

Нынешняя война в России - война невиданная в нашей истории, война с врагом, не осознанным еще в своей сущности народной массой, и потому как никогда велика роль сознательной ее части, роль истинных русских патриотов.

P.S. Получил письмо от своего университетского друга, участника Великой Отечественной войны Сергея Морозова, в котором он пишет: "Я преклоняюсь перед Христом, смиренным, поруганным и распятым на Кресте ради спасения человечества. Но у меня дух захватывает от волнения, от восторга, когда мысленно вижу Христа воинственного, опрокидывающего столы, бичом изгоняющего из храма меновщиков и всякого рода торгашей, превративших Храм Бога Живого в скотный двор. Святая Русь превращена в скотный двор..."

"Наш современник", 1998, № 4

Кто же сегодня фашист на самом деле? [7]

- Итак, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, официальный глава Российского государства заявляет: "Полвека назад наша страна спасла мир от фашизма. Но сегодня именно в России он поднимает голову". А далее из текста следует, что это сегодня едва ли не самая главная угроза для нашего общества, ну а Ельцин ей противостоит. Как вы, Михаил Петрович, относитесь к этому?

- Мне это напоминает лозунг, который Солженицын внедрял в сознание своей первой жены Натальи Решетовской: "Плюй первой, пока не плюнули в тебя!" Так и в данном случае, с "угрозой фашизма" - именно "первым плюнуть". Но ведь вдумчивый слушатель, читатель может увидеть за этим вовсе не ту мифическую угрозу, которая имеется в виду и которой нас хотят напугать, а иную - вполне конкретную. Может, например, сопоставить поджог гитлеровцами рейхстага в конце февраля 1933 года и последовавшую отмену ими неугодных прежних законов с расстрелом Ельциным Дома Советов 4 октября 1993 года, после чего окончательно была ликвидирована Советская власть.

- Я знаю, что вы прямо со школьной скамьи были призваны в армию, участвовали в боях на Курской дуге летом 1943 года, были ранены. Как тогда вы воспринимали фашизм и вообще, что такое фашизм, по вашему мнению?

- Тогда, в войну, фашизм для нас означал одно - смертельный враг вторгся в нашу страну, грозит нам порабощением. Тогда все было ясно - враг действовал открыто, все решалось на поле сражения, и вопрос стоял именно так: Родина или смерть. Ныне поле сражения переместилось в область идеологическую, духовную, а противник использует такие коварные, поистине сатанинские приемы, к которым, надо признаться, наш народ не был подготовлен, потому и потерпел сокрушительное поражение.

Сейчас главное - осознать смысл происшедшего, в том числе собственную вину в этом, гибельность нашей русской разобщенности. И, конечно, глубже осознать, с кем, с каким врагом мы имеем дело.

- И все-таки - как вы понимаете природу фашизма?

- В истории ничто, никакое явление - духовное ли, политическое - не возникает случайно, внезапно. Всему есть предыстория. Так и с фашизмом. Замечу, что термин "фашизм" довольно условен в отношении гитлеровской Германии. Фашизм зародился в Италии, а в Германии, если точнее говорить, был нацизм (национал-социализм). Было у них, конечно, много общего. Но в нацизме существенное значение имело еще и то, что делало его особенно воинствующим,- расизм, антисемитизм.

---

[7] Беседа Михаила Лобанова с журналистом Виктором Кожемяко. Газ. "Правда", 1998, № 104.

Можно много говорить о генезисе фашизма - духовном, философском, историческом. Наивно думать, что немцы, как дети, были обмануты Гитлером и повержены им в массовый страх. Этот страх утрированно показан, например, в романе американского писателя Томаса Вулфа "Домой возврата нет" (кстати, предки писателя, посетившего Германию в 1936 году, были выходцами из этой страны). Но и здесь поражает то, какое огромное впечатление произвела на героя - писателя, собственно, самого Томаса Вулфа, "громадная объединенная мощь всей страны"...

Фюрер использовал те свойства, особенности немецкой нации, ее духа, психологии, которые имели глубокие корни в истории. Поэтому и возможно было с приходом Гитлера такое мощное объединение, сплочение немцев на основе националистической, расистской. Неру в своих письмах "Взгляд на всемирную историю" (середина 1933 года) приводил свидетельства очевидцев, какая удивительная атмосфера, напоминающая религиозное возрождение, царит в Германии. А Вальтер Ульбрихт писал, как глубоко дух милитаризма и расизма проник также и в ряды рабочего класса.

Не был Гитлер открывателем и в своих агрессивных замыслах, а затем действиях против России. В своей восточной политике он видел продолжение завоевательской практики германских императоров Средневековья. Таким образом, то, что называется немецким фашизмом (точнее - нацизмом), имеет для нас, русских, вовсе не отвлеченное значение. Это связано с самой нашей историей, с исторической нашей судьбой! И надо быть не просто безграмотным, но сознательным ненавистником русского народа, чтобы приписывать ему фашизм.

- С какой же целью, на ваш взгляд, это делается?

- То, что цель ельцинского режима - геноцид народа, должно быть сегодня совершенно очевидно уже для всех. И вот, чтобы добить народ окончательно, вытравить до корней его национальное самосознание, которое все-таки пробуждается, и пустили в ход жупел "русского фашизма".

- Вы ведь тоже испытали на себе эти обвинения в фашизме. Помнится, еще в шестидесятые - семидесятые годы вас систематически преследовали в прессе такие персоны, как Суровцев, Оскоцкий, Николаев, причем обвиняли и клеймили именно как русского шовиниста, фашиста. Ну а затем, с началом "перестройки", эту обличительную эстафету подхватил Коротич.

- Оскоцкие травили все русское в литературе, выставляя себя борцами за партийность, пролетарский интернационализм. К сожалению, им было полное доверие в ЦК. Сейчас мы видим, с каким цинизмом бывшие идеологические работники ЦК - всякие Яковлевы, Шахназаровы, бурлацкие, черняевы и прочие - вещают, что и пришли они туда, в этот ЦК, чтобы изнутри подтачивать, разлагать "тоталитаризм". Русофобское окружение партийного руководства во многом, увы, создавало погоду в идеологии.

Насколько преднамеренной была "партийная критика русофилов", признали теперь и официальные лица. В январе 1983 года было принято решение Секретариата ЦК КПСС, в котором подверглась осуждению моя статья "Освобождение", опубликованная в журнале "Волга". И сразу же в Союзе писателей РСФСР под председательством Сергея Михалкова собрался секретариат, на котором мне как автору осужденной статьи устроили идеологическую порку с нешуточными политическими обвинениями. Прошло с тех пор семь лет - и вот на съезде писателей России выступает Сергей Михалков и с трибуны просит извинения у меня за тот памятный разнос.

Узнал я потом от своего знакомого, сотрудника Министерства иностранных дел Владимира Зимянина, что отец его, бывший секретарь ЦК КПСС Михаил Васильевич Зимянин, просит меня извинить его. Я знал, что именно в кабинете Михаила Васильевича, тогдашнего секретаря ЦК по идеологии, где собрались главные редакторы газет и журналов, и начался грозный разговор в связи с моей злосчастной статьей. Передавая мне через сына извинения, Зимянин добавил: "Это шло от Юры". Так называл он, по комсомольской привычке, Юрия Андропова, который дал команду для "принятия мер". О реакции его на

мою статью говорил на заседании правления Союза писателей СССР его первый секретарь Георгий Марков, с которым беседовал Генсек. Кстати, об этой истории подробно рассказывается в книге немецкого исследователя Дирка Кречмара "Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко". Она вышла в Германии в 1994 году, а у нас в переводе с немецкого - в 1997-м. В отличие от большинства "советологов", автор этой книги, по-немецки обстоятельной и аргументированной, старается быть по возможности объективным в исследовании идеологических проблем.

- Вы говорите о негативной роли Андропова в вашей судьбе и вообще в отношении к патриотической линии в литературе того времени. Между тем буквально на днях я слышал от поэта Феликса Чуева, который слыл уже тогда сталинистом, что его "ангелом-хранителем", как теперь выясняется, был тот же Андропов. Выходит, очень противоречивая фигура этот человек.

- Мне известно, что Андропов, будучи председателем КГБ, в своих донесениях в ЦК именовал нас "русистами", вкладывая в это слово нелестный для нас смысл. "Духовными аристократами" он называл, по словам Бурлацкого, своих советников, консультантов - того же Бурлацкого, Арбатова, Бовина и т. д. В глазах этой идеологической обслуги мы были, конечно, шовинистами, фашистами. Но сама их биография, их роль в разрушении государства показывает, что за "духовные аристократы" окружали Андропова...

- Вернемся к ельцинскому радиообращению. В нем говорится о тех, "кто сегодня бредит идеями национального превосходства и антисемитизма". Что вы можете сказать по этому поводу?

- Антисемитизм в России - это такой же жупел, как русский фашизм. По наблюдениям всей своей жизни, уже немалой, могу твердо сказать, что русские люди не только никогда не бредили идеями национального превосходства, но и не имели об этом даже никакого понятия. Не только не пылали ненавистью к евреям, считая их второсортными людьми, но и по добродушию, наивности своей готовы были считать себя дураками перед ними: "они все умные", "на скрипке играют", "все ученые, академики" и т. д. Это внушалось нам с детства, и мы впитывали это в свое сознание, впрочем, обычно не различая, кто еврей, кто не еврей. До войны, когда я был школьником, с газетных страниц не сходили портреты победителей международных конкурсов: Давида Ойстраха, Якова Флиера, Эмиля Гилельса... Помню, как я переживал за Ботвинника, когда он играл в шахматы с Алехиным. Как я был горд, когда наш новый учитель математики, черноволосый, с непривычным для нас, деревенских детей, выговором вызвал меня к доске и я правильно решил задачу, которую до меня не решили другие. Я потом думал об этом учителе, когда вскоре, с объявлением войны, он куда-то уехал из нашей деревни. И в послевоенное время, когда я учился в МГУ, мы совершенно не задумывались, кто из нас какой национальности. Впрочем, и у моих сокурсников-евреев, во всяком случае у многих из них, не было еще этого уязвленного "пунктика". Помню, как живший со мною в одной комнате в студенческом общежитии на Стромынке сокурсник в разговоре с другим нашим жильцом - Косманом что-то пошутил насчет Еврейского театра, в котором он побывал. И как же возмутился Леонид Стефанович Косман, услышав от человека своей национальности нечто непочтительное о Еврейском театре! Косман был значительно старше нас, до войны жил, как он говорил, в буржуазной Латвии, откуда и вынес обостренное, болезненное восприятие всего, что он считал антисемитизмом. И нам это его болезненное отношение к национальной принадлежности казалось странным. Замечу, что тот, кто вызвал его неудовольствие своей шуткой,- ныне известный критик, главный редактор литературоведческого журнала, и, надеюсь, он улыбнется, вспомнив как нечто ностальгическое тот эпизод из студенческой жизни.

Расскажу об одном деревенском неофите. Это может кое-что прибавить к нашему разговору. В деревне Малое-Дарьино, где я жил в детстве, на Рязанщине, под Спас-Клепиками, поселился после войны новый человек по фамилии Цукерман. Женился он на уроженке здешних мест Наталье Добровой, дочери знаменитой в тридцатые годы Софьи Добровой. Знаменитой тем, что удостоилась похвалы с высокой трибуны самого Кагановича

за свое бойкое выступление на Всесоюзном съезде колхозников. В запале красноречия она крикнула в зал: "Приезжайте, товарищ Буденный, к нам в колхоз, мы подарим вам лучших коней для красной кавалерии!" А когда вскоре к ней в колхоз приехали корреспонденты, то оказалось, что "лучшие кони" висят на веревках от истощения.

Так вот, поселился зять бывшей знаменитости в русской деревне - и ничего, прижился. Никто ему, разумеется, ничем не давал знать, что он какой-то чужак здесь - наоборот, даже было что-то вроде взаимовлияния. Он, казалось, обрусел, а кое-кто из местных вроде бы объевреился. Так и положено в миру. Но это не мешало ему оставаться вполне самобытным. Мой покойный дядя Иван Анисимович, добродушно посмеиваясь, рассказывал мне об одной живописной сцене. Идет он мимо дома Добровых и видит: Цукерман вытаскивает из избы вещи, вокруг навалены мешки, узлы, всякая рухлядь. "Ты что делаешь, Яков Исаакович?" - "Молчи! Хочу все вытащить и поджечь дом, страховку получить. Ох... все!" Видно, и в самом деле опротивела ему местечковая русская дикость, но ничего, не поджег, продолжал жить, плодиться.

Вот вам и антисемитизм. Кому-то этот рассказ может показаться чуть ли не анекдотическим, но ведь из таких историй образуется та плазма быта, которая способна больше и глубже сказать о взаимоотношениях людей разных национальностей. В народе решается все проще и человечнее, не то что в грязной игре политиков и так называемых интеллектуалов.

- Однако обвинения русских в антисемитизме звучат за последние годы постоянно, причем с возрастающей настойчивостью. Телевидение и определенная пресса нагнетают страсти изо всех сил, хотя, казалось бы, повода нет никакого.

- Поразительно! Доходит до полной умственной невменяемости обвинителей. Вот передо мной "Независимая газета" от 31 июля сего года. В ней - статья А. Севастьянова "Политические перспективы еврейской диаспоры на Украине". В конце статьи говорится: "Можно смело прогнозировать, что если сегодня Россия по уровню антиеврейских настроений стоит на одном из последних мест, позади США, Германии, Польши, Венгрии, Латинской Америки (что зафиксировано беспристрастными социологическими исследованиями), то это "первенство наоборот" ненадолго". Как понять такое? Выходит, что если в России нет антисемитизма, то тем хуже для нее, все равно она будет первой погромщицей в мире...

- Вы упомянули о такой отличительной черте нацизма, как расизм. Существует ли, по вашему мнению, опасность расизма в России?

- Известно, расизм одинаково характерен как для нацизма, так и для сионизма. На эту тему есть специальные авторитетные исследования. Но я хочу напомнить о Сталине, который постоянно подчеркивал мысль об опасности сионизма. Разговор со Сталиным о сионизме приводится, например, и в воспоминаниях художника Е. Кацмана, опубликованных в "Независимой газете" от 4 июля нынешнего года (встреча состоялась на даче Иосифа Виссарионовича в 1933 году).

Впрочем, оставим политику и поговорим о более близких мне делах - о писателях, литературе. В связи с тем же сионизмом. Вот критик Владимир Бондаренко назвал премии Букера расистскими. Имеется при этом в виду, что эти премии присуждаются только по национальному признаку. Исключительно евреям. Так же и премия "Триумф", отстегнутая соплеменникам банкиром Березовским из награбленного у народа. Премия в знак совместного триумфа в "этой стране". Лауреаты - все те же лица: Жванецкий, Войнович, Окуджава, Эйфман, Гребенщиков, Шнитке... Такие же премии - "Государственные", "Президентские".

- Нынешняя литература крайне политизирована, писатели-"демократы" не стыдятся открыто быть прислужниками антинародного режима. Вспоминается, как именно эти писатели на встрече с Ельциным накануне 4 октября 1993 года призывали его "решительно действовать" против так называемых красно-коричневых, а в кровавый день расстрела Дома Советов вопили яростно: "Раздавить гадину!"

- Особенно в этой кровожадной истерике отличился Окуджава. Он публично похвалялся, что испытывал великое наслаждение при виде расстрела... Молодцы белорусы, они устроили обструкцию этому "демократу", когда он приехал в Минск.

Окуджаву знают как гитариста, эстрадника, кто-то помнит его "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке". Как всегда, у этого барда - стишок серенький, но со смыслом. Понятно, кто эти друзья. Но, кроме песенок, имеются еще у Окуджавы так называемые исторические повести. В моей книге "Страницы памятного" есть статья "История и ее литературные варианты", где я разбираю эти опусы. Честно говоря, мне стоило героических усилий, чтобы одолеть такую графоманию. Безграмотный язык. Невежественные измышления о событиях русской истории XIX века. Везде одна и та же русофобская начинка. Вот русские войска несут в качестве знамен гулящую девку. Повторение одного и того же: "От пространств российских захватывало дух, рабов хватало"; "Беспредельная тупость патриотов". Ни одного нормального русского человека; Все уроды, тупицы, доносчики, пьяницы. Если и есть порядочные герои, то это кто угодно - немец, полька, француженка, грузин и т. д., только не русский. И какое-то маниакальное пристрастие к крови. В роман "Свидание с Бонапартом" "кровь", "чужая кровь" "затхлая кровь", "крашеная кровь", "Я вижу, как загорелись ваши глаза при слове "кровь" "А одна ли у нас кровь?", "Нет слов, способных подняться выше крови" и т. д. Преследующая автора "кровь" - его тайное тайных. Она многое объясняет в сочинениях, в поведении барда, в самом его отношении к "чужой крови" - при том же расстреле 4 октября.

Реальное место Окуджавы в русской литературе таково, что не стоило бы и говорить о нем. Но дело в том, что эти "возьмемся за руки, друзья" впереди своих колонн в качестве знамени, как ту гулящую девку, несут своего барда. В Переделкине уже открыт... "народный музей Окуджавы". На Трубной площади устраиваются шумные тусовки, здесь намечается ему поставить памятник. "Демпечать" уже объявила, что сие сооружение будет соперником установленного недалеко отсюда памятника Пушкину. Все это напоминает известную тактику Израиля: поскорее застолбить захваченный кусок территории, а затем, путем всяческих проволочек, сделать захват необратимым.

Торопятся прихватизаторы. А главный из них - Чубайс вместе с таким же государственным преступником Гайдаром объявили Окуджаву своим духовным вождем. На вечере памяти барда в начале июня сего года в Театре современной пьесы они вспоминали, как вместе с ним традиционно справляли старый Новый год. Поведали, что всегда при принятии важных для судеб страны решений думали, "что сказал бы об этом Булат Шалвович". Страшное дело: на вершине власти в России оказалась компашка, для которой высший авторитет в государственных делах - литературный экстремист. Объяснить это можно только одним: "Нет слов, способных подняться выше крови". И это видно вообще в политике, в поведении нынешних правителей, которые действуют по вышеприведенному принципу: "А одна ли у нас кровь?" Не случайно ни одного лица от официальных властей не было на похоронах Леонида Максимовича Леонова, патриарха русской литературы. Почти полное молчание прессы. Зато какой бум был поднят вокруг похорон того же Окуджавы, конферансье Брунова, "не понятого в этой стране" композитора Шнитке и т. д. В почетном карауле были первые персоны ельцинского режима - Чубайс, Черномырдин, Кириенко, с газетных страниц, с экрана телевизора не сходили заклинания об их гениальности. Простаки могли подумать, что русская культура обезглавлена и осиротела.

- Действительно, я помню похороны Леонида Леонова в августе 1994-го. Никак нельзя было сказать, что страна прощается с последним классиком отечественной литературы XX века. Помню и другие похороны, последовавшие вскоре, - великого русского кинорежиссера и актера Сергея Бондарчука. Тоже полное игнорирование со стороны власти и прессы.

- Я считаю это очень показательным!

- А как вы относитесь к увлечению некоторой части молодежи символикой, которая в демпечати именуется нацистской?

- Сейчас много пишут об этой символике как о зловещей опасности для России. Новый

министр юстиции Крашенинников объявил, что готовится закон о ее запрещении, как и о запрете фашистской литературы. Мэр Москвы Лужков 22 июня излил по телевидению негодование в адрес "мерзавцев", которые "увиливают от наказания". Во всем этом видится некий отвлекающий маневр. Даже единомышленник "демократов" Солженицын в своей книге "Россия в обвале" признает, что клеймо "русского фашизма" "действует как успешный прием, чтобы сбить, заткнуть оппонента, навлечь на него репрессии". История с "символикой" раздувается так же, как в свое время вокруг бутафорской "Памяти". Сколько и у нас, и за рубежом было шума о ней как об угрозе "демократии"! А кончилось чем? Руководитель "Памяти" Васильев полностью поддержал Ельцина...

Нет, не призрачная, а подлинная угроза для государства и народа совсем в другом! Оставшийся не у дел бывший ревностный хранитель "президентского тела" Александр Коржаков в своей книге "Борис Ельцин: от рассвета до заката" приводит угрожающие слова банкира Березовского, обращенные к бывшему руководителю службы безопасности России Барсукову: "Если вы не понимаете, что мы пришли к власти, то мы вас просто уберем. Вам придется служить нашим деньгам, капиталу".

- Подобная наглость не может не вызвать ответной реакции.

- Конечно. На все воинствующее, экстремистское бывает своя реакция. И так называемый шовинизм, а на деле пробуждающийся русский патриотизм - во многом это реакция на экспансию антирусских сил, разгул русофобии в стране. Генерал Рохлин перед смертью говорил о засилье нацменьшинства в правительстве России, об отсутствии в нем русских людей. Это засилье так беспардонно, так вызывающе, что невольно возникает мысль: а не делается ли это сознательно, в целях разжигания антисемитизма? Прав публицист Владимир Бушин, когда называет антисемитом Ельцина. Окружая себя исключительно евреями, Ельцин провоцирует неприязнь в массах вообще к евреям, на них переносятся все преступления ельцинской камарильи.

Неизбежна реакция и на русофобию, которая уже не знает границ. Типичный пример - выбросы такого зоологического экземпляра, как Новодворская. Вроде знаменитого ее заявления: "Место русских - у параши". И эта особь ведь по-прежнему остается "героем дня" на НТВ и других телеканалах.

- В одной из своих статей вы писали о либерализме, демократии как о тех явлениях, которые могут привести к появлению реального фашизма.

- Известно, что перед Второй мировой войной в подавляющем большинстве европейских стран, до того числившихся демократическими, установился режим личной диктатуры, авторитаризма, фашизма. Да и Гитлер пришел к власти путем так называемых свободных, демократических выборов. Но что собой представляют эти "свободные, демократические" - мы и сами ныне знаем по недавним президентским выборам в нашей стране. Угроза гражданской войной, если Ельцин не будет избран президентом, террор СМИ против его оппонентов, финансирование березовскими избирательной кампании Ельцина, обман, ложь, лицемерие, демагогия - все средства грязного политиканства пущены в ход. И все это с холуйской оглядкой на "мировую демократию", на Америку. На ту самую Америку, которую иранские исламисты не случайно называют "империей сатаны".

Если говорить о фашизме не в конкретном его социально-историческом содержании, а в расхожем психологическом смысле, как о крайней степени бесчеловечности, жестокости, ненависти к другим народам, то такими фашистами и являются приверженцы американской демократии. Красноречив на этот счет пример, приводимый бывшим президентом США Никсоном в его трактате " 1999 год. Победа без войны": "Член палаты представителей, рассерженный тем, что японцы продают на американском рынке рис по демпинговым ценам, сказал: "Спасибо Гарри Трумэну. Он сбросил две атомные бомбы, хотя ему следовало бы сбросить их четыре".

Знает ли читатель, что единственная страна в мире, где проводилась стерилизация,- это США? Закон о стерилизации был принят в двадцати девяти штатах страны. Стерилизации было подвергнуто почти сто тысяч американцев - с целью "улучшения породы"! Эту

изуверскую практику поддерживали такие президенты США, как Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Кольвин Кулидж, член верховного суда США Луис Брэндас. Именно главари нынешней американской демократии стали вдохновителями той программы геноцида нашего народа, которую осуществляют по их велению ельцинские изуверы. Зловещий смысл приобретают визиты в Россию заместителя государственного секретаря США Тэлботта - того самого Тэлботта, который в своем выступлении в Колумбийском университете потребовал устранить с "исторической сцены" все то население России, которое не поддержало ельцинскую "демократию" при президентских выборах!

И не есть ли очередная фашистская вылазка здешних "реформаторов" - устроенная недавно, во второй половине августа, пытка ценами? Не для того ли все это, чтобы поскорее вымерло старшее поколение? Ведь без его домашнего родственного влияния так легко превратить детей и внуков в нравственных дебилов, если угодно - в будущих фашистов. Студентка моего семинара в Литинституте поведала, с какой радостью пишет она повесть о своем дедушке - участнике Великой Отечественной войны, сколько интересного, поистине великого открылось ей при этом в прошлом родной страны! И так можно сказать о лучшей части современной молодежи: опыт дедов, отцов открывает молодым глаза на героическую историю нашего народа, без связи с этим опытом не может быть для молодежи будущего.

А в связи с фашизмом хочется закончить так. Сталин, узнав о самоубийстве Гитлера, сказал: "Доигрался, подлец!" Доиграются и нынешние "демократы", как бы ни торжествовали они сегодня.

Консервативная накипь

Как-то пошел я побродить по Тропаревскому парку, что напротив улицы Академика Анохина, на юго-западе Москвы, Когда-то, лет пятнадцать-двадцать тому назад, этот парк был славен тем, что сюда тянулись люди за родниковой водой, которая течет из железной трубы на дне оврага. Но в последние годы все реже можно увидеть идущих к тому роднику. Вообще, многое здесь изменилось. В парке немало аллей, но гуляют по одной центральной. Достаточно отойти в сторону, и можно прямо-таки замереть перед березой с дымчатыми кисточками по краям ветвей, меняющимися на глазах от светло-желтых до темно-коричневых, с покачивающейся вершиной, устремленной к пронзительной синеве неба. Не умолкающий ни на миг переклик птиц с чириканьем, треньканьем, деревянным скрипом, далеким карканьем, пиликаньем, что-то взахлеб ликующее - чухчуханье, тиканье, чурликанье. Сколько разных языков, и все они во славу жизни, этого неба, Творца своего - в поученье нам, забывшим, что есть не просто природа, а Божий мир и неисчислимые радости в нем.

Долго стоял я, уже не видя ни берез, ни чего другого, а только живя слухом: о чем же они, птицы, говорят между собою? И когда, ничего, конечно, не поняв, пошел домой, увидел по дороге остановившихся двух женщин с собакой. Поравнявшись с ними, услышал голос одной из них: "На дереве около оврага человек повесился. Люди пошли за милицией". Было это 21 апреля 2003 года в середине дня. Местные жители знают, что в овраге и поблизости от него ночуют "бомжи". Кто из них рассчитался с жизнью в этот весенний, с птичьим ликованием день?

"Всякое дыханье да хвалит Господа", а тут человек сам прекратил свое дыхание, и это никого не поражает. Как никого не поражает фантастическая цифра этих несчастных отверженных, еще недавно живших нормальной жизнью, а ныне ставших "бомжами", которые, как пугливые дикие звери, прячутся по ночам в оврагах, заброшенных местах. В средствах массовой информации стали обычными сообщения об охотниках за "бомжами", считающих, что, убивая отверженных, они совершают "полезное для общества дело". Вот они, дети "новой морали". Все эти без малого двадцать лет "перестройки", "реформ" были направлены на взращивание невиданного в истории России человеконенавистнического сознания в отношении к слабым, к "лишним в жизни".

***

В основании общественного строя лежат изначально заложенные в нем элементы, определяющие его социально-нравственную природу, его будущее. С чего началась закладка "новой, демократической России"? Во-первых, с ограбления народа - от созданных поколениями богатств до трудовых сбережений. Кричат о "священной частной собственности", о ее нерушимости те, кто лишил честно заработанных средств десятки миллионов людей, превратив их трудовые сбережения в труху. Во-вторых, новый режим замешан на ритуальной крови жертв расстрела 3 октября 1993 года, на жертвах геноцида... И, в-третьих - на русофобской вакханалии. Изобретена и пущена в массовый оборот кличка "совки" - как средство глумления над теми, чья жизнь, судьба связана с советским периодом русской истории - тем самым, который при всей своей трагичности, жестокости стал героической вершиной в тысячелетней истории российской государственности, определил ход мировых событий XX века.

Придя к власти, Горбачев провозгласил: "Революция продолжается". И при нынешних "реформаторах" их "криминальная революция" продолжается, и нет ей конца. Такого "революционизма", жажды разрушения страны, вытягивания жил из народа, истребления его не знает история. Размеры этого достигли черты, уже нежелательной для самих разрушителей, грозящей нестабильностью при всем награбленном богатстве. И вот вчерашние либералы, радикалы по духу и действию, объявляют себя консерваторами, сторонниками "традиционных ценностей", всякого рода устоев государственной, общественной, семейной жизни.

В "Библиотеке "Единой России" вышло трехтомное издание, посвященное теме консерватизма - "Идеи. Люди. Действия" (М., 2002). Удивительные метаморфозы творятся на наших глазах! Как будто не было и нет глумления над "совками", над советским периодом русской истории. Вместо привычной для слуха хулы на все это раздаются вдруг фанфары в честь "традиционалистского консервативного потенциала, накопленного в советский период" (книга "Идеи", с. 55). Там же: "Сторонники здорового консерватизма, в отличие от радикал-либералов, не склонны рассматривать советский период как "черную дыру" в истории России. Многие достижения социалистической истории страны - неотъемлемая часть традиции". "В советский период... сама система социализма держалась на определенных консервативных устоях (патриотическое сознание и т. д.), хотя они и были деформированы идеологией. Государственное образование, официальная культурная политика сохраняла классику. Идеология все более становилась ритуальной процедурой, в то время как народ жил своей жизнью, сохраняя глубокий консерватизм". Добавим от себя: все это и не устраивало врагов России, и не потому ли для сокрушения ее потребовалась "криминальная революция"?

Но еще о метаморфозах. Сколько клеветы, грязи обрушено на Сталина за все это "перестроечное", "рыночное" время, и вот вдруг такая здравица: "Великий консерватор - И. Сталин" (книга "Люди", с. 145). Приводятся слова политиков, руководителей государств, в том числе Черчилля, о Сталине: "Большим счастьем было для России, что в годы величайших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин... Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в британском парламенте, не мог ничего противопоставить. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов. Сталин производил на нас глубочайшее впечатление. Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически осмысленной мудростью" (там же, с. 169).

Новоявленные консерваторы из "Единой России", обращаясь к имени Сталина, хотят нажить на этом политический капитал, но они умалчивают о том в личности и деяниях нашего величайшего государственника, что имеет такое жгуче-современное значение. То,

например, о чем говорил Сталин в беседе с английским писателем Уэллсом в 1934 году - о "бедных" на Западе, которые "лишены возможности удовлетворить свои самые элементарные потребности", и о "классе имущих", "богатых", которые "не видят ничего, кроме своего интереса, своего стремления к прибыли", и готовы на любые преступления, если увидят угрозу этому. "Как можно примирить такие противоположные интересы и устремления?" - спрашивал Сталин. Теперь можно было бы добавить: тем более при такой пропасти, которая разверзлась у нас в стране между народом и его грабителями, не знающими никакой пощады. Из названных выше книг создастся некая мозаика, конгломерат "консервативных идей", связанных с именами философов, мыслителей разных эпох - от Конфуция, Платона до Ницше, Струве, Ильина. Но вот вопрос: чем может обогатить "Консервативный проект для России" (название вступительной статьи в книге "Идеи") Ницше с его истеричным пафосом книжного "сверхчеловека", апологета жестокости, войны, ненавистника Христа, христианства? Уж не презрением ли к состраданию, участию к обездоленным, слабым, которым он отказывал в праве на существование - ведь это сродни психологии наших нынешних "сильных мира сего"? Все это ницшеанское зло никак не перевешивается выходками Ницше против "стадного человека" в Европе, его измельчания, против "борзопишущих рабов демократического вкуса". Это мы хорошо знаем и по нашему К. Леонтьеву.

Но соль не в Ницше, вообще не в философах, а в политиках, "консервативных партиях". В книге "Люди" дается галерея "великих консервативных политиков XIX-XX веков", которые внесли "огромный вклад в утверждение интернационального "консервативного стандарта" в политике". Среди них трое русских: Сперанский, Александр III, Столыпин. Остальные - политики других стран - от Бисмарка до Тэтчер. Предлагается "вдохновляться их примером". Уж не примером ли "железной леди" Тэтчер, которая вынуждена была уйти в отставку, доведя до тупика экономику с помощью монетаристских методов с их "социальным дарвинизмом" в духе пресловутых "принципов М. Фридмана"? К чему нам этот пример, когда у нас завелась своя монетаристская мокрица, свой фридман - Гайдар.

Конечно, можно извлечь разумное, полезное для себя из опыта зарубежных политиков. Например, из опыта творца немецкого "экономического чуда" Эрхарда (второго канцлера ФРГ), хозяйственная реформа которого подняла Германию из послевоенных руин. Эрхард решительно отвергал "шоковую терапию", он говорил, что нет ничего подлее, омерзительней, чем проводить реформы, в том числе финансовые, грабя народ. Он не принимал дикого рынка. По его убеждению, "только государство в заботе об общем благе может спасти рынок и само себя и придать ему социальную направленность". "Производство для человека, а не человек для производства".

Поучителен для нас и государственный опыт генерала де Голля, который сумел восстановить национальное достоинство разгромленной в войну Франции - в противостоянии экспансии США.

Но важнее, конечно, отечественная патриотическая традиция, вроде знаменитого завета Петра Столыпина: "Народы забывают иногда о своих национальных задачах, но такие народы гибнут, они превращаются в назем, удобрения, на которых вырастают и крепнут другие, более сильные народы".

Авторы упомянутых книг о консерваторах, видимо, завороженные "интернациональным "консервативным стандартом" в политике", не очень разборчивы по части объективности характеристик своих героев. Вот, например, премьер-министр Англии второй половины XIX века "еврейско-английского происхождения" Дизраэли (впоследствии лорд Биконсфильд). Автор статьи в книге "Действия" "большим успехом" Дизраэли называет "демонстрацию силы в русско-турецкой войне, в результате которой Россия поумерила свои аппетиты". А вот иностранный специалист, французский профессор А. Дебидур - куда объективнее оценивает деятельность Дизраэли: "Был склонен решительно во всем противодействовать России" (Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Пер. с фр., М., 1947).

Глава об американском президенте Рейгане начинается словами: "Сороковой президент Америки Рональд Рейган стал для страны олицетворением сильной, патриотичной и в то же время семейной, духовно близкой простому американцу власти... Рейган поднял на щит традиционные ценности, особенно связанные с семьей, семейным очагом. В 1980 г. одна из его сторонниц объяснила свой выбор при голосовании тем, что Ронни - "такой домашний, он как член нашей семьи".

О "хранителе семейного очага" говорится с таким придыханием, как будто это не тот Рейган, который называл нашу страну "империей зла", прославился чудовищным раздуванием военного бюджета, "стратегическими инициативами" вроде СОИ и т. д. Бросается в глаза то усердие, с каким авторы книг о зарубежных консерваторах "облагораживают" их. В главе о Черчилле говорится, что в своей знаменитой речи в Фултоне (1946 г.) он "предупреждал об угрозе тоталитаризма, говорил о путях предотвращения новой мировой войны, а не о ее развязывании... Благодаря Черчиллю в широкий обиход вошла его фултонская фраза "железный занавес"... Впоследствии фултонская речь была оценена как шедевр ораторского искусства". Эти елейные слова ничего общего не имеют с истиной, недаром речь Черчилля и была воспринята как угроза Советскому Союзу. Сразу же после этой воинственной речи Сталин так охарактеризовал ее: "Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы, как единственная полноценная нация, должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны властвовать над остальными нациями мира.

По сути дела, г. Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, вроде ультиматума: признайте господство добровольно, и тогда все будет в порядке - в противном случае неизбежна война... Вполне вероятно, что нации, не говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в новое рабство".

Насколько прозорливы сталинские слова об опасности для народов американо-английских расистских притязаний на мировое господство, свидетельствуют события нашего времени, когда Америка при поддержке Англии беспощадно расправляется с неугодными режимами, "неполноценными нациями" (Сербия, Ирак - кто следующий?).

Черты той или иной нации становятся выпуклее в своей характерности при сопоставлении их выдающихся представителей. Вот два великих путешественника - русский Миклухо-Маклай и англичанин Джеймс Кук. Из жизни Миклухо-Маклая среди папуасов Новой Гвинеи известен такой случай. Кто-то из туземцев украл его топор. Как ни был Маклай расстроен пропажей столь необходимого ему в хозяйстве предмета, он ничего не сказал об этом туземцам. Но через несколько дней они сами пришли к нему и вернули топор с подарками. Человечное обращение привело к тому, что туземцы стали отвечать русскому путешественнику сердечным вниманием, называя его "другом", "братом", "отцом". Таким он и остался в памяти их потомков. А вот другой тип отношений с туземцами в лице англичанина Кука. Английский автор Алистер Маклин в своей книге "Капитан Кук" постоянно отмечает такую черту своего героя, как жестокость, "диктаторство" по отношению к "дикарям". Каждая очередная встреча с ними начинается с насилия, выстрелов, убийств. Излюбленная тактика - взятие заложников по всякому мелкому и даже нелепому поводу. К примеру, после дезертирства двух его матросов Кук "схватил полдюжины местных вождей" и держал их в качестве заложников, грозя карой, если они не помогут вернуть матросов на корабль. Эта практика продолжалась вплоть до трагической развязки. Во время пребывания Кука в деревне "дикарей" у него были похищены слесарные инструменты. Он решил забрать в заложники короля местного племени (который незадолго до этого обожествлял его как белого человека). По дороге произошла схватка с туземцами: "Кук собственноручно убил одного человека" и сам погиб от ударов дубинок. Автор книги замечает, что настороженность, а затем враждебность туземцев к тем, кого они при первом знакомстве принимали за богов, можно понять: "Колоссальная самонадеянность

западноевропейских наций, которые странствовали по миру, захватывая все, что попадалось, независимо от желания и взглядов законных владельцев этих районов, просто поражает".

***

В одном из своих выступлений Путин призвал к повышению "качества жизни". Когда нет элементарных условий, никакой гарантии для безопасности жизни, то этот призыв кажется довольно отвлеченным. В быт, в психологию народа за все "демократические" годы въелось слово, не имевшее такого жуткого смысла в истории русского языка - выживание. Ценность жизни - в самом ее величайшем, дарованном Богом благе. Но на пути к этому благу такое множество препятствий, что жизнь зачастую теряет свой благодатный смысл. И среди этих препятствий - социальная среда, активно влияющая на психологию, духовный мир людей.

В каком же отношении "качество жизни" находится к социальной среде в нынешней России? Среда эта порождена "криминальной революцией", продолжающейся до сих пор. Уже определились чудовищные формы социальной несправедливости с фантастическим разрывом между богатыми и бедными, объявлена амнистия вывезенному на Запад воровскому капиталу. Старт "демократическому образу жизни" был задан азартом грабительства, разжиганием самых низменных страстей, зависти. Как поведал по израильскому радио Березовский: кто получил миллиард, завидовал тому, кто получил три миллиарда, кто три - завидовал тому, кто получил пять, и т. д. Традиционный христианский коллективизм русского народа вытравливался индивидуализмом, безудержным эгоизмом. Всепоглощающим стал культ наживы, денег.

Есть у нас, русских, национальная черта, которой можно объяснить многие наши беды. В своей "Истории русской церкви" митрополит Макарий рассказывает, как по Руси в Смутное время валом катилось всеобщее признание Лжедмитрия. Все войско, все бояре, народ, все митрополиты, архиепископы, епископы признали его. Исключением был только Астраханский архиепископ Феодосий. Привезенный из Астрахани в Москву Феодосий, в ответ на гневный вопрос самозванца: "Кто же я?" - прямо отвечал, что он не царевич Дмитрий. "Смелый ответ так подействовал на Лжедмитрия, что он не только не предал казни Феодосия, но не велел даже его оскорблять". Автор "Истории русской церкви" спрашивает: "Осудим ли мы тогдашних святителей наших за то, что они покорились самозванцу?" И как на смягчающее обстоятельство ссылается на следующее: "Покорились, быть может, потому, что не в силах были, как и многие из мирян, противостоять всеобщему увлечению" (Митр. Макарий (Булгаков). История русской церкви, кн. VI. М., 1996, с. 77). Вот в этом и наша русская беда: во "всеобщем увлечении" тем, чем увлекаться, по здравом размышлении, и не следовало бы. Сколько таких "всеобщих увлечений" было в нашей истории! И "жидовствующие" в конце XV века, когда иудейскому соблазну поддалась не только рядовая паства, обманутая врагами христианства, но и сам великий князь Иван III вместе с митрополитом Зосимой (пресекли эту величайшую угрозу для православия Новгородский архиепископ Геннадий и игумен Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий). И "всеобщее увлечение" троцкистской "мировой революцией", остановленное Сталиным. Теперь все направляется к тому, чтобы сделать предметом "всеобщего увлечения", говоря расхожим языком западных философов - "проект постмодерна", то есть "нового порядка" во всем - в обществе, культуре, науке, образовании и т. д. Обычно умалчивается о религии, идеологии, но суть "проекта" неотделима от их "преобразования".

Модой становится консерватизм, выставляемый в качестве альтернативы либерализму. Но что меняется по сути? Та же сатанинская власть денег. То же еврейское господство - экономическое - в средствах массовой информации. То же наплевательство по отношению к народу. И сам народ - это только "электорат" на гонке выборов. Надо все-таки иногда включать телевизор, при всем отвращении к нему: можно услышать то, что следует знать. Вот, например, 26 января 2004 г. по каналу "Культура" передавалась беседа с раввином

Адольфом Шаевичем. По его словам, нет ни одной еврейской семьи, которая не пострадала бы от погромов, фашизма, что в каждой еврейской душе живут опасение и боль, и потому евреи такие грустные, и сам он грустный. "Посмотрите на наших юмористов Жванецкого, Хазанова и всех других - они тоже все грустные". Ведущая отметила в раввине "великое смирение". А я подумал: "Вот если бы раввин с таким же смирением посетовал на "опасение и боль", вернее, на кровоточащие раны почти в каждой русской душе от погрома, учиненного "грустными евреями" - гайдарами, чубайсами, кириенками! Ведущая не увидела опасности фашизма в России: смотрите, как хохочет русская публика от эстрадных острот Жванецкого, Хазанова. Да уж, чего-чего, а этого добра хватает у русских простаков - беззлобного восторга перед глумлением над собой!

Но не чудо ли, что, несмотря на неслыханный погром, который любой другой народ вряд ли бы вынес, наш народ все-таки выстоял и, несомненно, еще заявит о себе в полную меру своих духовных, исторических сил. У народа своя жизнь, свое назначение, не его дело ораторствовать, выставлять всякого рода "проекты постмодерна", но если и есть где почва для консерватизма, то, конечно же, не в головах увлеченно философствующих умников, а в самом народе, в традиционных его духовно-нравственных ресурсах, принципах правды, социальной справедливости. Ныне даже и патриот не патриот, если он не ругает народ, не обвиняет его в нынешних бедах, не требует покаяния за прошлое. В одном из своих писем, говоря о "критическом отношении молодых священников к народу", К.П. Победоносцев писал: "Им и на ум не приходит, что они сами кость от костей этого народа... что какой бы ни был этот народ - мы пропали бы без него, ибо в нем - источник и хранилище нашего одушевления и возбуждения и сокровище сил веры...". В шестидесятых годах теперь уже прошлого столетия лучшие русские писатели, мы, "молодогвардейцы" (авторы журнала "Молодая гвардия"), идеал народности чаще всего видели в деревенских старушках, так сказать, в их нравственном свете. Конечно, была в этом своя избирательность, ведь народ - это не одни старушки, но и Курчатов, Королев, Гагарин, крупные деятели во всех областях жизни, и ныне это особенно очевидно. Но за нынешним разговором об "элите" как бы забывается: что же это за элита, интересы каких сил она выражает? И не преувеличивается ли разрыв между "элитой" и "не элитой"? Ведь если рассуждать по-христиански, каждая личность уникальна, неповторима, отсюда ее абсолютная ценность. Потому-то один из глубочайших тайновидцев сущности человеческой личности святитель Григорий Палама говорит, что уничтожение ее равносильно крушению мира, космической катастрофе. Да и в мире церковном, социальном на ком держится церковная жизнь? На тех же воцерковленных старушках, женщинах. Зайдите в храм, и какие светлые, благодатные лица вы увидите. И кто, как не такие женщины, своим стоянием, молитвами у здания суда спасли от недавнего судебного преследования тех молодых отважных алтарников, положивших конец выставке "художников"-сатанистов в так называемом сахаровском центре. И в социальной жизни, в самом быту: в свое время в начале 90-х годов я писал, как поразила меня встреча со старухой в моей родной деревне на Рязанщине, которая, говоря о своих мучениях при Ельцине, крикнула: "Я бы его, гада, подняла на вилы!" - и сделала такой выпад руками, что и до сих пор стоит она в моих глазах как символ народной ярости. Может быть, самое страшное, что произошло за эти "демократические" годы,- это истребление в человеке чувства сострадания. Любимый герой Достоевского князь Мышкин в "Идиоте" говорит: "Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия человечества". Нельзя назвать ни одного из великих мировых писателей, который был бы апологетом капиталистических нравов. И никто с такой силой не выразил пронизывающего сострадания к жертве этих нравов, как Достоевский, показав в "Преступлении и наказании", как бьется больная чахоткой Катерина Ивановна с малыми детьми в отчаянной, беспросветной нищете. Именно такие крики о сострадании прямо взывают к человеческой способности понимать слова Спасителя о тех, кто не чужд милосердия, и тех, кто попирает его. Наше отношение к пораженным лишениями, страданиями Господь отождествляет с отношением к Нему самому, берущему на себя бремя "униженных и оскорбленных", чтобы через эту

непостижимую глубину милосердия пробудить сочувствие к ближнему (Мф. 25, 29-30).

***

...Недавно в газете "Русский вестник" (2003, № 9) писатель Л. Бородин, он же главный редактор журнала "Москва", выступил против меня в защиту своего друга В. Тростникова, которого я назвал диссидентом. "Может быть, Лобанов прав в критике В. Тростникова. Но зачем он назойливо повторяет "диссидентство", "диссидентские штучки"?" Л. Бородин умалчивает о том, в чем я прав, а ведь это главное, и об этом шла речь в моей статье (которую имеет в виду Бородин) - "Россия и лицедеи" (ж-л "Молодая гвардия", 1995, № 3). В этой статье я останавливаюсь на письме Тростникова "Красно-коричневые - ярлык или реальность?" (ж-л "Новый мир", 1994, № 10). Письмо поражает злобой к тем, кого он называет красно-коричневыми. Даже больше, чем коммунисты, ненависть Тростникова вызывают русские патриоты, которых он честит "коричневыми", "национал-патриотами", "русскими шовинистами", "внерелигиозными патриотами", "коммуно-шовинистами", "квазипатриотами", "безрелигиозными национал-моралистами". С "русскими шовинистами", считает автор письма, не может быть никакого диалога, их надо истреблять. И приветствуя расстрел 3-4 октября 1993 года, обвиняя "красно-коричневых" в "мятеже", он недоволен тем, что "либеральные власти" пошли на отмену преследования организаторов кровавых погромов, а это, мол, равносильно постановлению о правомочности подобных вылазок и впредь. И вся эта кровожадность умасливается "философским" словоблудием (ссылка на "противление злу силой" Ивана Ильина), демагогией об "евангельской истине", недоступной "русским шовинистам" (поголовно всем, по его уверению, безбожникам), терминологической премудростью. Только на одной странице - "процесс апостасии - отпадение человека от Бога", "сюжет апостасии", "апостасийный опыт", "только апостасия" и пр., и пр.

Не так давно, в конце 2003 года, вышла приуроченная к десятой годовщине расстрела Дома Советов 3-4 октября 1993 года книга "Анафема" (приложение к журналу "Новая книга России"). Жутко читать эту хронику государственного переворота с массовыми расстрелами ни в чем не повинных людей (до 1500 убитых). Знаменитый старец о. Николай (протоиерей Гурьянов) назвал их мучениками.

И напрасно А. Бородин всецело поддерживает В. Тростникова. Ведь сам-то он, Бородин, судя по рассказу в его "автобиографическом повествовании" "Без выбора", при своем "неоднозначном" отношении к "вопросу об ответственности за пролитую кровь", не скрывает все же сочувствия к жертвам расправы. "Задело" же его (по собственному его слову) то, что я без должного почтения употребляю слово "диссидент" (хотя сам он пишет, что "не считает себя диссидентом"). И в своем "автобиографическом повествовании" он снова упрекает меня в недоверии к диссидентам с их апелляцией к Западу. Ставится мне в пример названный выше Тростников. "Чем отличается "диссидент" Тростников от "не диссидента" Лобанова? Тем, что, когда ему стало невмоготу, ушел с выгодных мест, стал дворником и продолжал писать то, что он думает. Он нашел в себе силы быть последовательным. А Михаил Иванович, когда его разругали за "Мужиков", притих. А ведь он тоже был "инакомыслящим" (газ. "Русский вестник", 2003, № 9).

Помнится, когда-то (это было в январе 1993 года) Бородин, приглашая меня принять участие в вечере "бывших инакомыслящих" в московском Доме журналистов, именовал меня моим настоящим именем - Михаил Петрович, теперь я почему-то стал для него Михаилом Ивановичем. Но это мелочь.

По его словам, я "притих" после того, как меня "разругали за "Мужиков". Каких "мужиков"? Видимо, имеется в виду скандально известная статья А.Н. Яковлева "Против антиисторизма", в которой мне досталось, помимо всего прочего, и за "идеализацию мужика". Статья эта появилась в ноябре 1972 года, выходит, по Бородину, что с тех пор я "притих". Но за это время вышло более десяти моих книг, год назад - книга в сорок три

печатных листа "В сражении и любви" (статьи последнего десятилетия). По одной из моих статей ("Освобождение") было принято решение секретариата ЦК КПСС (1982). Кстати, тот же А.Н. Яковлев, "архитектор "перестройки", обличавший меня тридцать лет тому назад, и ныне в новой своей книге "Омут памяти" (М., 2002) продолжает клеймить меня как "шовиниста", "охотнорядца" (не приведя ни одной цитаты, ни одного примера, которые бы оправдывали употребление этих ярлыков).

Не оценил я жертвенность дворника! Мой друг с университетских лет, недавно скончавшийся Сергей Морозов, о котором я пишу в своей книге "В сражении и любви", был глубоко религиозным человеком, никогда и нигде не скрывал этого, за что расплачивался не раз своим преподавательским местом в пединститутах, откуда его изгоняли, пока не нашел пристанища в Мордовском государственном университете, где и преподавал вплоть до начала 2000 года, не скрывая своей веры, влияя тем самым на студентов. И обошелся без поста дворника. Сколько было в 60-80-х годах этих дворников при приеме в Литинститут им. А.М. Горького (где работаю с 1963 года руководителем семинара). Вот идет заседание приемной комиссии, секретарь читает анкеты поступающих: "...работает дворником..." "Опять эти дворники!" - с заматерелой досадой, морщась, отмахивается ректор Владимир Федорович Пименов. Каждому "гению", как чеховской Змеюкиной, не хватало "атмосферы", "свободы творчества". Так же и диссиденты. А кто слышал этих дворников-тросниковых в 60-80-х годах, когда на виду у всей страны, мировых идеологических служб шла борьба русских патриотов ("русистов" - по ненавистническому выражению Ю. Андропова) с космополитическими силами, вызывая антирусскую реакцию в многомиллионных тиражах прессы; когда требовалось открытое сопротивление разгулу русофобии, разжигаемой сионистской прессой, "агентами влияния" из ЦК? А кто-то в эти годы помахивал метлой, скрывая ею запечные свои писания, а сейчас выдает себя за некоего начальника жэка. И тот же ВСХСОН - кто знал об этой группке зеков - революционеров в те времена, когда на слуху и в сознании миллионов людей в стране были патриотические идеи той же "Молодой гвардии". Возвращаясь к Л. Бородину, хочу сказать, что его не только, видимо, "задело" сказанное о Тростникове в моей статье. Дело в том, что там же цитировались и его высказывания, с которыми я не был согласен: "Не будем останавливаться на приписывании Бородиным исключительно вины самому русскому народу в той катастрофе, которая обрушилась на Россию (вроде: "Будто бы не народ в лице наинароднейших его представителей одобрил Беловежское соглашение. Будто бы не из народа вылупились мастера финансовых пирамид..."). Надо ли спорить с автором, варьирующим парадокс К. Леонтьева, что "дух антихристов не опускался на Россию извне, но вызрел в ней...". Неужели Бородину неизвестно общеизвестное - "вылупится" антихрист из колена Данова. Или Бородин спутал русский народ с Бухариным, который с детства мечтал быть антихристом, - зная, что у этого его кумира мать-блудница.

Как мне стало тогда известно, в ответ на эту мою реплику Бородин написал протестующий ответ, принес его в газету "Завтра", но вскоре забрал обратно, почему-то не решаясь опубликовать.

Читая воспоминания Л. Бородина "Без выбора", испытываешь сочувствие к автору, которому пришлось пережить тяжелые испытания. Сам он считает свою судьбу состоявшейся, в этом видит свое "счастье" - понятие для него определяющее как в личной жизни, так и общественно-политической. Но нет ли элемента ущербности в этом "счастье", если его обладатель говорит о тех, для кого гибель нашего государства - величайшая трагедия: "Подавай им опять Советский Союз!" Или: "Задние копыта "государственного коня", по причине несовершенства знания строителем законов сопротивления материалов, подломились сами по себе, и "коняга" рухнула - лишь пыль к небу!".

Для Бородина, как и для других диссидентов, советский период русской истории - провал, пустое место, а из слепой безбрежной людской массы - провидцы только он да еще немного таких же. "Тщетно А. И. Солженицын призывал жить не по лжи. Люди научились жить по "не вере". Причем все - от колхозника до члена Политбюро... На фоне

многомиллионного "нового советского народа" мы и нам подобные были выродки, уроды. Потому что нормальный советский человек по поводу своего неверия не рефлексирует". О Солженицыне мне говорить страшно: объявил же в печати Бородин вместе с другими "узниками ГУЛАГа", что противников Александра Исаевича "ждет преисподняя" ("Русский вестник", 2003, № 28). Видимо, ждет то же самое и тех, кто считает фальшью его призыв "жить не по лжи". Висит угроза и над такими критиками его книги "Двести лет вместе", как М. Назаров и М. Дунаев, которые по радио "Радонеж" назвали автора этой книги "духовно незрелым", не сказавшим ни слова о главном - о пропасти между христианством и талмудистским иудейством. Я не думаю, что этот хитрован не ведает об этой пропасти, он умалчивает о ней, чтобы парализовать наше сопротивление еврейскому игу, - ибо, когда это и где было, чтобы за один стол "равноправного разговора" садились победители и побежденные, насильник и их жертва?

Бородин не принимает названия "русский патриот", именуя себя "просто русским", но не тем, конечно, "просто русским" - из числа презираемых им десятков миллионов, живущих по "не вере". Особая тема - участие его в подпольной организации ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа) - с программой вооруженного свержения советского строя. Материал скорее для историков политического подполья, во многом романтического - деятельность этого кружка идеологически была замкнута на радикальном антисоветизме. Но было тогда, в 60-х годах, и другое в "русском движении" - "молодогвардейство", бегло упоминаемое Бородиным, но на котором подробно останавливается диссидент А. Янов в своей известной русофобской книге "Русская идея и 2000 год". Вынужден привести из этой книги цитаты, касающиеся меня. Это необходимо для уточнения сути дела. Речь идет о моей статье "Просвещенное мещанство" ("Молодая гвардия", 1968, № 4). "Лобанов... переносит центр мировой драмы из сферы борьбы социализма и капитализма в метафизическую сферу противостояния "духов"... предсказывает он, что в грядущем смертельном конфликте "рано или поздно столкнутся между собой эти две непримиримые силы", названные им "нравственной самобытностью" и "американизмом духа"... В отличие от ВСХСОНа, Лобанов верит в потенциал советского режима".

Это говорится о тех 60-х годах, когда группа "русских мальчиков" (по Бородину) из ВСХСОНа помышляла только об одном - вооруженном свержении советской власти, а между тем в самой атмосфере того времени уже скапливалась та угроза американизма, которая ныне стала мировой реальностью в качестве палача народов. А ведь единственной силой в мире, противостоявшей американской агрессии, обуздывавшей ее, был столь ненавистный Бородину и его диссидентским друзьям "монстр" - Советский Союз.

Бородин выдает себя и буквально еще несколько человек за тех прозорливцев, кто ни в чем не ошибался и кто держался "спасительного" для России курса. Но есть и другие мнения на сей счет. Например, Татьяна Глушкова писала в журнале "Молодая гвардия" в 1995 году: "Поведение Солженицына (как и поведение Сахарова или Шафаревича, Леонида Бородина и прочих антисоветских диссидентов, обласканных Западом), без сомнения, разительно отличалось от поведения М. Лобанова и других русских писателей, критичных к советской власти, но не опускавшихся до апелляции к лжесвободному миру, до сотрудничества, соратничества с ярыми, безусловными врагами своего Отечества. Не искавших ни "понимания", ни поддержки, ни славы на исстари ощеренном против России Западе. Не принявших ни единого сребреника из чужеземных, из заморских рук в качестве гонорара за свой русский патриотизм.

Я полагаю, что помимо непосредственного чувства, которое удерживало или отталкивало этих людей от - столь льстившего Солженицыну и его близкой компании - западного, американо-германо-израильского сочувствия, литераторы типа М. Лобанова (позволю себе такое обобщение) обладали достаточным разумом, чтобы понимать: за действительный русский патриотизм на Западе не платят ни славой, ни долларами, ни учеными званиями, ни докторскими мантиями, ни почетными лауреатствами... Что именно

невостребованность Западом может сделать честь русскому патриоту".

И еще об одном. Бородин пишет, что в программе их подпольной организации, вообще среди их участников не было "еврейского вопроса". Иронично говорит он о русских патриотах, смелости которых хватает только на борьбу с еврейским засильем в русской культуре. Но ведь дело-то не просто в культуре, и вряд ли уместна тут ирония.

Хотелось бы спросить Бородина: довелось ли ему случайно видеть телепередачу с участием высокочтимого им героя его "автобиографического повествования" Ильи Глазунова? (Передача "Свобода слова". НТВ, 13 февр. 2004 г.) Тогда достаточно было Глазунову высказаться положительно об истории России, ее прошлом, о русском народе, ныне оскорбляемом и унижаемом, о великой русской культуре, как на него злобной стаей набросились окружавшие его собеседники-евреи. Небезызвестный адвокат олигархов, всякого ворья Резник, телепират Познер, прочие - все они ополчились против художника с обвинениями - кто за его "русский шовинизм", "невежественность", кто за одно уже то, что он посмел говорить в этой компании о русском, кто за его обращение к прошлому, в котором тому же Познеру видится только рабство, перешедшее по наследству новому поколению русских. Осознав себя в ловушке, Глазунов обратился было к своему излюбленному доводу - русский тот, кто любит Россию, таковы его лучшие друзья-евреи, нацеливши при этом взгляд на стоявшего поблизости Иосифа Кобзона (портрет которого красуется в мастерской Ильи Сергеевича). Но тот сердито смотрел вытаращенными глазами и не спешил на помощь к "русскому другу". Не помогла и патетическая глазуновская речь о собрате по кисти, горячо любившем Россию "величайшем (?) русском художнике" Левитане. В ответ на весь экран наползла физиономия Резника, слушавшего панегирик соплеменнику с ядовитой саркастической ухмылкой. Так вот, Леонид Бородин: существует ли еврейский вопрос в России? Или его нет, как не было во ВСХСОНе? Или вам ничто не говорит и то, что именно из этого племени, употребляя ваше слово, "вылупились" гайдары-чубайсы с их ролью чумных бактерий в теле России. Впрочем, у Бородина свое мнение о происходящем в стране. Он, например, считает "свидетельством начала изживания смуты" в нашей стране новое президентское правление в лице Путина, связывая его с "феноменом Владислава". В свою очередь с "польским королевичем" Владиславом, которому присягнули русские люди "по закону" в начале XVII века, связывается автором "начало духовного возрождения". Карамзин называл признавших Владислава "изменниками", и даже те, которые искренне видели в этом признании возможность умиротворения, вскоре убедились в иллюзии, ибо началась еще большая смута в результате грабежа, насилия со стороны ляхов. И только огненные призывы патриарха Гермогена (которые Бородин называет гласом вопиющего в пустыне), пламенный патриотизм Минина и Пожарского стали основой возрождения Руси.

И уже в царствование Михаила Романова притязания Владислава на московский престол грозили новыми смутами. В 1618 году он отправился "добывать Московское государство", осадил Москву, и даже когда по призыву Земского собора русские отстояли свою столицу от неприятеля и дело Владислава было проиграно, он продолжал сеять смуту, по его "наущению" крымцы в 1633 году напали на русские земли. И только в 1644 году поляки признали карту с Владиславом битой, пытаясь за его отказ от царского трона сорвать с Московского государства сто тысяч рублей. Что же касается упоминаемой Бородиным "смуты" наших дней, то странно думать, что неслыханные злодеяния, учиненные над народом, над страной "реформами" можно прикрыть риторикой о новом "деловитом" президенте, тем более, что этот президент сам называет себя "наемным работником" (кого?) и всегда подчеркивает, что право грабителей, сам людоедский порядок в стране - неприкосновенны. И какое может быть "изживание смуты", примирение между палачами и приговоренными к смерти?

***

Недалеко от Куликова поля есть село Себино (Тульская область). Здесь родилась в 1881

году блаженная Матронушка и жила до 1925 года, после ее перевезли в Москву, где скиталась и мыкалась по разным углам до блаженной кончины в 1952 году. Село это, видимо, мало кому известно из той массы верующих, которые в свое время обращались за молитвенной помощью и заступничеством на могилку блаженной Матронушки на Даниловом кладбище, а теперь текут к раке с ее святыми мощами в Покровский монастырь на Таганке в Москве. Если вы, приехав в Себино, выйдете из автобуса или машины у местной церкви и спросите у случайного прохожего, где жила Матронушка, то ответчик укажет на не далекий отсюда домик под красной крышей.

Когда мы подходили к нему, навстречу бросилась с гавканьем собачонка и тут же заласкалась, завиляла хвостом, а стоявшая рядом хозяйка, пожилая, широколицая женщина, узнав о цели приезда, проводила нас в дом. Только войдя внутрь, я понял, почему по дороге к дому так пахло навозом. В первой клети тесного помещения лежал на полу крупноголовый теленок, поглядывая на вошедших. Во второй клети, около старого диванчика с подстеленной дерюжкой, сидел человек с какой-то непрояснившейся думой на помятой физиономии. Над мигавшим маленьким телевизором висела икона. Хозяйка пояснила, что это не тот дом, где жила блаженная Матронушка, - тот деревянный сгорел, - это же хозяйственная пристройка. "А, может быть, дом стоял в другом месте", - рассуждала женщина.

От теленка в углу еще было что-то домовитое в этом голом жилище. Но, как только вышел я наружу, дохнуло полным разорением. Кругом безотрадная картина. Виднелись по сторонам среди пустырей отдельные постройки наподобие длинных сараев. Непонятно, куда делись дома: то ли их разобрали и вывезли в иные места, то ли они сами развалились от ветхости. Рядом с домиком Матроны еще несколько невзрачных избушек; у крайней из них застыла понурая лошаденка с санями. Так, казалось, стояла она здесь и пятьдесят, и пятьсот лет назад, на краю ряда таких же избушек. Но вот из дома вышел человек, сел в сани, лошаденка тронулась с места и побежала, а вслед пустились вдогонку три собачки друг за другом, и эта бегущая четвероногая компания, как и тот теленок в избе, вносили нечто издревле гармоничное в окружающий мир.

В здешнем храме Успения Божией Матери находится купель, в которой крестили блаженную Матронушку. Настоятель местного храма - молодой батюшка Игорь Горошко. Работал он на заводе, был далек от церкви, но когда пришел к вере и должен был стать священником, глубоко верующая матушка, его жена, упования свои за мужа возложила на Матрону: как она решит - так тому и быть! И вот его назначают настоятелем храма Успения Божией Матери в Себино. Приход бедный, считаные старушки из окрестных деревень. Невольно вспоминается духовный стих о "богатстве нищих". Как применим он к здешней скудной земле!

Я был на литургии, которую негромко, вдохновенно служил отец Игорь, и слышал его короткую проповедь. Надо, говорил он, во всем навести порядок. Порядок в своей душе. Порядок в приходе. И тогда только можно влиять на то, чтобы установился порядок "наверху"...

После службы, выйдя из храма, я вспомнил о своем давнем (в конце 70-х годов) разговоре с отцом Владимиром, настоятелем храма в Осташкове (впоследствии архимандритом Васианом, наместником Нило-Столобенской пустыни).

С печалью говорил он тогда, что скоро некому будет служить, старые священники уходят из жизни, а молодые не идут. И вот - Игорь Горошко, и сколько сейчас таких, как он, молодых священников.

И вспомнились мне еще слова из "Истории Русской церкви" митрополита Макария (кн. 8, изд. 1988 г.), что русский народ именно сельскому священнику обязан тем запасом положительных сил, которыми был сохранен благодаря крепкой традиции и вопреки всем разлагающим влияниям.

От Себино километров тридцать до Куликова поля, а само оно развертывалось заснеженным пространством с невидимым в стороне Доном, с лесопосадками, с голой рощей

на месте знаменитой дубравы с засадным полком, решившим исход битвы. За окном мчавшегося автобуса как-то незаметно сгустились сумерки, и затем стало совсем темно. Изредка показывались и медленно проплывали тусклые зраки какого-нибудь жилья, и снова ни огонька, как это было долгое время на этой земле после Куликовского побоища. Все тем же было небо, глядящее на землю, кажется, и на тебя сейчас, мириадами звезд влекущее в свои таинственные бездны, возвышающее душу, говорящее о величии Божием.

Такая причастность к бытию - вот уж поистине урок неложного консерватизма.

Журнал "Наш современник", 2004, № 6

"Уступи место деянию..." [8]

Владимир БОНДАРЕНКО. Русское направление подводит свои итоги в литературе. В меня это вселяет оптимизм: значит, есть чувство чего-то крепко сделанного, неисчезаемого - это, во-первых, и есть надежда, что эти итоги, отраженные в виде книг-воспоминаний, будут прочтены, изучены и поняты молодыми... По-настоящему прогремел трехтомник воспоминаний Станислава Куняева, вызвал споры, полемику, несогласие, но, минуя какие-то конкретные ошибочные оценки и личностные обиды, трехтомник дал читателям главное - ощущение русского пути. Сейчас многие с интересом читают книгу воспоминаний Сергея Викулова "На русском направлении". Готовятся к выходу мемуары Леонида Бородина. Вызвала огромный интерес книга художника Ильи Глазунова "Россия распятая". Книги разные, но это все наш русский фронт сопротивления, наше видение мира. Вот и ваши, Михаил Петрович, главы из книги, опубликованные в журнале "Наш современник", уже активно читаются и врагами и друзьями. Что означает для вас "Опыт духовной автобиографии"? Для кого вы писали свою книгу? На что надеялись?

Михаил ЛОБАНОВ. Я писал свой "Опыт духовной автобиографии" не из узколичных побуждений, не ради собственного честолюбия и даже не для массового читателя, а главным образом для историков литературы. Может быть, эта книга пригодится и тем, кто будет изучать историю разрушения нашего великого государства. Причины нашей величайшей катастрофы, конечно же, слишком глубокие, и не походя о них надо говорить, да и все ли они открыты нам? Но могут внести свою долю в понимание того, что произошло, все свидетельства современников, в том числе и мое. Разумеется, не голословные свидетельства, а рожденные из собственного опыта активного участия в событиях конца XX века. Известно, что идеологические истоки того, что происходит ныне в нашей стране,- во многом в шестидесятых годах теперь уже прошлого XX столетия. Именно тогда, сорок лет тому назад, и выявилась сперва прикровенная, а потом и все более открытая борьба двух направлений в литературе, в общественной жизни - либералов и почвенников. Или иначе - космополитов и патриотов. Вот я и оказался волею обстоятельств, как когда-то в Великую Отечественную войну, стрелком на передовой - на той же передовой в идеологической борьбе. Не со стороны наблюдал за происходящим, а изнутри ощущал как бы накал этой борьбы. И было для меня очевидно, как либеральные миазмы разъедали, подтачивали основы общественного бытия. Там, в шестидесятых-семидесятых годах, в скрытой форме уже существовало то, что расцвело ядовитым махровым цветом с "перестройкой" при "демократах". Я писал об этой опасности, вызывая на себя вал обвинений в "антиисторизме", "внеклассовости", "шовинизме". Обвинения сыпались не только со стороны антирусской прессы, но и со стороны официальных властей. Вплоть до генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, который дал команду осудить в специальном решении ЦК партии мою статью "Освобождение" о романе Михаила Алексеева "Драчуны".

В.Б. Удивительно то, что всерьез эта смычка антирусских сил из ЦРУ и КГБ, из радио "Свобода" и ЦК КПСС никогда не разбиралась. Обратите внимание, как одинаково, как

---

[8] Беседа с редактором газеты "День литературы" Владимиром Бондаренко.

говорят, вплоть до запятых, громили романы Валентина Пикуля и Михаила Алексеева, статьи Вадима Кожинова и ваши, стихи Станислава Куняева и Николая Тряпкина в отделах культуры и пропаганды ЦК КПСС, в газетах "Правда" и "Известия" и по всем буржуазным голосам. И никто не задумывался, почему так схожи статьи в "Правде" и выступления на радио "Свобода" по русскому национальному вопросу? Меня-то окунули в эту борьбу с головой с самого начала, когда я, скажу честно, мало что в ней понимал, и вдруг за достаточно лирическую историко-литературную статью "Сокровенное слово Севера", опубликованную в журнале "Север", еще будучи всего лишь начинающим критиком, я попал под обстрел и "Правды", и "Коммуниста", и "Литературной газеты", и все те же идеологические марксистские зубры Суровцев и Оскоцкий нашли и у меня антиленинский внеклассовый подход. Но и "Свобода" в лице Марка Дейча тоже прицепилась ко мне... Они же были близнецы-братья: идеологи из ЦК, суровцевы, беляевы и оскоцкие, и идеологи из ЦРУ и "Свободы". Те из них, кто жив и сегодня, убедительно эту близость доказывают, печатаются в одних и тех же либеральных органах, состоят в одних и тех же партиях. Как выросла эта яковлевско-горбачевская раковая опухоль в руководстве страны? Неизбежна ли она?

М.Л. Теперь-то все открылось. Готовилась "перестройка", готовился разгром государства, а для этого, как всегда при революциях, требовалась духовная подготовка. Наверху действовала пятая колонна с просионистской, проамериканской идеологической обслугой. Задачей было - внедрение в массовое сознание разложения, подрыва всего национального и государственного. А я "пер против рожна". Против журнала "Юность" - матерого гнезда "детей XX съезда", хрущевских выкормышей, всех этих аксеновых и гладилиных, прочих будущих эмигрантов третьей волны. Против Евтушенок с их изощренным "Да здравствует - Долой!". Против Окуджав с их расистским "А одна ли у нас кровь?". Против Бочаровых с их нигилизмом, язвительностью в адрес армии. Против либерального направления журнала "Новый мир", которое и породило нынешнее его прислужничество "реформаторам" и Соросам. Против американизма как смертельной угрозы национальной самобытности народов. Против глумления над русской историей и русской классикой. Вот обо всех этих событиях в моей жизни я и пишу в своей "духовной автобиографии". Как это было, как готовилось то, что мы сегодня имеем...

В.Б. Вас, пожалуй, из литературных критиков русского направления наиболее жестко критиковали в советское время в самых высочайших идеологических инстанциях и в ведущих партийных изданиях. Из-за ваших статей выгоняли с работы главных редакторов журналов, даже фамилию вашу вычеркивали из общей обоймы упоминаемых в статье критиков. Вы были из самых гонимых. Почему же после перестройки вы не оказались в стане жертв социализма, в стане таких антисоветских патриотов, как Игорь Шафаревич, Леонид Бородин или даже Владимир Солоухин? Вам же доставалось поболее, чем тому же Солоухину? Что повело вас в стан "красно-коричневых"? А вернее, в стан последовательных защитников социализма?

М.Л. Я не мог стать сторонником "перестройки" хотя бы потому, что толкачами ее были те же самые идеологи, с кем я боролся десятилетиями. Те же самые русофобы. Кто были любимцы Горбачева? Бакланов, Гельман, Гранин, Юрий Афанасьев... Ни одного русского писателя не было и рядом с Ельциным. Помните, с кем он поехал в Петербург на пушкинский праздник? Как будто перепутал Пушкина с Остапом Бендером, забрал с собой исключительно одних соплеменников последнего, хазановых и жванецких. А помните встречу ЕБН с тем же "избранным народом" в Кремле с обсуждением "Что делать?" и с пированием этих местечковых бояр в Грановитой палате? Та же компашка собирается и вокруг Путина, все те же вечно цветущие хазановы и жванецкие. Могло ли присниться нам, фронтовикам, такое, чтобы президент России в годовщину начала Великой Отечественной войны торжественно вручил Государственную премию по литературе бешеному русофобу, презренному фельетонисту Войновичу за его Чонкина, с глумлением над русским солдатом, ненавистным ему, видимо, потому, что русский солдат спас еврейство от гитлеровского

истребления..

В.Б. Последовательность антинациональной культурной политики Путина уже очевидна. С самого начала он предпочел встречу с малочисленным антирусским ПЕН-клубом, отказавшись от встречи с Союзом писателей России, куда входят до 80 % писателей России. Да и назначение министром культуры местечкового порнографа Швыдкого, прославившегося показом по телевидению тайно заснятой порнопленки с генеральным прокурором, тоже говорило об уровне культуры нашего президента. Видимо, литературу он совсем не читает и никогда не читал, только этим и схож с американским президентом Бушем. Кстати, такое абсолютное бескультурье президента в каком-то смысле пошло нам на пользу. Ему по фигу все либеральные издания, он не встречается с либеральной культурной элитой, а народу эти господа тоже малоинтересны, и поневоле рынок стал передвигаться в нашу сторону. Вот и пришло время Александра Проханова как первого писателя России. За ним, уверен, придут в массовое сознание читателя и другие патриотически настроенные литераторы. Смешно, но из телевидения изгнаны давно и все либеральные звезды литературы. Кому сегодня нужен постаревший Василий Аксенов с его семидесятилетием? Никто же не желает читать его последний опус "Кесарево свечение", скучное, старчески немощное творение, лишенное всяческой энергетики. Либеральных писателей не способны вытянуть на поверхность дня даже их былые друзья из политики.

М.Л. Через культуру, через писателей многое открывается в политике. Вот, например, Гайдар с Чубайсом, по их словам, каждый старый год проводили вместе с Окуджавой. С гордостью говорят, что, когда принимали то или иное государственное решение, всегда думали о том, как к этому отнесется Булат. Страшно подумать! Высшим авторитетом для этой парочки было мнение эстрадника. И от этого зависело положение дел в государстве, наше с вами положение. От решения барда, того самого Окуджавы, который признавался, что испытывал величайшее наслаждение в дни 3-4 октября 1993 года, когда расстреливали невинных людей у Дома Советов. Кстати, в своей статье "Просвещенное мещанство" я писал, что не дай бог попасть под власть таких, как Окуджава. Писал тогда в связи с тем, что этот бард угрожал судом женщине-рецензенту, которая назвала скучным фильм, одним из авторов сценария которого был Окуджава. Ну и накинулся на меня за Окуджаву в конце 1969 года "Новый мир" в статье Дементьева "О традициях и новаторстве". Вот такие экстремисты и ходят в любимцах у главарей нынешнего режима. Как я мог быть вместе с ними?

В.Б. С либералами сегодня, пожалуй, уже мало кто из порядочных людей хочет быть. Тотальное большинство населения не верит власти ни в чем, презирает ее любые действия. Тем более и ежедневные смерти меняют обстановку в стране. Даже молодым опротивело все, вот они и лезут в скинхеды, в лимоновцы, в спортивные фанаты, лишь бы хоть чем, но досадить этой власти. К сожалению, многие идут в наркотики, гибнут по пустякам, а кто поумнее - уезжают из нашей страны. Надеюсь, не навсегда. Но когда я спрашивал вас, Михаил Петрович, почему вы не с жертвами социализма, не в рядах оппонентов марксизму, я имел в виду совсем не либералов, к которым, кстати, и примкнули все руководящие марксисты. Достаточно широк стан белого патриотизма, людей, любящих и Россию и наши духовные ценности и считающих, что именно марксисты, большевики, комиссары виновны в катастрофе России, спихнув ее в пропасть в октябре 1917 года. Они же, вернее, вся их верхушка, вновь кинули Россию в бездну в конце восьмидесятых годов.,. Считается, что и ваши статьи семидесятых-восьмидесятых годов подтверждают эту истину, особенно статья "Освобождение", где есть высказывания и о Ленине, и о массовых расстрелах, рекомендуемых им, и о страшном организованном голоде в начале тридцатых годов в Поволжье. Что же, вы в чем-то изменили свои взгляды, или не правы те, кто видит в тех статьях осуждение социализма?

М.Л. Я никогда не считал себя жертвой социализма. Социализм, между прочим, это не чиновники и даже не члены Политбюро, не генсеки КПСС, а то, что сдерживало их самих, вынуждало их даже подниматься над собой, хотя бы внешне. Хотелось бы им урвать от края и до края, да нельзя. Потому-то и ненавидели социализм горбачевы-ельцины и другие

властные вельможи, что он не давал хода их аппетитам, алчности. При их-то власти необъятной - ни роскошных тебе владений, ни потрясающей "священной частной собственности", ни миллионов наворованных. И это было хорошо, это было благо для народа, потому что был строй, который держал в узде низменные инстинкты Горбачевых - ельциных, не давал развернуться потенциальным хищникам, будущим березовским - гусинским - Ходорковским и прочим. Строй позволил мне окончить Московский университет, дал высшее образование моим четверым братьям, что немыслимо при нынешних "демократах". Строй позволил мне занять какое-то свое место в литературе. И я не чувствовал себя жертвой! И если были нападки на меня за мои статьи, то не социализм же нападал, а та самая публика, которая, как показало время, подтачивала изнутри этот социализм, а ныне в качестве "демократов" терзает Россию. Всех, кого ты, Володя, перечислил в роли "жертв социализма", я все-таки немного знаю и не очень натурально чувствую себя около них. В свое время Вадим Кожинов выпустил книгу, в которой есть страница с фотографиями в таком порядке: Солженицын, Шафаревич, Осипов, Бородин, Лобанов. При встрече вручает мне Вадим Валерианович книгу с милой своей усмешкой: "Не обессудьте,- говорит,- если не понравится соседство с Солженицыным. Тогда, в шестидесятых годах, вы одинаково думали". В ответ я спросил: а где доказательства этого? Кожинов улыбнулся, видимо, полагая, что это достаточный аргумент в пользу им сказанного. В твоем вопросе есть нечто схожее. Я не могу сказать, что одинаково думаю с теми, кого ты, Володя, назвал. Очень ценю Игоря Ростиславовича Шафаревича как автора знаменитой "Русофобии", о чем я в свое время писал в "Литературной газете". Но вот он в своей статье в журнале "Москва" мою статью "Освобождение" "подверстал" к солженицынскому "ГУЛАГу". Это я не могу принять, как не могу принять и его резко отрицательного отношения к советскому периоду в истории Российского государства. Он, как и Леонид Бородин с Владимиром Солоухиным, увидел в этом периоде нечто чужеродное нашей истории, обрыв ее, некую пустоту. Я же считаю, что советский период - это, несмотря ни на что, вершина государственности в тысячелетней истории России. Вершина по величию нашей державы, по влиянию на мир, по реальной силе противостояния мировому финансово-капиталистическому разбою. Теперь-то даже слепому видно, какие силы зла вырвались наружу с разрушением нашего великого государства. Во внешнем мире - невиданная, никем не сдерживаемая агрессивность США. Внутри России - разгул воровства, разжигание всего низменного в человеке, ненависть к социальной справедливости, ко всему тому, что завещано нам христианской этикой.

В.Б. Вы сами, Михаил Петрович,- человек XX века, корневой советский человек: и пострадал немало, и повоевал с немцем крепко, и в советской литературе занял заметное место своими книгами. Да и кто другой может похвастать, что по его статье принималось специальное постановление ЦК КПСС? Но сами вы откуда родом? Кто ваши родители? Как пришли в литературу? Почему потянуло вас к русской партии?

М.Л. Отец мой, Петр Александрович Лобанов, умер в 1930 году, когда ему было всего тридцать лет с немногим. Пятилетним я лишился отца и всю жизнь жалел, что от него не осталось фотографии. Как, впрочем, и от моего деда и прадеда по отцу. Прадед был землевладельцем. Дед, который был женат на одной из пяти его дочерей, владел ватным заведением на реке Пра. Мама умерла восьмидесяти четырех лет 12 января 1988 года. Была она родом из крестьянской многодетной семьи Конкиных. В своей "...Автобиографии" я подробно рассказываю об этой семье, которая стала как бы воплощением того, какие широкие дороги открылись для крестьянских детей в тридцатые годы. Мама, как и мой отец в свое время, работала на местной фабрике. Родился я на Рязанщине, в мещерских местах, в деревне Иншаково, под Спас-Клепиками, где, как известно, учился Сергей Есенин. Здесь я и рос, учился в Екшурской средней школе. В 1938 году, как ученик одной из лучших школ РСФСР, был награжден путевкой в пионерлагерь "Артек". Это было, как я вижу теперь, нечто знаковое для меня. 1938 год с процессом над троцкистами-бухаринцами, арестами их последователей и путевка в знаменитый "Артек" для деревенского подростка из бедной

семьи. Через год начали выходить мои рассказики в районной газете "Колхозная постройка"... Но я хочу рассказать прежде всего о своей матери Екатерине Анисимовне, о ее влиянии на меня. Она была воистину праведницей. На ее руках было одиннадцать детей, нас с братом Дмитрием двое Лобановых, четверо Агаповых от второго мужа, да еще пятеро его детей от умершей жены. Мама была ее подругой и обещала ей, смертельно больной, что не оставит ее детей. И не оставила. И они, уже взрослыми, всегда называли ее мамой. Не помню, чтобы она когда-нибудь сидела без дела. И только со временем я по-настоящему понял, что держало ее в жизни, непосильной для других. Всему она радовалась. Какая-то я чудная, говорила она мне, всему радуюсь. Рада, что картошку покопала, все в доме к празднику прибрала, письмо от кого хорошее получила, за день как устала, до постельки добралась, в добром здоровье встала - всему рада!.. Потом только мне открылось, что это и есть та благодать, которая даруется редким душам. Часто она мне снится. Рассказал об этом о.Алексию Дорошевичу в храме Св. Троицы в Поленове. "Зовет быть ближе к Богу",- ответил он.

В.Б. Когда я вас попросил принять участие в обсуждении нашумевшей книги Александра Солженицына "Двести лет вместе", вы отказались. Я чувствую, потому, что ругать ее вам было не за что, а хвалить своего давнего оппонента вы не хотели. Но тем не менее, в своем "Опыте духовной автобиографии" вы много пишете о еврейском вопросе. Чем он вам интересен и важен? Что в еврейском вопросе для вас актуально?

М.Л. Из своего личного опыта я могу сказать, что для меня явления духовные гораздо более реальная вещь, чем эмпирика, видимая всем. В начале 1968 года в журнале "Юность" в статье "Заклинания духов" мне досталось за "духовность" в моих "молодогвардейских" статьях, за само слово "дух", которое высмеивалось как фикция. Но если это фикция, то почему же преследование меня либералами и началось за это слово, почему оно не давало им покоя? Да потому, что это действительно реальность. Так же и в еврейском вопросе. Незабываемо для меня, как я был потрясен блицкригом Израиля в войне с Египтом летом 1967 года. Это была какая-то мне самому непонятная интуитивная, может быть, даже мистическая реакция на событие. Я ужаснулся: ведь такое же, как с Египтом, может случиться и с нами. Израиль так же стремительно может захватить и Москву. Тогда это могло показаться несуразным, при тогдашней-то нашей военной мощи. Но то состояние, то наитие так и осталось во мне, его уже не вырвешь, это моя реальность, более несомненная для меня, чем любая другая бытовая реальность. И вот произошло то, что меня так ужаснуло. Сионисты-экстремисты ныне - и в Кремле, и везде. Еврейский вопрос ныне поставлен во главу угла нашего существования. Понимание его - это уже, я бы сказал, показатель степени развитости каждого из нас, развитости духовной, культурной, национальной. А ведь все абсолютно ясно. Евреи сами открыто говорят, что впервые за тысячелетнюю историю России они пришли у нас к реальной власти. Александр Солженицын призывает в своей книге к диалогу между евреями и русскими, тем самым, на мой взгляд, парализуя нашу русскую волю к сопротивлению. Потому что какой может быть диалог победителей с побежденными?

В.Б. Все утверждения об исключительности евреев мало чего стоили бы, если бы наш русский народ твердо хранил свое достоинство и честь и в делах своих опирался бы на защиту русских национальных интересов. Могут и якуты объявить себя сверхнародом, избранной нацией, и татары,- кто угодно, но все их утверждения будут слышны лишь в своем кругу, для собственного самолюбования, пока окружающие их народы, в том числе и русский народ, обладают достоинством и честью, умом и мужеством, силой интеллекта и силой оружия, хранимого в достаточном количестве. А вот когда мы сами позволяем возникать в России этому пресловутому еврейскому вопросу, тогда и происходит своеобразная ароматизация всего общества. Интересно, что сегодня цивилизованная Европа гораздо более откровенно поддерживает тех же палестинцев в их борьбе, чем Россия, обвиняемая в антисемитизме.

М.Л. У русского религиозного философа Льва Карсавина есть любопытное рассуждение. Мы считаем антисемитизм, говорит он, одним из самых отрицательных

явлений. Но, если взять его как симптоматический факт, тогда окажется, что ослабление его в современной Европе признак не совершенствования, а упадка в европейской культуре. Его наличие в России, наоборот, свидетельствует о здоровье русской культуры. Там же, где есть здоровье, заключает философ, есть возможность действительно преодолеть антисемитизм, а не просто о нем забыть. Мысль глубокая, здоровая и полезная для самих евреев, хотя, по-моему, крайне сомнительно утверждение о наличии этого антисемитизма в России, да еще в большем количестве, чем в Европе. Никогда этого не было, как нет и сейчас. Недаром Борис Березовский считает, исходя из "научных данных", что антисемитов в России гораздо меньше, чем в Европе, ему виднее. Потому они уверенно затягивают петлю на шее русского народа, что не боятся никакого отпора. И всякую волю к сопротивлению называют антисемитизмом...

В.Б. Вернемся к современной литературе, хотя и в ней, очевидно, не обойтись без пресловутого еврейского вопроса. И опять же пишут о нем сплошь сами еврейские авторы. Обратите внимание, в русской прозе, что в левой, что в правой, почти не касаются национального вопроса, там все о душе, о жизни, о вечных вопросах, а как только начинаешь читать самых модных еврейских авторов, то в центре почему-то всегда еврейский вопрос... Что у Мелихова, что у Наймана, что у старика Бакланова. Нас прямо-таки втравливают в него, а как только заденешь эту тему, даже так деликатно, как Солженицын, сразу будто вляпался в лепешку коровьего помета... Стоит ли вообще задевать его? Может, лучше поговорим о насущном в литературе. Что в ней-то происходит? Чем она вас поражает в последнее время?

М.Л. Поражает игра в литературу. Мы пишем с самодовольством о чем угодно, будто ничего в стране не произошло. Вот с болью воспринял трагедию нашего государства даже иностранец, итальянский публицист Кьеза. Он назвал свою книгу "Прощай, Россия". Где-то в богословском сочинении я прочитал о печали слова, которое впитывает в себя сознание нашего человеческого несовершенства. После великой трагедии, постигшей Россию, как можно играть в литературу? Нас всегда тешило изречение, что слово (любое!) есть уже и дело. Но вспоминаются слова героя шиллеровской пьесы, которые он бросает в лицо художнику. Ты свергаешь, говорит он, тиранов, на полотне одним мазком кисти освобождаешь государство, а сам остаешься жалким рабом. Твоя работа - скоморошество. Одна видимость борьбы. Так уступи же место деянию! Вот этот призыв как бы и обращен ныне к нам, играющим в слова,- уступи место деянию! Деянию в жизни, деянию в литературе, когда слово поистине действенно. А мы видим кругом дезертирство из действительности в стилизованную историческую беллетристику, дешевые фантазии. Куда угодно, лишь бы подальше от жизни, от реального обжигающего материала. Литературе пора вернуть чувство государственности. А ведь в народе оно до сих пор не исчезло - ответственность за судьбу страны. Это даже удивительно при нынешнем криминальном режиме. Мой брат, Дмитрий Петрович Лобанов, полковник, всю жизнь отдавший ракетным войскам, как-то сказал мне: "Не могу понять, как человек на самой вершине власти может не думать, каким он останется в истории России? Были у нас Иван Грозный, Петр Первый, Сталин... Неужели можно на вершине власти не думать об этом?" Увы, вряд ли там кто-нибудь об этом думает...

В.Б. Вы много лет занимаетесь со студентами Литературного института, среди ваших питомцев и популярный нынче Виктор Пелевин. Что вы можете сказать о нынешней молодой литературе?

М.Л. Я мало знаком с писаниями молодых авторов и не могу подробно говорить на эту тему. Но какие-то замечания могу сделать по опыту работы со студентами моего творческого семинара в Литературном институте. Кстати, я работаю в нем вот уже сорок лет, и на моих глазах волна за волной прошло несколько поколений литературной молодежи. Каждое из них несло в себе приметы своего времени, общего состояния современной им литературы, всякого рода исканий. У нас в семинаре никогда не было и нет стеснения никакой творческой индивидуальности. Пишите о чем угодно и как угодно, но желательно, чтобы это

было творчество, а не паразитизм на литературе, не помойка. И отрадно, что при этом никогда не обрывалась связь с традициями русской литературы, с ее социальностью, чуткостью к нравственным вопросам. Не обрывается эта связь и ныне, когда "демократическая" пресса объявила о "конце русской классической литературы", когда "книжный рынок" наводнен литературными отбросами. Впрочем, здесь есть своя закономерность. Это то, что только и может создать в культуре здешняя "демократия". Сама идеология ее - духовное растление народа всеми средствами, в том числе и литературными. Характерна недавняя история с одним порнографическим опусом. Какой гвалт поднялся вокруг него! Вот выступает по телеящику депутат Госдумы Лукин из фракции "Яблоко". Его возмутило, что группа людей устроила демонстрацию против названного опуса. Как так?- по-петушиному задрав голову, негодует депутат. Эти невежды готовы сжечь книгу, которая не отвечает их здоровому духу. Но в Германии фашисты тоже ссылались на здоровый дух, когда сжигали книги. Вот так ринулся в бой за "либеральные ценности" бывший посол "демократической России" в Америке. Вполне в манере своего друга по "Яблоку" Явлинского, который во время августовского переворота 1991 года прибежал с пистолетом арестовывать преданного советскому государству человека - Пуго. Вы посмотрите: какой ход обвинения. Если вы против растления, не принимаете его, как человек нормальный, духовно здоровый - значит, вы - фашист, потому что фашисты тоже, видите ли, были за здоровый дух, преследовали всякие извращения. Вывод ясен? Вы - экстремист...

В.Б. Верите ли вы, Михаил Петрович, в становление новой России?

М.Л. Верю в ту Россию, которая с омерзением будет, как дурной сон, вспоминать нынешнее "демократическое" наваждение, которая будет свободна от тех, о ком Христос сказал: "Ваш отец диавол"...

Газета "Завтра", сентябрь 2002 г., № 37

Память войны

22 июня 1941 года. Тополиный пух летал над деревенской улицей, лез в окна дома, в глаза. Было жарко, я собирался идти купаться на реку, близкую от нас Пру, как вдруг по радио объявили, что скоро будет передаваться важное сообщение. И вот ровно в полдень Молотов, нарком иностранных дел, объявил, что немецко-фашистские войска напали на нашу страну. Мы стояли с моим дядей по матери Алексеем Анисимовичем, как я его называл - дядей Леней, у двери из одной половины избы в другую и слушали. И когда выступление закончилось, мой дядя, высокий, бледный, с ходящими по скулам желваками, словно застыл на месте, не сразу придя в себя, а потом, выругавшись, ушел быстро в свою комнату. Ему было тридцать лет, у него только что родился второй сын, и он, конечно же, хорошо представлял себе, что ждет его. А мне, пятнадцатилетнему, стало даже как-то весело. По радио гремела бодрая музыка, лилась "Широка страна моя родная" и что-то ликующее заливало душу, обещающее скорую победу. Но пройдет всего несколько дней, все изменится вокруг, и уже невозвратным раем покажется прежняя жизнь, когда все было иным.

В 1941 году закончил я седьмой класс Екшурской средней школы на Рязанщине, а через полтора года, семнадцати с небольшим лет, был призван в армию, направлен в январе 1943 года в Благовещенское пулеметное училище (под Уфой). Но закончить нам его не дали. Уже в середине июля нас по команде подняли с нар и объявили об отправке на запад. Я попал на Курскую дугу, участвовал в боях стрелком первой гвардейской стрелковой роты пятьдесят восьмого гвардейского стрелкового полка восемнадцатой гвардейской стрелковой дивизии тридцать третьего гвардейского стрелкового корпуса одиннадцатой гвардейской армии. 9 августа 1943 года был ранен осколком мины в бою в районе населенного пункта Воейково, что в двадцати четырех километрах восточнее Карачева (Брянская область). За участие в боях награжден двумя боевыми орденами - Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Пережитое в боях я передал в своих воспоминаниях "На передовой" ("Наш современник", 2002, № 2).

В ноябре 1943 года я вернулся после ранения домой, с мамой мы пришли в избу бабушки, и, пока раздевался у порога, она появилась в дверях, сильно изменившаяся за десять месяцев. Она смотрела на меня долгим взглядом и вдруг затряслась в режущем душу плаче: "Не встречу... я больше своего сыночка... Мишу". Мое возвращение еще больше растравило ее горе: прошло всего полгода, как она получила похоронную на сына Мишу, двадцатичетырехлетнего капитана, начальника штаба артиллерийского дивизиона, погибшего от прямого попадания авиабомбы в землянку, где находился его штаб. Но ждал бабушку новый страшный удар: в самом конце апреля 1945 года, за несколько дней до окончания войны, сгорел в танке под Веной второй ее сын, двадцатилетний Костя.

От моей бабушки довелось мне услышать: "Сердце - камень, все забывает", - и за этими словами чувствовалось столько горького - что не умерла, когда получила похоронную, а жить осталась, а жить-то им бы надо...

Осенью 1985 года я был в Каунасе и все три дня, пока там находился, думал о Мише, который служил в этом городе после окончания Рязанского артиллерийского училища. Бродил по улицам этого города и представлял себе, как и Миша ходил по этим же улицам. Вспоминал, как он приезжал домой из Рязани, как шли с ним ночью по узкоколейке из Спас-Клепиков в деревню Малое Дарьино, где я жил тогда у бабушки, его матери. Вспоминал, как послал ему в Каунас письмо со своими стихами и отзывом из "Пионерской правды" - вежливым отказом, и в ответ получил от Миши письмо с трехрублевым "гонораром" в нем.

В Каунасе, идя по улице, увидел я огромную толпу людей в каком-то праздничном оживлении. Подхожу, спрашиваю первого попавшегося человека: "Скажите, пожалуйста, что здесь происходит?" Человек молчал, на меня уставились глаза, застывшие в такой ненависти, что я опешил. Другой человек пояснил мне, что сегодня католический праздник. Меня поразило, что незнакомец, так ненавидящий саму русскую речь, видимо, верующий, пришел молиться в этом соборе.

Вряд ли такое могло быть до войны, когда здесь служил мой дядя. В войну вылезли из затишья литовские националисты, действовавшие в наймитах у гитлеровцев, а после войны ушли в "зеленые братья". В 60-х годах студент моего литинститутского семинара литовец Ионас Руминас написал талантливую повесть о том, как герой-хуторянин приходит к "зеленым братьям", но, убедившись, что честному труженику не по пути с этими головорезами, возвращается к мирной жизни. Такова была психология трудовых литовцев, пока не наступила "перестройка-революция", и первым полигоном "архитектора перестройки" А. Яковлева стала Прибалтика, прежде всего Литва.

В середине 70-х годов я был в Венгрии и все думал о другом моем дяде, почти сверстнике, - Косте. Когда автобус миновал город Секешфехервар, где проходили танковые сражения, я представил, как он глядел на эту равнину из своего танка. И когда автобус остановился в городке Кесег - на границе с Австрией, я жадно всматривался в лесок, в пригорок за ним, за которыми таилась дорога к Вене, где за несколько дней до конца войны погиб Костя.

В последнее время не раз видел Костю во сне. Как будто приехал он откуда-то, живет в доме матери (моей бабушки), а я все не соберусь прийти к нему. Знаю, что он должен скоро уехать. Прихожу, его уже нет. Уехал.

...Потери народа в Великой Отечественной войне имели для нас тяжелейшие последствия. Когда я был на поле Полтавской битвы, меня ошеломила высеченная на памятнике цифра погибших русских воинов: 1345. Всего! И это в сражении, от которого зависела судьба государства. Как-то я вычитал в прессе, что история всей человеческой цивилизации составляет несколько сотен поколений и за это время в войнах погибло сто миллионов человек. А теперь вдумаемся: из этих ста миллионов - более двадцати миллионов наших, убитых в минувшей войне. Пятая часть всех погибших в бесчисленных войнах за многие тысячелетия на земле. Цифра эта должна бы перевернуть наше сознание, заставить новыми глазами посмотреть на себя, на свое положение в мире, истории... И если даже после

этих потерь мы, русские, не сошли с исторической сцены, а, единственный в мире народ, находим в себе духовные силы для борьбы, сопротивления сатанинскому глобализму - то это, видимо, и потому, что за нас предстательствует, за нас молится неисчислимый сонм наших братьев-воинов, отдавших жизнь свою "за други своя".

ГУДЕРИАНЕЦ

В журнале "Знамя" (№ 3, 2004) опубликована переписка Г. Владимова с Л. Аннинским. Коснулась она и моей статьи "Либеральная ненависть" (опубликованной в газете "Завтра" еще в апреле 1996 года), где эмигрант Владимов назван "гудерианцем". Посылая своему зарубежному другу газету с моей статьей, Аннинский сделал приписку: "То, что "гудерианец", - уже, так сказать, аксиома. Утешение одно: это все-таки паблисити. Но по-русски, с говнецом, как сказал бы Лесков". Лесков вряд ли бы так сказал, слишком уж специфичны нюхательные пристрастия к подобного рода словцам (а может, не только к словцам). Получив письмо друга, Владимов изготовил пространный ответ с нападками на критика своего романа. "Для меня, разумеется, особый интерес представило определение моей (или твоей?) позиции "Либеральная ненависть"... Нет для него (автора статьи) эпитета позорнее (и ненавистнее), чем "либеральный". Сколько мне Ланщиков мозги буравил: "Миша Лобанов! Ах, Миша Лобанов". Владимов, по его словам, думал, что Лобанов - "мозговой трест правого крыла", а в статье, оказывается, "ничего своего", повторяется сказанное о его герое-смершевце писателем Богомоловым. Замечу, что в статье моей дается ссылка на Богомолова потому, что он сам в войну был в "Смерше", и почему бы не привести его свидетельство о неправдоподобности владимовского персонажа - майора-смершевца Светлоокова, в сущности мелкой сошки, которая по диссидентской предвзятости автора своим появлением на Военном совете армии приводит в состояние страха, оцепенения его членов. Одной этой частности оказалось достаточно для того, чтобы Владимов сделал такой вывод: "Долгое время мы думали, что он (писатель Богомолов) единомышленник Тарковского. Оказалось - единомышленник Лобанова".

Десятилетиями мусолят литературные либералы такие ставшие уже затхлыми наживки, как тоталитаризм, КГБ, "сталинщина" (Троцкий), холокост и т. д. И нет им дела до объективности, до того, что не может все в жизни быть одного цвета, что тот же "Смерш" имел в войну вполне конкретный смысл: смерть шпионам. Ибо шпионы были, как были в тридцатых годах враги народа, что подтверждается и ныне - реваншем преемников тех врагов народа (всех этих Троцких-Зиновьевых-Каменевых-Бухариных и прочих), которые, захватив ныне власть в стране, мстят русскому народу - геноцидом.

Ничего в событиях Великой Отечественной войны не видя, кроме зверств смершевцев, особистов, владимовы сделали из них пугал, страшилищ. Но и они ведь не были одного цвета. Мой брат полковник Лобанов Дмитрий Петрович прослужил в армии, в ракетных войсках, более тридцати лет, рассказал мне несколько историй, связанных с особистами. Будучи лейтенантом, он однажды после проведенных занятий забыл сдать секретное наставление по АК-47 и ушел домой. Примерно через два часа к нему явился посыльный солдат и сказал, что его вызывают в особый отдел. Там находились начальник отдела и начальник секретной части полка. Не услышав в свой адрес ни упрека, ни замечания, молодой офицер сдал наставления, извинился за халатность и возвратился домой. Особисты поверили, что здесь нет умысла. И было это в самом начале 50-х годов, при Сталине.

А вот история более "крупного масштаба". У заместителя главного инженера ракетной армии пропала секретная тетрадь. Прокуратура и особый отдел настаивали перед командующим ракетной армии генерал-полковником Милехиным на предании забывчивого инженера суду. Генерал Милехин доложил о происшедшем командующему ракетными войсками стратегического назначения Н. И. Крылову, который приказал направить полковника к себе. После беседы, основательно изучив суть дела, Крылов принял решение не привлекать виновного к уголовной ответственности, а уволить его со службы по возрасту

с сохранением пенсии. Вот вам "всевластие" особистов.

Пишущие диссиденты могут порезвиться по поводу этих фактов, ведь для них не резон все то, что может быть в жизни. Не потому ли так голо, тенденциозно, прямолинейно их "разоблачительство", хотя бы тех же особистов, лишенных оттого каких-либо живых психологических черт, так плакатно?

Художественная немощь - одна особенность опуса Владимова. Другая - та, что обозначена мною словом "гудерианец". Вот о чем шла речь в моей статье. "Автор романа до крайности пристрастен в своих характеристиках героев, окарикатуривая одних, холуйствуя перед другими. Вот два полководца - русский маршал Жуков и немецкий генерал Гудериан. Маршал Жуков с "чудовищным подбородком", "с волчьей ухмылкой", "с улыбкой беззубого ребенка", "с панцирем орденов на груди и животе", со "зловещим" голосом и т. д. И как меняется тон разговора, переходя на умильное придыхание, когда речь заходит о Гудериане. Ну решительно идеал германца! Не завоеватель, вторгшийся в чужую страну со своей танковой армадой во исполнение преступного приказа фюрера, его плана по разгрому России, закабалению ее народа. Не жесткий пруссак, а некий благородный рыцарь воинского долга, вдохновленный идейной борьбой против "серой чумы большевизма", добрый Гейнц, заботливый отец своих измученных в русских снегах солдат, поднимающий своей (довольно театрализованной) речью их "тевтонский дух". Культуртрегер, призванный в собственном мнении открыть туземцам глаза на зло в их системе, общественной морали".

Впрочем, в идеализации немецкого завоевателя столько литературно-условного, фальшивого (о чем я писал в статье), что этот дифирамб дает тот же сомнительный эффект, что и бездарный пасквиль на русского маршала. В свое время Л. Аннинский вознес до гомерических высот такое серенькое изделие, как "Дети Арбата" А. Рыбакова. Недавно этот литературный труп попытались реанимировать в "телесериале". Видимо, сверху спустили программу по очернению тридцатых годов с их созидательным энтузиазмом, освобождением от "пятой колонны" в канун Великой Отечественной войны. Как и в случае с Рыбаковым, Аннинский не знает удержу в славословии Владимова, называет его "писателем, составляющим национальную гордость своей культуры". Но в какой мере это славословие отвечает качеству товара, видно по очередному сочинению Владимова "Долог путь до Типперэри" (журнал "Знамя", № 4, 2004). Во вступлении говорится, что над романом автор работал в последние годы жизни, "постоянно возвращался к написанному и многократно его дополнял, исправляя и переписывая в разных вариантах". И что же родила "гора" этих многолетних многократных дополнений, исправлений, переписываний в разных вариантах? Автор начинает свой роман с эффектной сцены "свержения железного Феликса" на Лубянке. Сидя "в своей срединно-европейской Тмутаракани, в заштатном Нидернхаузене", "воткнув глаза в телевизор, а ухом внимая "Свободе", я ждал десятичасовую "Tagesschau" (обозрение дня. - нем.), где свержение железного Феликса покажут подробнее...". И это свержение "первого чекиста" эмигрант Владимов именует дважды "крушением нашего тысячелетнего рейха". И если гитлеровский рейх продлился всего лишь 12 лет, то во сколько же сотен раз страшнее ему "рейх" другой - тысячелетнее русское государство! Неслучайно, видно, брошен был клич по телевидению министром культуры Швыдким: "Русский фашизм страшнее немецкого".

После столь нелицеприятного объяснения с бывшей родиной - "тысячелетним рейхом" автор знакомит читателя со своей биографией, рассказывает о своем детстве, юности и величайшем событии в своей жизни - как он с приятелями (мальчиком и девочкой) навестил Зощенко, бывшего в опале после известного постановления ЦК партии. За десять минут встречи с подростками писатель успел вполне проинформировать их о своей жизни. "О чем говорил Зощенко? Сражался с бандами Махно. Был травлен газами. Был в красной коннице".

В 1958 году, работая в газете "Литература и жизнь", я с поэтом Юрием Мельниковым, приехав в Ленинград, побывал на квартире Анны Ахматовой, у которой взял стихи для газеты (как она и уверяла нас, они так и не прошли). Поэтесса была нездорова, лежала в постели, в изголовье ее было большое Распятие, бросавшееся в глаза прежде всего прочего в

комнате. До этого я ее видел в 1946 году, когда был студентом МГУ и у нас в комаудитории выступали ленинградские поэты. Ахматова барствовала на сцене, принимая как должное внимание к себе всех других выступавших, комплименты председательствовавшего на вечере Николая Тихонова. Через год после этого имя ее окажется рядом с именем Зощенко в постановлении ЦК партии. Но ничего сокрушительного в ее быту не произойдет. Из Союза писателей ее не исключали, она продолжала печататься, к 70-летию Сталина вышли ее мастерски сделанные стихи о вожде.

В отличие от нее, осторожной по части фрондирования, Зощенко встречался с иностранными журналистами, демонстрировал свое несогласие с критикой. А ведь было и нечто резонное в ней, в этой критике. Несколько лет назад в журнале "Знамя" появились дневники Геббельса, где нацистский идеолог пишет, как они с фюрером смеялись, читая рассказы Зощенко. Видно, доставляло удовольствие Гитлеру думать, что в предстоящей войне его солдаты будут иметь дело с такими придурками, как эти зощенковские герои. И что из этого вышло?

Время, история страны многому учат, заставляют трезво смотреть на прошлые события, на знаменитых некогда литераторов, их продукцию, хотя бы на ту же мелкотравчатую зощенковскую сатиру. Но какое дело до этого засевшему в немецкой Тмутаракани эмигранту, ковырявшемуся в пронафталиненном диссидентском "ретро". Впрочем, Зощенко понадобился ему для восхваления самого себя. Своего "исторического подвига". Как закрутилась "тоталитарная идеологическая машина" в Суворовском училище, где числился герой, в самом КГБ - когда узнали, что он был у Зощенко! Все карательные силы были брошены на выяснение вопроса - когда это было: до постановления или после постановления ЦК! "Министр Абакумов кулаком стучал по столу: "Как такое могло случиться в нашей системе, кого вы там воспитываете? ... Тут одно из двух: либо они туда пошли до постановления и тогда их надо наказать примерно - за то, что читали его срамные книжки. Либо они были после - и надо их сажать, а училище - расформировывать". Следуют допросы "вольнодумца" кагэбэшниками с разными подходами - от лобового ("Ведь писателишко никакой. Подонок, пошляк, литературный хулиган, отребье") до изощренно-иезуитского ("А вы уверены, что были у Зощенко?")

История заканчивается триумфом "вольнодумца", одолевшего "тоталитаристов", такой картинкой: "Я вижу, как идут по каналу Грибоедова два мальчика в черной униформе с голубыми погонами и девочка в цветах польского флага, холодея от страха, но также и от сознания, что иначе они поступить не могут. Человеку (то есть Зощенко. - М. Л.) плюнули в лицо, и брызги этого плевка попали в них. Не отговаривайте их от этого пути, не говорите, что этот путь ошибочен и бесполезен... Так еще не все потеряно, господа мои. Еще не только не вечер, но даже не сумерки, и рано хоронить надежды. Еще жива наша скорбная планета, она еще вертится, окаянная!.."

Ну что тут можно сказать - об этом лепете, несообразном, казалось бы, ни с опытом почти восьмидесятилетней жизни автора, ни со здравым смыслом, а разве лишь свидетельствующем, до чего может довести человека "литература", помрачающая живое мироощущение, инерция механического писательства. Не за это ли дряхлое младенчество называет Аннинский Владимова в своей переписке "национальной гордостью своей культуры". (Какой "своей"?)

Показательна во многих отношениях эта переписка. Человек живет десятки лет в Германии и ни слова об этой стране, о культуре, быте, национальной психологии, о небезразличном вроде бы для обоих адресатов "еврейском вопросе" в этом когда-то "логове антисемитизма". Я был, можно сказать, мельком в Германии - дважды в Лейпциге (тогда еще в ГДР), раз - в Кёльне, как профессор Литературного института в рамках научного сотрудничества с немецкими учебными заведениями, и кое-что увидел и узнал из общения с немцами. Например, что до сих пор в старших поколениях живет ностальгия по гитлеровским временам. И не забывается война и то, кто был их враг.

Живущая в Лейпциге переводчица Люба, русская женщина, вышедшая замуж за немца,

с которым вместе училась в Ленинграде, рассказала мне, что ее знакомая фрау, потерявшая трех сыновей на русском фронте, рехнулась умом и в минуты просветления что-то бормочет о России. Признаться, я не очень сочувствовал фрау, зная, сколько миллионов русских матерей получали в войну похоронки. Когда я в 1996 году приехал в Кёльн, в институт славистики Кёльнского университета, меня поселили в так называемый пансион, попросту в одну из комнат большой квартиры. И я чувствовал, как хозяйка по имени Хильда, пожилая немка с водянистыми глазами, недоброжелательна, почти враждебна была ко мне. Перед моей поездкой в Кёльн Вадим Кожинов полушутя, полусерьезно сказал мне по телефону: "Вы скажите, что воевали на Курской дуге, но зла не помните". Мы, конечно, не можем забыть, каких неисчислимых жертв стоила нам гитлеровская агрессия, но, видимо, немцы более памятливы в отношении войны, и помогают им в этом диссиденты-русофобы, о чем речь пойдет ниже.

Когда я был в Лейпциге и говорил с ректором местного литинститута Шульцем, зная, что он воевал в России, был пулеметчиком - меня не покидала мысль: не он ли строчил из пулемета во ржи в первый день моего участия в боях на Курской дуге (в начале августа 1943 года), и сколько же выкосил он за войну наших людей. Встречаясь в институте славистики Кельнского университета с Вольфгангом Казаком, автором "Лексикона русской литературы XX века", и зная, что он подростком был в гитлерюгенде, воевал в конце войны с нами, попал в плен, - я чувствовал в разговоре ров между нами, и не только в вопросах литературы, где имена писателей для "Лексикона" выбраны в результате "живого контакта" с эмигрантами "третьей волны".

Но что значат отрывочные сведения, беглые встречи, разговоры в сравнении с тем обилием материала, которым располагает живущий десятилетиями в другой стране эмигрант, хотя бы в познании ее культуры, национального характера? Но и намека на это нет в переписке двух "интеллектуалов". Кажется, сидят они, как и десятки лет назад, в Московском Доме литераторов и услаждаются литературным трепом, начиненным такими именами, как Белла Куркова, Ростропович, Гинзбург, Гладилин, "Наташа Иванова", "мать-наставница Латынина", "Саша Архангельский" и т. п. Тут же - сотрудники "Свободы", через которых идут выступления Аннинского по этому радио, а полученный гонорар становится постоянной темой переписки (как быть - переслать его или оставить до приезда критика в Германию). "Дорогой Лева" и "Дорогой Жора" не скупятся на похвалы друг другу. Жора именует Леву единственным критиком, а Лева в ответ уверяет, что Жора со своими текстами будет жить, "пока останется на Руси читатель". Как говорил В. Розанов: "если бы евреи были немножко поумнее...".

От обоих достается русским, русскому народу. Аннинский: "Самое жуткое - это наши российские толпы... Похмельное дыхание у них так и эдак смердит"; "тут уж, наконец-то, наша логика проглядывает: наша российская, воровская"; "имперские амбиции". Владимов: "Народ "проспиртован", "конгресс русопятов". И т. д.

Аннинский любит повторять в письмах сказанные о нем "незабываемые слова" Владимова: "расставишь руки и - полетел". Эдакий чернильный Икар! Куда, однако, полетел? Об этом мы еще скажем, но такой ли уж романтический летун перед нами? Вот какую далеко не летучую инструкцию дает он своему дружку-эмигранту Жоре, как тому устроиться в Москве (в немецкой Тмутаракани тот никому уже не нужен, как и другие диссиденты-русофобы за рубежом, спрос на которых катастрофически пал с разрушением нашего великого государства): "Я передавал через Алю: по моим понятиям, надо, чтобы Г. Владимов написал письмо на имя мэра Москвы Юрия Лужкова, желательно с тем же мастерством, с каким во время оно им написано письмо на имя генсека Юрия Андропова. Чтобы было вокруг чего строить. А добавить "голос общественности", собрать подписи литераторов и напечатать у Оли Мартыненко - за этим дело не станет. Но нужно то, "вокруг чего". Письмо мэру...". Если не дадут квартиру в мэрии, то "можно арендовать дачу в Переделкино. Пожизненно". Если какие-то другие проблемы с паспортом и пропиской, то "придумать вполне можно. Главное оказаться здесь, а это совершенно реально". Тут Лева

ссылается на такой неотразимый, по его мнению, аргумент, как: Жорик - не так себе, а "национальная гордость своей культуры".

Да, без гешефта не обойтись, он-то, пожалуй, главный талант для наших приятелей, который они не дадут в себе зарыть. Только с пониманием этого и можно назвать справедливую цену этим литературным летунам.

Ведь кто такой Лев Аннинский? Ни одной статьи, которая стала бы этапной в критике. Об отсутствии всякого эстетического, художественного чутья свидетельствуют хотя бы его панегирики упомянутым выше бездарным опусам Рыбакова и Владимова. Чего бы ни коснулся он в русской классике - все у него сводится к гаденькой цели - "обличить русскую дурь". Десятки лет потешается иронист не только над "Левшой" с его "непрыгающей блохой", но и над героями-праведниками Лескова, по поводу которых сам писатель сказал: "Сила моего таланта в положительных типах", "искусство должно и даже обязано сберечь сколь возможно все черты народной красоты".

В последнее время наш Лева весьма активизировался по части "обустройства России". К его радости, нет больше "империи зла", навечно покончено с "имперскими амбициями" России. "Никакой зримой перспективы у России нет; из числа великих держав мы вылетели навсегда, пора нам с этим смириться, да заодно и поучиться у "народов малых". А проблема - реальная: как России, которая на протяжении полутысячелетия играла роль "великой" державы, влезть в роль рядовой, малой страны" ("Литературная газета", № 24, 2004). Поскольку сильная, великая Россия немыслима вне Церкви, Православия, то наш оракул старается напакостить им. Чего стоит его интервью под названием "Церковь или стая" ("НГ". Религии", № 23, 15 декабря 2004). Не считая себя православным, он так расфасовывает содержимое своего "я": "Я от этих самых "иноверцев" сам происхожу еврейской своей половиной. А если брать половину казачью с мечтами о том, что казаки не такие русские, как все остальные, а особый народ ("субэтнос", как сказал бы Лев Гумилев), так я и вовсе по всем корням "иноверец"... "Как быть в таком случае? - спрашивает "иноверец" и отвечает: - Быть именно человеком надконфессиональной надэтнической общности", что означает для него быть русским. "Быть русским по культуре... а не "православным". Православный ставится уже в кавычки, как нечто условное, уничижительное. Нашему иноверцу, надо полагать, известны слова Достоевского, что русский и православный - синонимы. Тем более культуролог, как он представлен в "НГ", должен знать, что именно Православие является основой, сердцевиной тысячелетней русской литературы, культуры. Не из таких ли иноверцев, плюющих на Православие, ненавидящих его, и вылупился в "Бесах" Достоевского талмудист Лямшин, запустивший в киот иконы мышь со "сверхзадачей". Да и не с Лямшиным ли аукается Аннинский в своем интервью: "Ну и черт... то есть Бог с ней".

Бросаясь в защиту "жидовствующих", Аннинский видит в них эдаких овечек, пострадавших за то, что они "не с теми якшаются". А ведь "ересь жидовствующих" в XV веке была смертельной опасностью для православной России. Занесенная евреем Схарием (Захарием) в Новгород, ересь перекинулась в Москву, в другие места русской земли. Жидовствующие не признавали в Христе Бога, отвергали Троицу, церковные таинства, кощунствовали над Богоматерью, подрывали догматические основы церковной жизни. Все это вело к разрушению Церкви, к гибели православной России, к ее закабалению иудейством - наподобие Хазарии. На непримиримую борьбу с жидовствующими поднялись новгородский архиепископ Геннадий и игумен Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий, обличавший их в своем "Просветителе". Они закончили многолетнюю борьбу победой: на соборе в 1504 году ересь была осуждена и разгромлена.

Если все это ничего не говорит нашему культурологу, то добавлю, может быть, нечто более "пикантное" для него. В шестом томе "Памятников литературы Древней Руси" (конец XV - первая половина XVI веков) отмечается, что "вопрос о содомии (гомосексуализме)... особенно остро встал во времена Филофея, когда ересь жидовствующих распространила этот порок и среди светских лиц (у еретиков, по предположению некоторых историков, он выполнял роль ритуального действа)". Как тут не вспомнить разгул этой публики в

администрации Ельцина, о чем так картинно пишет в своих мемуарах генерал А. Коржаков, бывший начальник службы безопасности Ельцина.

Как в черной мессе - все перевернуто, все навыворот у нашего иноверца. Начиная от креста: "Встанет вопрос: "Кто кого?" - схватимся и за крест... Вокруг креста, вокруг отсутствия креста". Кончая народом, которому шибко достается от Левушки. Сам он говорит о себе, что "не получил от родителей никакого бога, кроме двух Емель: Пугачева и Ярославского". Казалось бы, имя "бога" Аннинского - Емельяна Ярославского (Губельмана) все ставит на свои места: именно эти ярославские-губельманы всеми средствами, угрозами, репрессиями внедряли в России воинствующее безбожие, организовывали погромы церквей, расправы над священниками. Но чадо Губельмана, не касаясь этого, перекладывает всю вину на... народ, на его "ярость, лютость к инакомыслию, иноверию". По его словам, "не церковь гонит инакомыслящих, она только оформляет (окормляет) свойственную русским готовность обличать всякую инакость. Церковь сама испытала это на себе, когда ярость населения, подхваченная большевиками, пала на ее собственную голову". Какая казуистика: не губельманы развязали войну против верующего русского народа, они только подхватили "ярость населения", которая пала и на голову Церкви. Ах, как чешутся руки у аннинских "разделаться" с Православием, "заменить его инакостью". Но следовало бы помнить "иноверцам", что ведь и у дедов их ничего с этим не вышло. В революционное время, в самый разгар борьбы с религией в русском народе, в самом "красном лагере" не поддавалась вытравлению вера в святыни. Об этом свидетельствует множество воспоминаний современников. Красноречивый факт приводит сын известного философа Евгения Трубецкого - Сергей. В 1920 году тридцати лет он был арестован за "контрреволюционную деятельность в пользу белых армий" и несколько дней находился в арестном помещении при кремлевском карауле. Потом через Спасские ворота стража повела заключенных в новую для них тюрьму на Лубянке. "Когда проходили через ворота, по старой московской традиции почти все мы сняли шапки. Я заметил, что большая часть нашей стражи тоже их сняла. С. П. Мельгунов, как принципиальный атеист, с интеллигентской цельностью и прямолинейностью, не снял шапки, и один из конвоиров ему заметил: "Спасские ворота - шапку снимите!" ("Князья Трубецкие. Россия воспрянет". Воениздат, 1996, с. 327).

В 1928 году в Москве, в Московской Патриархии, побывал митрополит Литовский и Виленский Елевферий. В своих живых записках "Неделя в Патриархии" он пишет, как ехал из Москвы обратно в Литву в одном купе с "красными военными". "Мы, батюшка, курим, - обратился ко мне один из них, - и купе - для курящих. Не будем ли вас беспокоить этим? Впрочем, когда будем курить, мы будем выходить из купе". Такое обращение сразу устраняло у меня предубеждение против красных военных, сложившееся под влиянием слухов об отношении их к священнослужителям в революционное время: хотя нужно сказать, что мне приходилось ездить по железным дорогам в самый разгар революции, быть среди военных, правда, я не видел со стороны их проявления никакого внимания к себе, но и не только не помню каких-либо обидных для себя действий, но даже не слышал и оскорбительных слов. Теперь я почувствовал, что духовная отчужденность во мне сразу пала, я увидел в них уже не "красных военных", а русских, православных, у которых живет русская душа, религиозное чувство, а с ним вместе и надлежащее уважение к представителям церкви" ("Из истории христианской церкви на родине и за рубежом в XX столетии. М., 1995, с. 213).

В хрущевские времена, в пресловутую "оттепель", с троцкистской ожесточенностью шел погром церквей, духовенства (кстати, сам Хрущев в двадцатых годах был в троцкистской оппозиции). Кукурузник Никита обещал вскоре "показать последнего попа", а народ переполнял оставшиеся в живых храмы. Идеологическая шайка на цековской даче под коньячок и ухмылку расписывала для своего первого секретаря "программу", как уже нынешнее поколение будет жить при коммунизме, а народу, жившему своими заботами, до этих циничных прожектов не было никакого дела. О настоящем времени и говорить нечего - после всех испытаний народ только еще более утверждается в тысячелетней вере, видя в ней

главную опору в своем противодействии, в своей борьбе против обложившего Россию талмудистского ига.

Не случайно это стояние в вере вызывает ненависть врагов. Очень уж не по нутру им неповрежденное Православие, верность ему русского народа. Например, Солженицыну не нравится "окаменелое ортодоксальное, "без поиска", православие, как не нравится оно и "архитектору перестройки" А. Яковлеву, недовольному тем, что Церковь не может отойти от "устаревших догматов". Как будто может быть какое-то не "ортодоксальное", не "догматическое" Православие. Расшатывающий догматы "поиск" и означает конец Православия.

Но вернемся к нашей паре: Аннинскому-Владимову. Главное, что их объединяет в литературе, перед чем не имеет никакого значения, в каком "жанре" они пишут, - это тип их мышления. Статья ли это, роман, письмо, "эссе" - все одинаково с неизменным мелкотравчатым "анализом" с гнильцой, мелкостью духа, несколько комической надменностью элементарных суждений. И все-таки - внутренняя неуверенность в своей "победительности". Моя статья "Либеральная ненависть" с критикой романа Владимова "Генерал и его армия" и панегириком на него Аннинского была опубликована в газете "Завтра" (апрель 1996 г., № 17) на одной странице со статьей Аннинского "Русский человек на RENDEZ-VOUS". Почему же тогда оба не обличили меня публично, если считали себя правыми, а облаяли из-под литературной подворотни - в своей переписке, и только спустя семь лет она была опубликована в журнале "Знамя". Можно, впрочем, это понять из такого признания Владимова: "Другое худо, что поле битвы вокруг "Генерала" осталось за ними. Как всегда. Последнее слово - почему-то они говорят... Или в самом деле нет у нас критики? Вместо нее - Курицын-сын, "Малолетка" и мать-наставница Латынина? Есть, правда, Лев Аннинский - только что же он может один?" Все правильно: в их критике одни "малолетки", "курицыны-сыны", "матери-наставницы Латынины", да и такие же аннинские. Двадцать с лишним лет тому назад в журнале "Молодая гвардия" в моем цикле "Из памятного" был опубликован набросок к портрету этого критика "С тележкой по литературе". Сделаю из него краткую выписку: "Как ни увижу его, все бежит с тележкой, с набитой сумкой-рюкзаком на колесиках. Да ведь и в литературе он, критик, также все бегает с тележкой, вот уже не одно десятилетие все бегает, промышляет добыванием "ядра ореха", "самовыражением". Разного рода эти "самовыражения", как содержимое рюкзака, сегодня одно, завтра другое... Вчера он бежал, подталкиваемый "интеллектуальным ветром, дувшим в нашей прозе", а сегодня - "не пора ли попробовать жить?". "Личность", "личностное начало" - единственная для него "реалия", он начинает заходиться в словесном коклюше на эту тему. Не какая-то там толпа, масса, народ, а "ценностный индивидуум", единственно способный к "самовыражению". Нравится ему "Кафкианская магия деталей" - выразил и это. Не нравится русский фольклор - и это выразил. В восторге от мифа - пожалуйста: "С неба падает на нас на всех... колумбиец по имени Габриэль Гарсиа Маркес". Надоел миф, "аллегоризм" - "жажду беллетризма". Надоел "дух" - "жажду плоти!". Но и плоть "неоднозначна": ненавистна ему "тупая, звериная, сытая сила кулацкой плоти". "Однозначно" - "неоднозначно"... То этот критик называет себя духовным наследником русской культуры, Достоевского, то подчеркивает, что "в жилах Достоевского текла литовская кровь"...

Вокруг него не унимается "полемика", он чуть ли не "властелин дум". Вроде бы наш герой на коне, а все видна та самая тележка с набитой сумкой-рюкзаком... Никуда от себя не денешься".

Этот набросок я перепечатал в своей книге "В сражении и любви" (М., 2003 г.), заключив его таким Post scriptum'ом "На вечере в Доме литераторов в декабре 2000 года "Лидеры XX века" (об итогах ушедшего столетия) ко мне в президиуме подсел Лев Аннинский, и первое, что он сказал: "А я сейчас без тележки".

Два десятка лет еврейского "триумфа" сказались на его позе, придав ей более воинствующий вид. Он уже не бегает с тележкой по литературе, а выставляет себя неким прытким воителем. "Удары шпагой" - так озаглавил он свою переписку с Владимовым. Он

занял позицию фехтовальщика, пыряя пером во все стороны, где видятся ему наиболее уязвимые места России, забрызгивая их грязью, злорадствуя над ее нынешними бедами. Подергиваясь в заклинании, что ее больше нет, нет, нет! Удары шпаги нашего иноверца, конечно, квелые, отдающие пустозвонством, но пусть потешится малый.

Теперь о его друге Владимове, с его романом "Генерал и его армия". Не стоило бы говорить об этом фарсовом опусе, если бы не вопрос, кому он нужен и для чего нужен. В литературе о войне есть хорошие, талантливые книги русских писателей В. Курочкина "На войне как на войне", Ю. Бондарева "Горячий снег", К. Воробьева "Убиты под Москвой", Е. Носова "Шлемоносцы" и т. д. Но ни один из них, как и другие русские авторы, даже не упомянут в книге "Русская литература XX века", допущенной в 2002 году Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. Зато нагло рекламируется там все тот же картонный "Генерал и его армия", да еще приставлен к нему роман В. Астафьева "Прокляты и убиты", с его клеветой на русского солдата - как бы в награду за это. И не удивительно признание заслуг гудерианца на либерально-государственном уровне. Ведь вручил Путин Государственную премию живущему в Германии бешеному русофобу, автору "Чонкина" Войновичу - да еще в день начала Великой Отечественной войны. Кормясь и подкармливаясь у немцев, эта чернильная публика злобствует на русского солдата-освободителя, на Россию в знак своего "нового, немецкого патриотизма". Перебравшийся в Кельн диссидент Лев Копелев устрашающе потчевал немцев рассказами об ужасах бесчинств, насилий, убийств и т.д., которые он, по его словам, видел, когда советские войска входили в Германию. Солженицын, не расстававшийся всю войну в "батарее звуковой разведки" с портретом своего кумира Троцкого, толкача "перманентной революции", в своей пьесе "Пир победителей" с патологической злобой пишет о русских воинах-победителях, о "Матросовых придуманных, глупеньких Зоях", возносит предателей Родины. В статье "Как нам обустроить Россию" он казуистически вещает, почему ему поперек горла наша Победа. Не раз наблюдавший за поведением наших либеральных сочинителей в Германии русский писатель, ректор Литературного института Сергей Есин в своем "Дневнике ректора" "На рубеже веков" пишет, например, об Анатолии Приставкине (кстати, советчике Путина), как он, приезжая в Германию, заискивает перед немцами, глумясь над "старшим братом", т. е. русским народом, заявляет на официальном собрании, что он "как писатель скорее нужен Германии, чем России".

Как было бы хорошо, если бы эти литературные кочевники, считающие, что они нужны не России, а Германии, Америке, Израилю, навсегда оставались бы там. Но ведь кончается тем, что, никому там не нужные, они возвращаются в Россию, не упуская здесь возможности, в меру своих одряхлевших сил, лишний раз лягнуть "эту страну".

"УМЕТЬ СТОЯТЬ ЗА РОССИЮ НЕ ТОЛЬКО ГОЛОВАМИ, НО И ГОЛОВОЮ"

Тогда, в годы Великой Отечественной войны, при всей жестокости ее все было ясно и видно. Виден был враг и ясна была задача: разбить его, не допустить овладеть Мамаевым курганом - главной стратегической высотой в Сталинградской битве. Ныне сам Путин вынужден признать, что против России идет война, хотя и не называет, кто же конкретно ведет с нами войну, кто они - наши враги. Но мы-то знаем, что это враг особый, невидимый для массы людей, вроде бы не пускающий в ход боевые средства войны, но оттого только более коварный. Он незримо занял все наши стратегические высоты, захватил нашу экономику, финансы, богатства недр, телевидение, прессу, культуру, страшнее Гитлера осуществляет геноцид русского народа, сеет растление в молодом поколении. И этого врага, занятые им стратегические высоты уже не возьмешь в открытом бою, физической силой, даже тем героизмом, который делал такие чудеса в Великой Отечественной войне. Здесь невольно вспоминаются слова известного славянофила, великого патриота России Ивана Аксакова. В своей статье "В чем недостаточность русского патриотизма" он пишет, что

"время и обстоятельства требуют от нас патриотизма иного качества, нежели в прежние годины бедствий", что "надо уметь стоять за Россию не только головами (как на войне. - М. Л.), но и головою", то есть пониманием происходящего, "не одним оружием вещественным, но и оружием духовным; не против одних видимых врагов, в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосязаемых недругов".

Ставший жертвой криминального режима нынешней Эрэфии русский патриот Павел Хлебников, редактор русской версии американского журнала "Форбс" (где публиковал потрясающие материалы о мафиозном разграблении России, за что и поплатился жизнью) - этот искренний русский патриот в своих предсмертных записках говорит о "драгоценной русской крови". И какое море этой крови пролито в XX веке и проливается до сих пор! Если и есть тайна этой невиданной жертвенности, то путь к пониманию ее может быть только религиозным. В нашей духовной жизни бывают мгновения, когда сознания, чувства касается то бытийное, что навсегда остается для нас фактом некоего откровения. Ничем иным не могу назвать тот момент, когда меня пронзила мысль о русском народе, поистине уникальном в истории по своим духовным, душевным качествам. Наивно? Но ведь ненависть к нам наших врагов должна бы заставить нас задуматься. Чем же мы так отличаемся от них и что в нас их "не устраивает". Один из либеральных главарей, припадочный русофоб, бывший "первый вице-премьер РФ" Чубайс прямо так и корчится в злобе, когда говорит о Достоевском: "Я испытываю почти физическую ненависть к этом человеку... Его представления о русских, как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывает у меня желание разорвать его на части" (цит. по: "Советская Россия", 5 февраля 2005).

Вся соль в том, что бешеную ненависть вызывает здесь, скажем, не "еврейский вопрос" писателя, а его отношение к русским как "избранному народу", его, мол, "ложный выбор" (который, как известно, связан с Христом, Православием - этой сердцевиной духовной, исторической жизни русского народа, залогом его силы). В этой избранности русских и видится Чубайсам главная опасность для них, "реформаторов". И надо сказать, что в этом они не ошибаются, ибо все эти двадцать лет осуществляемого ими геноцида русского народа показали, что невозможно вытравить в нем даже в таких условиях инстинкт своей избранности, или, как это именуется иными, "имперское сознание". И вся историческая жизнь русского народа после смерти Достоевского подтверждает прозорливость его слов о русской нации как "необыкновенном явлении в истории человечества", вносящем дух примирения, братства во взаимоотношения с другими народами, что было и в советский период русской истории. Бывают косвенные доказательства тех или иных духовных явлений, например реальность существования беса в человеке, судя по необъяснимому накалу его ненависти. Таково русофобское беснование автора статьи "Деление ВВП" Ю. Афанасьева ("Новая газета", № 8, 3-6 февр. 2005). Источник ненависти у обоих один, Чубайса трясет от "избранности русского народа", у Афанасьева - пена на губах, когда он говорит о нас, русских, о "тех, кого принято называть быдлом", "темнотой". "Я как историк хорошо знаю, из чего сегодня состоит сознание большинства русских людей, включая элиту. Это опилки... даже хуже - настоящие "тараканы в голове...".

Если бы такое сказал русский о евреях, то все тысяча двести еврейских "правозащитных организаций" в нашей стране (и где нет ни одной таковой русской) подняли бы всемирный гвалт и Россия была бы объявлена антисемитской, подлежащей расправе. И говорит это "Президент РГГУ (Российского государственного гуманитарного университета), доктор исторических наук, профессор Юрий Афанасьев". Можно представить себе, какие кадры готовит этот "президент", какую расистскую отраву вносит он в образование, сознание учащейся молодежи. В свое время этот "историк", работая в журнале "Коммунист", обвинял меня как автора осужденной решением ЦК КПСС статьи "Освобождение" за "отход от принципов марксизма-ленинизма, социализма", а с наступлением "перестройки" принялся поливать грязью тот же марксизм-ленинизм, социализм, теперь же у него свой "гуманитарный" гешефт. И сколько у этого выкормыша Сороса, ЮКОСа презрения,

"брезгливости" к ограбленным, ставшим нищими русским людям. С какой наглостью хохмит он о "стариках", выступающих против отмены льгот, об их "протесте под лозунгом: "Оставьте нас там, где мы торчали, - в дерьме. Дайте нам доторчать до конца наших дней".

И если говорить о быдле, то этим быдлом (нравственным, интеллектуальным, каким угодно) и являются именно афанасьевы, в сравнении с ними любой русский старик - целый мир, целый духовный космос, потому что здесь есть какая-никакая природная субстанция, а там только крысиные ходы голой мысли, агрегат злобы. Вот почему бесперспективны планы этой человеконенавистнической касты, ведь для покорения надобно превосходство культурное, духовное.

Впрочем, цену русским знают и сами они, клевещущие на нас. Вспоминается, как по телеканалу НТВ (это было где-то в июне 2004 года) журналиста Марка Дейча (в "Дуэли" с Ципко), поливавшего грязью Россию, ее прошлое, особенно эпоху советскую, - вдруг спрашивает один из зрителей: "Так скажите, ничего хорошего нет в России?" И этот Дейч отвечает: "Есть. Духовность. Я много поездил по миру и ничего подобного нигде не видел". Если это так, то зачем же так пакостить "этой стране" с такой духовностью? Ведь то, что вырвалось у этого "дуэлянта", сказано давно другими. Так, Илья Эренбург в войну в статье "Строптивая Европа" (14 мая 1943 г.) писал: "Мы спасли прапрадедов современных европейцев от нашествия кочевых орд. Мы спасаем и спасем наших современников, детей разноплеменной Европы - от сапога немецкого фельдфебеля. Как бедна была бы Европа без русского сердца, без русской совести, без русского гения". Теперь в ходу больше слова таких, как "министр культуры" - шоумен Швыдкой, объявивших нам, русским, войну: "Русский фашизм страшнее немецкого". И на эту объявленную нам войну не должно ли отвечать своим нынешним врагам тем же, о чем говорит тот же Эренбург в той своей статье военных лет: "Знают это все русские, что только ненависть, сильная, как любовь, оправдывает войну. Для такой ненависти нужно созреть, ее нужно выстрадать. А война без ненависти - это нечто бесстыдное, как сожительство без страсти".

Изощряясь всеми способами, "демократы" хотят внедрить нас в "цивилизованный мир", уничтожив наш Богом данный национальный духовный склад, то, что называется менталитетом. Русский народ виноват еще и тем в глазах "цивилизаторов", что он не способен к усвоению "демократии" из-за своей отсталости, "недисциплинированности". Но, может быть, иногда в этом что-то есть и не совсем худое? Священник Димитрий Дудко приводит такой, пусть и полушутливый, разговор в одном из своих "фрагментов": "Рассказал священник, он как-то в компании говорит:

- Русские - самый недисциплинированный народ. Еврейка, близ сидящая, подтверждает:

- О да! Священник продолжает:

- Когда придет антихрист, все ему в силу своей дисциплинированности будут кланяться, а русские скажут: "А зачем нам ему кланяться?" И не поклонятся, в силу своей недисциплинированности" .

Шутка, конечно, но нет ли здесь некоей правды, в этой русской неподатливости к "общепринятым авторитетам", "мировым стандартам"? А что касается "дисциплинированности" хотя бы тех же немцев, я вспомнил один забавный эпизод. Осенью 1996 года от Литинститута выезжал я в Кельн, в институт славистики Кельнского университета. Иду по улице, по направлению к знаменитому Кельнскому собору, любуясь, восторгаясь обилием зелени, частыми лужайками между домами, кварталами, ничего подобного "природного" ни в одном городе не видел. Пока прохаживался, разглядывал, думал о своем, постепенно что-то изменилось в погоде, пошел дождь, усиливаясь. Прохожие сворачивали к домам под прикрытия подъездов со стоящими рядом велосипедами. (Меня озадачило потом количество этих велосипедов вдоль улицы, в любое время неприкосновенно дремлющих без всякого присмотра, у нас за час растащили бы это "бесхозное хозяйство".) И вот, как и все прохожие, я стою у подъезда, жду, пока перестанет дождь. Постепенно он унимается, становится тише, но никто не трогается с места. Дождя почти нет, а немцы все

стоят. Пора идти, я только сделал несколько шагов, как за мной последовал сосед по стоянке, затем, вижу, другие от подъездов других домов задвигались, выходя почти строем на улицу. Я даже восхитился: какая дисциплинированность, какой инстинкт порядка: все стоят - и должны так стоять, пока кто-то не подаст команды. Я, конечно, не был тут командиром, но остался очень доволен, что стал свидетелем этой картины. Иногда уличные наблюдения многое могут сказать.

Да, железная дисциплина у немцев, но многим ли в голову приходит (во всяком случае, мало кто лично скажет об этом), что минуло уже шестьдесят лет после окончания войны, уже сменилось несколько поколений немцев, а они, еще не родившиеся тогда, должны до сих пор платить Израилю миллиардные "возмещения" за преступления, которые они, новые поколения, не совершали. И так их взнуздали страхом перед самим словом "еврей", что вот уже и в новом тысячелетии безмолвствуют при этом слове зигфриды, как по команде набравшие в рот воды. Вот вам тоже пример "дисциплинированности". Под угрожающим надзором "сынов Израиля" пират телеящика Познер вещает (уже напрямую, не изворотливо), что он так ненавидит немцев, что никогда не хотел побывать в Германии, не может слышать немецкой речи. Как-то (это было вечером 29 января 2005 года) по радио "Свобода" передавалось интервью с получившим премию Улофа Пальме скандальным "правозащитником" С. Ковалевым. Обращаясь к своим коллегам-соплеменникам в Германии, он вцепился как клещ в Шредера, призывая "своих" дать тому урок "демократической" накачки (только я не понял - за что). И говорилось это тоном, как будто речь шла о каком-нибудь мелком клерке, не о канцлере Германии. И даже кажется, что канцлер вряд ли решился бы поставить на место ядовито-въедливого "правозащитника". И не только в Германии страшатся "правозащитников" Ковалевых. Русские в этом отношении свободнее, и это признак еще здоровой нации. Но не хватает нам зачастую характера, жесткости, самой православной воли. Слишком много в нас благодушия, "отходчивости", как говорил презиравший нас за это Ленин - "русский человек добряк". Мы боимся быть обвиненными в национализме, в отличие от других народов, народцев.

Русский народ со своей несчастной доверчивостью к власти не может поверить, что она может сознательно уничтожать его. И зная это, пользуясь своей безнаказанностью, нынешняя антирусская власть, не давая продыха, садистски терзает народ, обрушивая на него все новые и новые людоедские реформы. Последовательно реализуется план сокращения русского населения до 50 миллионов. Облеченный абсолютным доверием Путина "реформатор" Греф (с его хулиганским стишком "Умом Россию не понять, а надо знать, едрена мать") изрекает: "Главная наша проблема - это доживающее поколение". Оно, это "доживающее поколение", на богатстве наследия которого паразитируют эти "обновители России", и мешает, оказывается, "реформам", которые не сдвинутся с места, пока не вымрет это поколение. И уже знак духа времени, такого рода официальные поощрения: "Телеграфное агентство сообщило: указом президента РФ медалью "За заслуги перед Отечеством" награждена Галина Гранаткина - директор похоронного бюро "Ритуал" ("Советская Россия", 19 авг. 2004). Поистине, по заслугам каждый награжден. В советское время наградами отмечали многодетных матерей ("Мать-героиня"), ныне - похоронщиков.

Верхом цинизма, издевательства над народом, старшим поколением, фронтовиками стала отмена льгот в канун великого праздника Победы, разгрома шестьдесят лет тому назад гитлеровской Германии. И что же показывали в это время по телевидению? Вот один из собравшейся в районе "Белого дома" толпы средних лет человек (не чернобылец ли?) плачущим голосом взывает с экрана: "Люди добрые, пожалейте нас!" (это о толкачах шулерской "реформы"). Другой кадр: приехавший в провинциальный город ставший "знаменитым" Зурабов барабанит перед толпой байки о пользе, выгоде "монетизации": к нему подходит с букетом цветов пожилая женщина, вручает их ему со словами: "Ведь нам будет теперь лучше?". И тот не моргнув глазом отвечает: "Будет лучше". Попробуйте назвать этот наглый обман настоящим именем - вы многим рискуете. По пять лет тюрьмы получили молодые люди за то, что, возмущенные вопиюще антисоциальными действиями

"социального" министра, попортили мебель в его служебном кабинете. Того самого министра, который приготовил народу и такие подарки, как бесплатное пребывание в больнице только в течение пяти дней, выпуск лекарств и продажу их в аптеках без государственного контроля, то есть безнаказанное право травить, приговаривать к смерти массы населения страны. Открыто говорят и пишут в газетах о том, что Зурабов проталкивает эти "проекты" не бескорыстно, ибо как бизнесмен он связан с "рынком лекарств" и бесконтрольность их сулит ему многомиллиардные доходы. И несмотря ни на что, этот "Миша Зурабов" (привычное обращение наверху друг к другу по "ласковым именам") почитается его начальством незаменимым кадром.

Вот еще на том же телеэкране: в коридоре Госдумы в перерыве между заседаниями дает интервью Грызлов о предстоящих благодеяниях для льготников. Слышится за кадром чей-то голос: "Это преступление!" По-пришибеевски прямой начальник Госдумы коротко чеканит: "Надо вызвать врача!"

Верно, позднее (в конце января, в феврале) что-то изменилось, когда на улицы городов страны вышли массы возмущенных людей и власти струхнули (во многом, может быть, и под влиянием "оранжевой революции" на Украине). Да и струхнули ли? Ибо какие власти? Недоумки? Провокаторы? "Пятая колонна"? Так восстановить против себя весь народ - от пенсионеров до нынешних офицеров, работников милиции, всех честных тружеников. Да и современная молодежь, с которой, возможно, только и считаются наверху, полагая, что она стала уже необратимо "рыночной", абсолютно только с долларом в голове, - современная молодежь больше видит и знает, чем представляют ее "воспитатели". Как ни стараются они оторвать ее от старшего поколения, от дедов-фронтовиков, свидетелей и участников героической советской эпохи - молодежь знает, что не воровством были заняты их деды, что все созданное ими до сих пор не могут разворовать "демократы". Молодежь видит, как измывается власть над их дедами и бабушками, прибавляя по тридцатке к их нищенской пенсии, выталкивая из автобусов как безбилетников, морально унижая наплевательством на их боевые, трудовые заслуги. Звонит мне моя студентка Литературного института Светлана Рыбакова и говорит о своем отношении к тому, что так задело массы людей. "Правители нарушили пятую заповедь: чти отца и мать свою...". В ее голосе волнение, неожиданное для меня, потому что знаю ее как глубоко воцерковленную, вроде бы далекую от мирских, тем более от политических страстей. А тут такая оценка, да еще с таким примером из рассказа Шаламова, - как в подмосковном доме престарелых он оказался вместе с бывшим лагерным надсмотрщиком, которого он знал, когда был зэком на Колыме. И вот этот мучитель заключенных кончил тем, что в старости, одичавший, вымороченный, он ел собственный кал. "Кончат плохо и эти мучители", - закончила студентка.

***

Митрополит Вениамин (Федченков) в своей книге "Записки епископа" вспоминает следующий разговор о Сталине.

"В 1945 году, когда я был вызван из Америки на коронование ("на столование") Патриарха Алексия, заехал я в Воскресенский храм в Сокольниках. Поклонился Иверской... и оттуда - на противоположную сторону, поехал на машине в Донской монастырь на могилу Патриарха Тихона. Сопровождал меня бывший келейник Патриарха Сергия (теперь наместник Троице-Сергиевой лавры), архимандрит Иоанн.

Шел слякотный снег.

Я попросил его рассказать что-нибудь о Патриархе Сергии.

Между прочим, он сообщил следующее. И. В. Сталин принял Митрополита Сергия, Митрополита Алексия и Митрополита Николая... Отец Иоанн не знал, о чем они там говорили. Только одно помнит: Митрополит Сергий, воротившись от И. В. Сталина, ходит в доме по комнате и, по обычаю, что-то про себя думает. А о. Иоанн стоит у притолоки молча... вдруг Митрополит Сергий вполголоса говорит:

- Какой он добрый!.. Какой он добрый!.. Это он так думал и говорил о Сталине... Я говорю о. Иоанну:

- А вы не догадались спросить у Владыки: ведь он же неверующий?

- Спросил.

- И что же ответил Митрополит Сергий?

- А знаешь, Иоанн, что я думаю: кто добрый, у того в душе живет Бог" (Митрополит Вениамин (Федченков). Записки епископа. "Воскресение". СПб., 2002, с. 236).

В послесловии к составленному мной сборнику документальных материалов "Сталин" известный священник Димитрий Дудко пишет: "Наши патриархи, особенно Сергий и Алексий, называли Сталина богоданным вождем... Да, Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для всего мира... Поэтому я, как православный христианин и русский патриот, низко кланяюсь Сталину".

В канун 60-летия Победы начался новый накат на Сталина, без которого не было бы этой Победы. Показательно выступление диакона Кураева (радио "Радонеж", 28 марта 2005). В свое время в статье "Дети свободы" (журнал "Молодая гвардия", 1994, № 7, 8) я писал о таком "приеме" этого эрудита, когда рядом с отцами Церкви, православными святыми, у него - шеренга из модных в "интеллектуальной среде" имен: М. Мамардашвили, С. Аверинцев, М. Цветаева, М. Гершензон, А. Мейер, А. Экзюпери, Р. Гароди и т. п. "Один голос сменяется другим, как в христиански двусмысленной, под античными масками, оперетке Оффенбаха". Теперь, в своем выступлении по названному радио, А. Кураев включился в хор таких одиозных хулителей Сталина, как солженицын-волкогонов-радзинский. Что это - историческое невежество или низкопробный нигилизм, когда под общую "зачистку" попадают поставленные в один ряд Ленин, Троцкий, Сталин, Хрущев, без всякого учета их подлинной роли в истории России? На вопрос радиослушателя о причине ненависти погромщика церквей Хрущева к Сталину А. Кураев отчеканил: "И среди бандитов есть свои разборки". Вот она, лексика "Огонька" Коротича, в свое время вдоволь похулиганившего под эгидой "архитектора перестройки" А. Яковлева в "разоблачении Сталина". Наш эрудит не терпим к критике, называя, например, мерзостью напечатанный в газете "Русский вестник" отзыв на его статью "Война и сказки" в журнале "Благодатный огонь". "Мерзостью", видимо, сочтется и несогласие с тем, что из всех книг о Великой Отечественной войне А. Кураев в своем выступлении назвал только "знаковый" по неправде роман В. Астафьева "Прокляты и убиты". Но больше всего, пожалуй, смущал несдержанный, возбужденный тон разговора А. Кураева, особенно выделяясь этим на фоне спокойных, вежливых реплик радиослушателей. Один из них сказал, что он из сословия дворян, которые пострадали после революции, но он не осуждает Сталина, в действиях его была историческая необходимость, он был великий человек, как Петр I. Другой радиослушатель заметил, что ведущий беседу тонко развенчивает Сталина, но Сталин был против либералов-предателей.

Когда я недавно (в октябре 2004 года) побывал в Сталинграде, то с особым чувством вспоминался мне знаменитый приказ № 227 И.В. Сталина, подписанный им в смертельно опасное для страны время, когда враг грозил прорывом в Сталинград и захватом его. Даже и теперь, по прошествии более шестидесяти лет после тех грозных дней, ледяным ветром эпохи веет от суровых слов приказа, беспощадного в требовании не отступать, стоять насмерть. Как актуален этот глубоко патриотический документ в наше время!

Кто-то из видных зарубежных политиков сказал, что надо сокрушить русский народ, чтобы он не мог породить нового Сталина. Увы, Сталин рождается, может быть, раз в тысячу лет и в особые исторические эпохи, но наш народ поистине стал почвой (не материалом, каким видели его для себя троцкисты), на которой только и могла взрасти такая колоссальная личность. И, конечно же, органична связь бывшего ученика Тифлисской духовной православной семинарии с Русской Православной верой. (Любопытно, что в первоначальный текст авторов его биографии, где сказано, что он учился в "тифлисской духовной семинарии", сам Сталин вписал слово "православной".)

Сокрушившая гитлеровскую Германию, претендовавший на мировое господство

"Третий рейх" с его нацистским расизмом, одержавшая над врагом не только военную, но и духовно-нравственную победу, Россия ныне сама потерпела сокрушительное поражение. Не в прямом военном столкновении, а в духовной войне с мировым злом, концентрацией которого стало воинствующее антихристианство "Нового мирового порядка". На Западе всегда была непонятной и чуждой Православная Россия, как, впрочем, и Советский Союз, в котором, несмотря на государственный атеизм, во многом сохранилась система традиционных духовных ценностей русского народа. Особенно эта враждебность Запада к православию усилилась в последнее время. Такая вроде бы мелочь, но характерная: чтобы снискать благосклонность западных хозяев, нашим диссидентам уже мало быть антисоветчиками, русофобами, надо быть прежде всего врагами православия. И нет недостатка на этот счет в охотниках не менее ретивых - пресловутого Бжезинского, изрекшего, что после краха коммунизма главным врагом для Америки, для мира становится православие. Известный диссидент А. Синявский, оказавшись в эмиграции в Париже, пустился по "Свободе", другим радиоголосам клеймить "православный фашизм". Из православия хотят сделать пугало, страшилище для "демократии", "цивилизации", растворить его в "плюрализме". Государственный секретарь США Олбрайт, приехав в Москву, спешит прежде всего к Патриарху, чтобы защитить "права конфессиональных меньшинств", всякого рода ересей, сект. Продолжается мировая война, в которой видимое насилие, вроде бандитской расправы "цивилизованной" Америки над Сербией, Ираком, сообщается с войной невидимой сил сатанинских, пронизывающих нашу современную жизнь, с христианством, православием - верой, не извращенной тем материальным идолопоклонством, перед которым пал Запад в блеске своей духовной нищеты.

В русском народе, как народе глубоко православном, живет ничем не вытравляемая - никакими "перестройками-революциями", никакими соблазнами безбожной цивилизации, - живет эта жажда духовного идеала, справедливости, дающая ему с Божией помощью неодолимую силу сопротивления злу. И может ли быть уныние, страх, боязнь вступить в борьбу со злом там, где торжествует истина: "...мужайтесь: Я победил мир" (Иоанн, 16, 33).

Журнал "Наш современник", 2005, № 5

О нашем неведении [9]

- Михаил Петрович, к сожалению, нашлись читатели, считающие, что журнал несправедлив в оценке Солженицына, которого они называют великом патриотом. Какова ваша позиция?

- Есть такое явление, которое можно определить как неведение. Явление, довольно обычное как в жизни отдельного человека, так и в общественной жизни, даже в жизни целого народа. В свое время знаменитый русский публицист, общественный деятель, славянофил Иван Аксаков считал неведение, непонимание происходящего, гражданскую слепоту национальным бедствием. Если ограничиться в данном случае литературой, то можно задаться вопросом: почему сделалось модой восторгаться "серебряным веком"? Абсолютное большинство не имеет о нем никакого представления. Ведь это самая растленная эпоха в истории русской литературы начала XX века. Можно уточнить - единственно растленная, не считая порожденную "демократией" литературу нынешнего времени. Даже и достижения формальных "серебряников", хотя бы стихи, отравлены болезнью духа. Поэтесса Анна Ахматова, сама дитя того времени, в "Поэме без героя" рассказывает о встрече со своими уже умершими дореволюционными друзьями.

Об одном из этих мертвецов, Михаиле Кузмине, поэтесса говорит: "Он один из тех, кому все возможно. Я сейчас не буду перечислять, что можно ему, но если бы я это сделала, у современного читателя волосы бы встали дыбом..."

---

[9] "Русский журнал". Март - апрель 2007.

Литературу "серебряного века" захватил антихристианский разгул, нормой стало одновременное поклонение Богу и дьяволу или же открытое служение дьяволу. И удивительно, что поклонники нового "ренессанса" из числа даже верующих ничего не знают об этом и не хотят знать. Главное - как обворожительно звучит: "поэзия серебряного века".

Или возьмите писателя М. Булгакова. Мало кто вспомнит его ранние замечательные рассказы о молодом враче, его самоотверженной работе в сельской больнице, о трагических историях с больными, сопереживаниях автора. Но все при имени писателя выкрикнут: "Мастер и Маргарита". Однако ведь в этом романе много от самого "серебряного века". Автор вознамерился создать свое собственное "Евангелие", где некий Иешуа, довольно плоский моралист-правдолюбец, ничего общего не имеет со Христом, Богочеловеком. Главным героем в романе стал Воланд - с его обольстительным сатанинским обликом, предмет прямо-таки вдохновения и преклонения автора, который присваивает ему всяческие достоинства, доброжелательность к людям, справедливость, мудрость и т.д. Воланд дает "Великий бал Сатаны". По словам одного исследователя, этот "великий бал и вся подготовка к нему - сатанинская антилитургия". Историк религии заключает, что автор "Мастера и Маргариты" отверг Евангелие ради Талмуда.

И не случайно весьма активно пропагандируется этот антихристианский роман, особенно в школьных учебниках. Так, в школьной программе "М. Булгаков. "Мастер и Маргарита" ("Дрофа". М., 2002) говорится: "Этим Булгаков хотел сказать, что мир поделен между Богом и дьяволом и они заодно правят миром". И вспомните: какой вой подняли "демократы", либералы, когда Церковь, верующая общественность выступили за введение в школу курса "Основ православной культуры"! Это запрещено, этого нельзя допускать. А вот пропагандировать, прославлять дьяволиаду - это пожалуйста. Это поощряется. Вот уж поистине "мрак неведения" (из канона молебного ко Пресвятой Богородице).

"КАК СЛАДОСТНО ОТЧИЗНУ НЕНАВИДЕТЬ..."

- Но поговорим все-таки о патриотизме Солженицына.

- Я бы уточнил: о мнимом патриотизме Солженицына. О его предательстве.

Жил в XIX веке такой философ, поэт - Печерин, эмигрант, перешедший в католичество, автор воспоминаний "Замогильные записки". Мало кому он ныне известен. Но остались от него незабываемые стихи: "Как сладостно Отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья". Это как девиз воинствующего космополита в поученье своим духовным наследникам. От каждого автора остается то, что можно назвать формулой не только его убеждений, но и самого его бытия. Все остальное словесность. И вот мне кажется, что из писаний Солженицына в тридцати томах больше всего заслуживают внимания те места, в которых резко выражено этическое кредо автора. Об этом надо сказать уже потому, что Солженицын получил Нобелевскую премию именно за так называемую "этическую силу" своих произведений, и эта "этическая сила", природа ее нуждается в уточнении.

В романе "В круге первом" есть два знаковых эпизода. В первом из них советский дипломат Володин мечется по центру Москвы, по Арбату, чтобы забежать в телефонную будку и позвонить оттуда в американское посольство, выдать наших разведчиков в Америке, посвященных в секреты атомной бомбы. Ведь ему ненавистна сама мысль о том, что его страна может иметь атомное оружие, может противостоять Америке.

И с каким нескрываемым сочувствием пишет автор о предателе, с каким сопереживанием, как бы он не попал в лапы КГБ. Сколько возвышенных слов вкладывает в его разглагольствования, стремясь его всячески идеализировать. Это уже не просто предательство, а некое благородство предательства, как бы уже высшее нравственное качество интеллектуальной личности. О таких типах, их вдохновителях можно сказать словами М. Горького: даже тифозная вошь оскорбится сравнением ее с предателем.

Признаться, когда я узнал, что по телеящику пойдет сериал "В круге первом", то подумал: роман был написан почти сорок лет тому назад, теперь совершенно другое время,

не может быть, чтобы Солженицын как автор сценария оставил эту историю с Володиным. Оставил! Да еще гнусность подчеркнута эдакой щегольской, под нынешнего "демократа", игрой актера, как и натужным антисоветским лицедейством героев шарашки. И какую же надо иметь нравственную глухоту, презрение к здравому смыслу современников, чтобы и теперь видеть в нашей стране империю зла, даже теперь, когда уже нет нашего великого государства и в мире разбойничает без всякого сдерживания подлинная империя зла - Америка, кроваво разделывается со всеми, кто ей не угоден. Никто не гарантирован от расправы: ни народы, на которых посыпятся бомбы, ни лидеры их, которых в устрашение другим могут вздернуть на виселицу, как это показательно сделали с президентом Ирака Хусейном в дни великого праздника мусульман Ид-аль-Адха и Рождества Христова. И вот в такие-то времена американского сатанизма Солженицын на всю Россию предательством своего героя как бы освящает ненавистный всему миру американизм. И находятся простаки, которые продолжают видеть в нем патриота. Впрочем, даже на Западе вызывало недоумение его, мягко говоря, антипатриотическое поведение. Так, западногерманский журнал "Шпигель" писал, что "высланный Солженицын не хочет удовлетвориться только писанием книг, а хочет непосредственно делать политику, для этого он организует Международный трибунал против своей Родины - Советского Союза". Вот уж поистине: "Как сладостно Отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья".

Но перейдем ко второму знаковому эпизоду из романа "В круге первом", когда писатель заставляет своего героя, стилизованного под русского мужика Спиридона, прохрипеть чудовищную человеконенавистническую тираду перед десятками миллионов телезрителей: "Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолет, на ем бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронят под лестницей, и семью твою перекроет, и еще мильен людей, но с вами - Отца Усатого и все заведение их с корнем... я бы сказал,- он вывернул голову к самолету:- А ну! ну! кидай! рушь!" И веришь, что вдохновитель этих слов и в самом деле мог бы шарахнуть атомную бомбу, снести ею всю Москву с ее многомиллионным населением, "все заведения" государства, лишь бы уничтожить Сталина!

ВМЕСТО ФАКТОВ - ДОГАДКИ

- Солженицын - автор знаменитого выражения или, как еще назвать, лозунга, клича, требования, призыва - "жить не по лжи". Какую общественную роль, по вашему мнению, сыграл, играет этот лозунг? Насколько этот призыв адекватен моральному авторитету автора, ведь чтобы учить других, надо самому быть свободным от того, что обличается.

- "Жить не по лжи" Солженицын сделал своим заклинанием. Это не столько призыв нравственного, христианского порядка, понятного, уместного в устах пастыря, сколько расчетливый пароль. Цель-то здесь не исправительная, не духовно-оздоровляющая, а сугубо политическая, все тот же "смертный бой" с чудовищным Левиафаном, как он называет Советский Союз. Кстати, бой в литературе - его любимое слово. Свою Нобелевскую речь он заканчивает призывом к писателям мира: "выйти на бой!", против Левиафана, разумеется.

Заклиная "жить не по лжи", Солженицын в то же время упивается своей собственной ложью. Вот его оценка "жертв коммунистического режима" в том же трехтомнике "Публицистики": "Мы потеряли 30-40 миллионов на Архипелаге ГУЛАГе", "Беда России, где уничтожено 60 миллионов"; "Было 60 миллионов погибших - это только внутренние потери" и т.д. Откуда берутся такие цифры? В беседе со студентами-славистами в Цюрихском университете Солженицын поясняет, почему его "Архипелаг ГУЛАГ" - не историческое, не научное произведение, а "опыт художественного исследования": "Художественное исследование по своим возможностям и по уровню в некоторых отношениях выше научного... Там, где научное исследование требовало бы сто фактов, двести, - а у меня их - два! три! И между ними бездна, прорыв. И вот этот мост, в который нужно бы уложить еще сто девяносто восемь фактов, - мы художественным прыжком делаем, образом, рассказом, иногда пословицей. Я считаю, что я провел самое

добросовестное исследование, но оно местами не научное... Конечно, кое о чем надо было и догадаться".

Вы понимаете? Не историческая достоверность, опирающаяся на фундамент фактов, а некая литературщина с ее "тоннелем интуиции", "художественным прыжком", "догадкой" и прочим! И вот из этой игры воображения и возникают ошеломительные цифры. Характерно, что даже на Западе многие считают "Архипелаг" с его гипертрофированной политической тенденциозностью оскорблением для России, превращенной бывшим зэком в сплошную универсальную зэковщину. Так, Солженицына очень задело, когда он, проживая в Цюрихе, получил извещение, что в Женеве властями ее запрещена продажа "Архипелага..." на английском и французском языках как книги, "оскорбляющей одного из членов ООН".

Помимо "страсти к политическим выпадам" (его слова) есть у Солженицына и еще страсть - видеть в своих соотечественниках желанных ему смертников, поголовных "жертв коммунистического режима". Это, можно сказать, я испытал на себе. В "Бодался теленок с дубом" он приводит несколько цитат из моей статьи "Просвещенное мещанство" в журнале "Молодая гвардия" (начало 1968 г.) и заключает: "В 20-30-е годы авторов таких статей сейчас же бы сунули в ГПУ да вскоре и расстреляли". Но, дело в том, что было уже другое время и Россия была другой. И о себе, и о моих знакомых могу сказать, что травили нас, русских патриотов, не столько КГБ, сколько литературная русофобская банда, засевшие в ЦК "агенты влияния", "пятая колонна", которые потом превратились в "демократов" и цинично признавались, что сознательно подтачивали изнутри "тоталитарное государство".

Но закончим о лозунге "жить не по лжи". Так ли уж бесспорна, так сказать, воздушность, небесность помыслов нашего воителя очистить от лжи грешное человечество, прежде всего Россию? Увы. Хорошо сказал на этот счет известный мыслитель Г.М. Шиманов (давая точную характеристику другому такому же "учителю" и "патриоту" от диссидентов, Назарову, автору мифа-утверждения: "Не важно, если Россия превратится в Московию, главное, чтоб это "была Святая Русь"): "Люди типа Назарова хотели бы исключить всякую политичность в делах русских православных людей. Чтобы они, как науськивал когда-то Солженицын, "жили не по лжи", то есть покидали занимаемые ими партийные, государственные, хозяйственные, культурные позиции, оставляя их врагам русского народа, а сами трудились с чистой совестью дворниками да сторожами. И, находясь на социальном дне, боролись с "империей зла", опираясь на поддержку "Свободного Запада". Или просто молчали, выключившись из общественной жизни. Вот такая блестящая мысль пришла в голову Александра Исаевича, которого, думается, не за одни лишь его литературные таланты так раскрутили некогда враги русского народа. Раскрутили, а затем выбросили, как выбрасывают выжатый лимон. Но не на помойку, для общего мусора, а в комфортабельную урну для заслуженных лимонов" (Шиманов Г.М. Записки из красного дома. 2006. С. 583).

ТОЛСТОЙ И ЕГО ПОДРАЖАТЕЛЬ

- В учебниках "Русской литературы" Солженицына называют продолжателем толстовской реалистической традиции. Насколько обосновано подобное утверждение?

- Сравнивать Солженицына с Толстым нелепо хотя бы уже по одному тому, что Толстой гениальный художник, а Солженицыну Бог не дал дара художника. Если уж условно говорить о чем-то общем у них, то это безмерность гордыни. Но и здесь же обнаруживается как у писателей пропасть между ними. Толстой говорил о священниках: бородатые невежды, обирают неграмотный народ и прочее. Но у безблагодатного моралиста Толстого - "слово благодатное" художника. И вот мы видим в сцене обручения Левина и Кити в "Анне Карениной", с какой теплотой, симпатией высвечен великим художником образ старенького священника, когда он совершает Таинство Венчания и шепотом поправляет молодых, от волнения путающихся при обмене кольцами. Куда девался обличитель "невежественного духовенства"? Не могу представить подобного превращения обличителя в художника у Солженицына. Вы только вообразите, что сделал бы он, какую злобную карикатуру из

красного Мишки Кошевого и в какого нового Спиридона с его атомной бомбой превратил бы Григория Мелехова? (Не отсюда ли такая ревность Александра Исаевича к Шолохову?) А ведь тот же Мишка Кошевой своим затравленным после всего нечеловечески пережитого видом вызывает жалость у Ильинишны, матери убитого им сына. Такова правда жизни даже и в кровавой гражданской войне, когда все разделено и, казалось бы, не осталось, не должно быть места живому человеческому чувству. "Спутали нас ученые люди",- говорит Григорий Мелехов. И Солженицын путает их, доверчивых людей.

У Солженицына есть выражение "антисемит не может быть художником". Перефразируя его, можно сказать, что не может быть художником ослепленный маниакальной идеологией человек. Идеология, как поистине дракон, крепко держит в своей пасти самого писателя и его героев. Если уж "Раковый корпус" - то, считай, все в обществе, все в государстве поражено раковой опухолью сталинизма, террора. Если "В круге первом" с его шарашкой - то это только начало тех дантовых кругов ада, из которых скроена система "совкового" общества, в которых заключена жизнь народа. И если автор рассчитывал на символичность этих образов, то расчеты его оказались тщетными. Ибо символы вырастают из подлинности, глубинной содержательности жизни, а не изобретаются искусственно, не навязываются умственно.

Солженицына привычно потчуют словом "пророк", и он никогда не скажет, не остановит: "Перестаньте, стыдно!" Ну хотя бы провидец чего-то малого, и на это не тянет. Можно назвать, скажем, историческим предвидением то, что Герцен видел будущее мира за двумя державами: Россией и Америкой. Гениальное предвидение бесовщины, охватившей ныне весь мир, - у Достоевского в "Бесах". Никто, кажется, не заглянул так проницательно в будущее Америки, как Иван Аксаков. В статье "Об отсутствии духовного содержания в американской народности" (1865) он писал: "Этот новый исполин-государство бездушен, и, основанный на одних материальных основах, погибнет под ударами материализма. Америка держится пока еще тем, что в народностях, ее составляющих, еще живы предания их метрополий, нравственные и религиозные. Когда же предания исчезнут, сформируется действительно американская народность и составится Американское государство без веры, без нравственных начал и идеалов, или оно падет от разнузданности, личного эгоизма и безверия единиц, или сплотится в страшную деспотию Нового Света". Ныне мир стал свидетелем, жертвой этой чудовищной деспотии.

Ну а в чем все-таки пророчество Солженицына? Есть у него любопытный рассказ об одном эпизоде из своей жизни в Америке. "20 марта 1975 года, в четверг первой недели поста, стоял я на одинокой трогательной службе в нашей церковке и просил: "Господи, просвети меня, как помочь Западу укрепиться, он так явно и быстро рушится. Дай мне средство для этого". Через полтора часа прихожу, Аля (жена С. - М.Л.) говорит: "Только что звонили из Вашингтона, час назад сенат единогласно проголосовал за избрание тебя гражданином США". Запад - это и Америка. Так в чем же пророчество Солженицына? В том ли, что Америку проглотит советский дракон, Левиафан? Даже мысль не приходит в пророческую голову, что этим Левиафаном, смертельной угрозой России, миру, и может быть, скорее всего, Америка с ее историей истребления коренных народов, работорговлей, финансовым закабалением стран, национальной философией экспансионизма во всем - от государственной политики до навязываемой другим народам низменной массовой псевдокультуры. Америка показала, что никакие религиозные, моральные соображения, даже доводы нецелесообразности не остановят ее от использования атомной бомбы. Плохой пророк Солженицын, если он не понял и до сих пор не понимает этого.

Есть что-то роковое и несколько комическое в положении вернувшегося в Россию пророка. Он вроде бы и вне партий, разных там либералов и патриотов, а судьба-злодейка свинью ему подложила, поселила в особом доме, начиненном новыми хозяевами жизни, и сосед его из одного подъезда Чубайс. Корреспондент одной газеты все допытывался у Александра Исаевича, не встречался ли он с этим ваучером в лифте и не может ли он воспользоваться случаем, поговорить с ним, может быть, найдут общий язык, как обустроить

Россию, на что бывший вермонтский отшельник мудровато отвечал, что не все так просто делается. А впоследствии как будто тем же магнитом Исаевич был притянут к другим олигархам - его поместье в Серебряном бору оказалось по соседству с таким же жилищем бывшего премьера Касьянова (кличка "Миша два процента") и, кажется, Фридмана - миллиардера. Бедный пророк!

СЛОВА И СЛОВЕЧКИ

- Но если не пророческие, то какие характерные черты вы отметили бы в Солженицыне-писателе?

- Особого разговора заслуживает язык писателя. Александр Исаевич как-то печатно поведал, как он записывал скрытно, карандашом за спиной, разговорную речь хозяйки дома Матрены, у которой он квартировал. Эта речь деревенской женщины во много определила успех рассказа "Матренин двор". Писатель любит народные слова, он не расстается со словарем Даля, сам составил словарь лексического расширения. Народность языка - это не только лексика, отдельные характерные слова, но и особый склад речи, самого мышления, колорит словообразования. Грамматическая неправильность при смысловой, эстетической выразительности. Образность выражения, поговорочность и т.д. Поэтому даже теперь при оскудении языка писать о человеке из народа гораздо труднее, чем о каких-нибудь умниках из шарашки "В круге первом", с их нивелированной речью, всякими "измами", цитатами, мелкотравчатыми философическими разглагольствованиями и т. п.

Достойно сожаления, как трудно дается Александру Исаевичу то, что он считает своей задачей, - преодоление гладкости, безличности языка, подчеркнутой русскости, которая нередко выглядит нарочитой, утрированной. Взгляните только на подобное языкотворчество в трактате "Как нам обустроить Россию", опубликованном в 1990 году. Россия горит, кровоточит, а он обнюхивает якобы на русскость словечки: "Мы на последнем докате"; "за три четверти века - при вдолбляемой нам и прогрохоченной социалистической дружбе народов"; "при этом всеместном национальном изводе"; "беспомощное личное бесправие разлито по всей глубине страны" и т. п. Каков контраст между этими языковыми изысками, вялостью их и тем ужасом, который происходит в России и требует огненного слова!.. Автор из-за океана наблюдает, выжидает, чем все там кончится. Хотя, думаю, знал, что власть уже захвачена, и бесповоротно, "демократами". А кто-то может подумать, что Солженицын в отличие от Бунина, Шмелева, Зайцева, других, которые десятилетиями жили во Франции и продолжали писать таким же свободным русским языком, как и у себя на Родине, подзабыл русский язык. Но, вернувшись на Родину, он ведь и теперь все спотыкается на утрированной русскости.

БОРЬБА С ЛЕВИАФАНОМ

- Солженицын постоянно разделяет русское и советское, Россию и Советский Союз, который он называет Левиафаном...

- Это разделение мнимое. Он одинаково не принимает как империи ни Россию старую, ни Россию Советскую. Красноречивы на этот счет вошедшие в трехтомник "Публицистики" его выражения разных лет, в частности его беседа с издателем журнала "Шпигель" Рудольфом Аугштайном в 1987 году: "Я никогда не был сторонником империи, а Петр I был",- заявил он. Немецкий собеседник приводит послевоенные стихи Солженицына: "Оправдала ли цену свою Полтава? // Двести лет все победы, победы // От разора к разору, к войне от войны..." В свое время Солженицын возмущался тем, что русские войска в XVIII веке вошли в Берлин. Солженицын говорит о своей приверженности к Православию, но к Православию у него примерно такое же отношение, как к Российской империи. Он не приемлет Православия "ортодоксального", оно претит ему отсутствием "поиска". Как будто может быть какое-то не ортодоксальное, не догматическое Православие. А уж куда может

привести так называемый поиск - это нам хорошо известно и по прошлому - всякого рода разновидности "нового религиозного сознания" в начале XIX века, послереволюционное обновленчество, современные мени-якунины-кочетковы, другие духовные "искатели". Кстати, обновленчество было "детищем" кумира Солженицына Троцкого, о чем пишет диссидент Михаил Агурский в своей книге "Идеология национал-большевизма". Заметим, что книга написана не без симпатии к России. Папу Римского Иоанна Павла Второго Солженицын называл "Благодатью Божией". В парижской телепередаче 17 сентября 1993 года, когда ему напомнили эту фразу, он не отказался от своих слов: "То, что я сказал о Иоанне Павле Втором, я могу повторить. Я считаю это великим счастьем, ничего другого добавить не могу".

Не потому ли такое обоготворение папы, что тот совместно с Рейганом, Горбачевым и Ельциным подготовил разгром Советского Союза. Достоевский говорил об опасности того духовного порабощения России, которое несет с собой папство с его антихристианским искушением "всемирного владычества".

Война с гитлеровской Германией для Солженицына не Великая Отечественная, а "советско-германская война". В упомянутой выше беседе с издателем "Шпигеля" он говорит: "Я еще не понимал (в войну), что нашими победами мы, в общем, роем себе же могилу. Что мы укрепляем сталинскую тиранию еще на тридцать лет".

В антисоветизме, в ненависти Солженицына к исторической России большую роль сыграл Троцкий, с портретом которого он не расставался всю войну. Солженицын и на войну с гитлеровской Германией смотрел глазами Троцкого, видел в ней только средство для разжигания мировой революции. Но война приняла характер Великой Отечественной. Сталин взял на вооружение наше героическое прошлое, традиции русской армии, вдохновил русский народ на священную борьбу в духе великих подвигов наших предков. Восстановленная в правах Православная Церковь крепила моральный, патриотический дух народа. Все это воспринималось наследниками Троцкого как предательство интересов революции, вызывало злобу. Солженицын в письме к другу не скрывал своей враждебности к переменам в идеологическом курсе государства, к Сталину, называл его "паханом". Понятно, как это в условиях войны могло быть расценено цензурой, законом. Такова история знаменитой, разрекламированной на весь мир "жертвы сталинского тоталитаризма", которой до сих пор невдомек, что без этого тоталитаризма не было бы и победы над гитлеровской Германией.

Есть своя логика в том, что, связав свою судьбу с Троцким в войну, Солженицын косвенно оставался с ним и в дальнейшем. Известно, что на стороне Троцкого в 20-х годах был Хрущев, чего он не отрицал, когда в 1957 году в попытке устранения его от власти один из старых партийных руководителей напомнил об этом.

Правление Хрущева отмечено такими поистине революционными взрывами, как массовый погром православных храмов, превышающий даже погром 20-х годов, преследование верующих, изъятие у колхозников приусадебных участков, авантюристские реформы. И конечно же пресловутое "разоблачение культа личности", тотальное оклеветание Сталина, породившее нигилистическое племя "детей XX съезда", будущих разрушителей великого государства. Не случайно Хрущев поддержал Солженицына, дал ход его повести "Один день Ивана Денисовича". Обоих роднит мстительная ненависть к Сталину. Причем уровень их понимания зла настолько элементарен, близорук, что виновником всех преступлений они видят только одну личность. Как будто в мире, лежащем во зле, все зависит от одного человека. Ведь руки того же Хрущева в крови от его репрессий в те же тридцатые годы в Москве, на Украине. Тот же Солженицын приветствовал расстрел невинных людей у Дома Советов 3-4 октября 1993 года. Как автор, "В круге первом" провоцировал своего Спиридона бросить атомную бомбу на Москву, превратить в прах миллионы людей, лишь бы уничтожить ненавистного ему Сталина. И все это под лицемерным лозунгом "жить не по лжи".

СОЛЖЕНИЦЫН, ЗИНОВЬЕВ И К°

- Известно, что наряду с Солженицыным вернулись в Москву другие диссиденты. Что они теперь пишут в своих книгах, в прессе, какова теперь их общественная позиция?

- Вслед за Солженицыным вернулся в Россию из Мюнхена, где прожил 20 лет, другой диссидент - Александр Зиновьев. И как вермонтский "отшельник" по возвращении публикациями здесь своих книг "Публицистики" объявил как бы о новом этапе своей войны с тем же Левиафаном. Так мюнхенский сиделец тотчас же по приезде в 1999 году изданием первого тома своего собрания сочинений, опуса "Зияющие высоты", засвидетельствовал, что он все тот же, каким был в эмиграции, все тем же клеветником России. А если это не так, зачем же во вступительной статье так взахлеб превозносить этот пасквиль, не делая никаких замечаний, как же теперь автор относится к этому? Значит, как и прежде. "Зияющие высоты" впервые вышли в 1978 году на Западе и были использованы там радиоголосами, прессой в пропагандистских целях. Если у Солженицына, так сказать, символ России ГУЛАГ, то у Зиновьева некий город Ибанск. И никакого удержу в русофобских выходках, в глумлении над "ибанским народом" (каково название!). Вот как нам, русским, достается: "Ибанская таинственная душа - это лишь ибанский общественный бардак", "Играющие в истории Ибанска выдающуюся роль сортиры", "Искусствовед Иванов выразил волю ибанского народа... Ему принадлежит монография о превосходстве балалайки над скрипкой и "матрешек" над "Сикстинской Мадонной", "Заветная мечта ибанца, чтобы его приняли за иностранца". "Науки юношей питают, надежду старшим подают", - писал один древнеибанский поэт". Это о Ломоносове, как повод потешиться над "ибанской наукой", только и годной для того, чтобы воровать научные открытия у иностранцев. "Не успеешь стянуть у них одну машину, как нужно тянуть другую". "Ибанцы много всего внесли в мировую культуру. Радио, самовар, матрешки - всего не перечесть. Ибанский землепроходец Хмырь раньше Колумба ходил в Америку". "Самый грандиозный вклад ибанцев в мировую культуру - это обычай троекратного целования".

Явной графоманской одержимостью отзывается все то, что пишет Зиновьев о Сталине. Прошу прощения у читателя за цитирование: "Ибанцы, обливаясь горючими слезами, наконец-то проводили в долгожданный путь Хозяина и наспех прикрыли кто чем мог свои разукрашенные шрамами и синяками голые зады, теоретически подготовленные для очередной всеобщей порки". "От природы Хозяин был средне посредственный человек" (Зиновьев, как и Солженицын "В круге первом", повторяет Троцкого о "посредственном" Сталине). И решил он отличиться "акцентом": "чтобы окончательно проверить силу своего акцента на народных массах, Хозяин отправился в павианий питомник. Павианы-самцы приняли Хозяина за самку и хором его изнасиловали". То и дело повторяется: "Когда Хозяин издох", "Для меня он убийца и вор. Для меня он гнуснейшая вошь".

Некоторые могут сказать, что Зиновьев в последнее время переменился. Он критиковал Запад, положительно говорил о советской цивилизации. Но не расходятся ли эти слова о нем с его собственными заявлениями, признаниями. В статье "Что мы теряем" ("Литературная газета", 11- 12, 22-28 марта 2005), повторяя свои неизменные заклинания "Россия обречена, погибла", он одновременно признается, что больше всего его тревожит "судьба западноевропейской цивилизации", ибо он "прожил всю жизнь человеком, до мозга костей принадлежащим западноевропейской цивилизации", что многие его сверстники формировались как "люди западноевропейские, а не национально русские - в этом отношении я ушел дальше многих других". Здесь же автор в заслугу себе ставит то, что он "не обрусел". Одним словом, "европеид" (его словцо) сидит в нем в печенках. У Достоевского есть статья "Мы в Европе лишь стрюцкие" (слово "стрюцкий" объясняется как "человек подлый, дрянной, презренный"). Это о тех, кто алчно жаждет "переродиться в европейцев, хотя бы по виду только". И чем больше они "презирали нашу национальность", тем более иностранцы презирали их самих. Великий писатель-патриот еще и так называет таких "русских европейцев": "международная обшмыга". Говоря же о Европе, не следует

забывать, что ее вряд ли можно покрыть общим термином "западноевропейская цивилизация", "западнизм", ибо ведь культура, скажем, Германии не то же самое, что культура Франции. Да и внутри культуры той же Франции есть Паскаль и есть Вольтер. Нашему "западноевропейцу" с его "свободой от религии" вольготнее, конечно, с фернейским оракулом.

Зиновьева возмущает, что в стране, в которую он вернулся, слишком воли дали Русской Православной церкви. Об этом он пишет в своей статье "Их демократия нам не подходит" в журнале "Российская Федерация сегодня", №5, 2005. Похвалив западную демократию за ее принцип отделения церкви от государства, за свободу атеизма, антирелигиозной пропаганды, отсутствие привилегий церкви в уплате налогов и т.д., автор крайне недоволен отсутствием этого принципа демократии в России. Вот его претензии: "Государство всячески поддерживает Православную Церковь. Последняя имеет льготы и привилегии. Она вмешивается в систему образования и воспитания молодежи сверх всякой меры. Фактически она обнаруживает тенденции стать государственной идеологией". Обличителю как будто неведомо, что голоса Церкви, верующей общественности за введение в школах курса "Основы православной культуры" вызвали протестную вакханалию антирусских сил. И как вписывается это разглагольствование защитника "демократии" от "религиозной пропаганды" в то наступление на христианство, которое развернулось ныне в обезбоженном "либерально-демократическом мире". В ноябре минувшего года госдепартамент США опубликовал доклад, в котором российские власти обвиняются в поддержке Русской Православной церкви, в притеснении всякого рода сектантов (газета "Православная Москва", №24, декабрь 2005).

Не буду больше подробно излагать высказывания Зиновьева, приведу характерные цитаты. "Как некогда их отцы, миллионами сдававшиеся в 1941 году в плен в надежде на лучшую жизнь при Гитлере, нежели при Сталине, сегодня русские сами хотят быть завоеванными в своем безумном стремлении к лучшим условиям жизни" (газета "Советская Россия", 20 июля 2006). "Русский народ стал, по существу, народом предателем" (Там же). Не справедливее ли такую характеристику отнести не к народу, а к самому автору, который на реплику интервьюера: "Выходит, борьба с коммунизмом прикрывала желание уничтожить Россию?" - признался: "Совершенно верно. Я это говорил, потому что в свое время был невольным соучастником этого для меня постыдного действия" (Там же).

Этому служили и "изданные миллионными тиражами во многих странах мира" книги Зиновьева, осыпавшие автора иудиными сребрениками. И странно, что этот диссидент, который сам подчеркивал, что "патриотизм меня не касается", который столь злобно и бездарно глумился над "ибанцами", над исторической Россией, так угодливо перед Западом чернил ее, все делал для ее уничтожения, этот самый диссидент, "отщепенец", по его собственному слову, по возвращении его в Россию объявлен патриотом, новоявленным пророком. Но почему же так происходит, ведь эти приезжие видны как на ладони, сами не скрывают, даже бравируют, кто они. Тот же прошедший должную обкатку на "Радио Свобода" Михаил Назаров все силы бросил на борьбу с ненавистной ему Московский Патриархией, прекрасно понимая, что какой бы ни была она - ее в любом виде не приемлют его западные коллеги. Первое, что можно здраво предположить, - это то, что поклонники, апологеты этих диссидентов просто не имеют реального представления о них, не читали их, судят по услышанному, где-то прочитанному, по созданному либеральными СМИ "имиджу". Недавно в Союзе писателей России проходила конференция на тему "Россия и будущее", где выступил и я, говорил, в частности, и о Зиновьеве. В перерыве председатель Союза писателей Валерий Ганичев рассказал мне, как в разговоре с ним дивился один известный ученый после услышанного о Зиновьеве. "Вот он какой, Зиновьев, а мы ничего не знали о нем". Подходили и ко мне, тоже дивились, говорили, что читали как-то его интервью, где он называл себя "ученым с мировым именем", первым логиком в Европе, но имя его замалчивают. Больше ничего не знали.

Когда Солженицыну вручали в Академии наук медаль Ломоносова, то, как писали в

"Независимой газете", весь зал, все академики поголовно поднялись с мест и стоя бурными аплодисментами приветствовали награжденного. Неужели ни одного не оказалось, кто знал бы цену Солженицыну.

Почему назвали совестью России этого пропагандиста предательства?

Почему той же совестью России объявили академика Сахарова, который требовал расчленения России на семьдесят государств?

Это "почему" вопиет ко всем, в ком действительно жива совесть.

Великий русский патриот Иван Сергеевич Аксаков в статье "В чем недостаточность русского патриотизма?" пишет, что "время и обстоятельства требуют от нас патриотизма иного качества, нежели в прежние годины народных бедствий", что "надо уметь стоять за Россию не только головами (как на войне. - М. Л.), но и головой", то есть пониманием происходящего, "не одним оружием военным, но и оружием духовным; не только против видимых врагов в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосязаемых недругов".

Подавать знак своим

О псевдоучебнике по истории русской критики и прочих псевдо

Передо мной - недавно вышедшая "История русской литературной критики" (М., "Высшая школа", 2002) с предуведомлением, что она допущена Министерством образования Российской Федерации в качестве "Учебника для студентов филологических, историко-культурных и журналистских направлений вузов, учителей средних школ и гуманитарных колледжей". Адресат обширный, есть где "направлять читательские интересы", говоря словами из "Предисловия". Здесь же, в "Предисловии", сказано: "Предлагаемый учебник - книга-ориентир, впервые последовательно освещающая историю русской литературной критики на всем ее протяжении от истоков до нашего времени". Истоков (XVIII век) я не буду касаться, да и не в них "соль" книги, а поговорю о периоде более мне близком, в котором я и сам замешан (и мельком отмечен в указанной книге) - поговорю о том, как преподносится здесь литературная критика 60-80-х годов минувшего столетия.

Авторы "Учебника" - сотрудники кафедры общего литературоведения и журналистики Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Та часть, которая касается истории русской, советской, современной критики написана Еленой Генриховной Елиной.

Какого же ориентира придерживается Елена Генриховна? Того ли самого, о котором заявлено в "учебнике": "Вневременное, общечеловеческое - то, что составляет теперь подлинную, общечеловеческую сокровищницу литературных оценок, мнений..." Некие "общечеловеческие ценности" возникают и при пересказе автором россказней Троцкого о "новой культуре" после "мировой революции". Но мы-то теперь знаем цену "вневременному, общечеловеческому", знаем, что это за сокровищница "мнений", оценок, в том числе и литературных. И Елину интересует вовсе "не вневременное, общечеловеческое". Следует она, по ее собственным словам, "либерально-демократической ориентации" - с четкой границей, где свои и где нет. Так, она пишет об авторах "Нового мира" 60-х годов: "Литераторы "Нового мира" доверяли вкусу и интеллекту своего (подчеркнуто автором.- М.Л.) читателя. Вот почему новомировцы искали и находили способы контакта с публикой, используя приемы аллегорий, реминисценций, подтекста, намека, иронического пересказа текста, саркастического цитирования. Рецензент с избыточным восторгом пересказывает откровенно слабый текст - в этом соединении несочетаемого крылся иронический подтекст, понять который мог воспитанный именно этим журналом новомировский читатель. Другой рецензент умилялся поступком героя в разбираемой книге. И чем глупее были поступки, тем радостнее делался тон критика. Прием "оглупления текста" великолепно срабатывал в литературных фельетонах, блестящим мастером которого была Наталия Иосифовна Ильина".

"Иронический пересказ", "саркастическое цитирование", "иронический подтекст", прием "оглупления текста"... все это входит в "методологию" новомировской критики таким очень уж знакомым, определяющим специфическим свойством, как разъедающее хохмачество. На протяжении всего опуса "воспитанница" "Нового мира" восхваляет ироничность как признак высшего интеллектуализма своих героев - новомировских критиков. О, эта вечная, брезгливая, немощная ироничность, которую А.Блок (статья "Ирония") выводил из "провокаторской иронии Гейне". Тот говорил: "Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо". А эти вообще не знают, где у них кончается ирония.

Что может быть более бесплодным, изнурительно-однообразным, пошлым, чем эта знаменитая ироничность.

А ведь сколько в ней сознания своего превосходства, презрения не к своим. К тем, кто и помыслить не может, что надо так хитроумно разгадывать какой-нибудь гаденький подтекст.

И это называется "литературной критикой"?! И почему этот междусобойчик надо запускать в историю русской литературной критики?

Узнаем мы, что есть и такой "вид критики", как "тусовка", которую прямо-таки воспевает Елена Генриховна. "В литературной критике тусовка имеет немаловажное значение, поскольку объясняет во многом тяготение одних литераторов к другим, объединение их вокруг различных изданий и, естественно, определяет шкалу критических оценок. Заявляя себя в том или ином творческом качестве, писатель, как правило, хорошо знает, какая литературная "тусовка" его громко поддержит, а какая - иронически отвергнет. При этом определенная часть литературных критиков считает важным примкнуть к "тусовке" и практически в каждой своей публикации "подать знак своим"... и т.д. Да, только дитя современных "рыночных отношений" вытравляющих все творческое, индивидуальное в писателе, оставляющих в нем только голые расчеты, может с таким пониманием, участием рассуждать о торгашеской спайке литературных дельцов. Но опять-таки, почему нужно эти стаи загонять в "учебник", почти в трехвековую "историю русской литературной критики"?

Тусовка, оказывается, может быть и межконтинентальной, "подавать знак своим" можно и через океан. Вот как тусуется Елина со своими коллегами - бывшими советскими гражданами, ныне американцами Вайлем и Генисом - у нее, помните, "иронический подтекст", у этих - "эзопов язык": "Мир, в котором эзопова словесность замещает обыкновенную, требует особого способа восприятия. Читатель становится не пассивным субъектом, а активным соавтором. Более того, читатель превращается в члена особой партии, вступает в общество понимающих, в заговор людей, овладевших тайным - эзоповым языком". А еще говорят, что не существует на свете никакого заговора.

Вообще, литературному Брайтон-Бичу повезло в "истории русской критики", "Продолжает оставаться заметным творчество П. Вайля и А. Гениса, писателей и критиков, анализирующих историю и современность сквозь призму гражданской истории". То есть при помощи "приема оглупления", призму пресловутой "совковости" в их книге: "60-е: Мир советского человека". "В 1990-е годы зазвучал голос публициста и критика Б.Парамонова... Эта критика дразнящая, эпатирующая, заставляющая взглянуть на известные литературные факты новыми глазами! Парамонова слушают по радио, читают в книгах и журналах, знакомятся с интернет-версиями его статей". В своих известных мемуарах Ст. Куняев рассказывает, как во время его поездки в США к нему в гостиницу пришел работающий в "Голосе Америки" Б.Парамонов с просьбой дать ему интервью, на что Станислав Юрьевич отвечал, что с клеветником и подлецом он не желает иметь никакого дела. И правильно поступил, иначе и нельзя разговаривать с этим отъявленным русофобом, извращенцем, который свою патологическую извращенность переносит на исторических героев России. Не в этом ли видится Елиной привлекательность этого "дразнящего, эпатирующего" борзописца? Есть одно признание его, на котором, пожалуй, стоит остановиться для уяснения одного немаловажного вопроса. В свое время в журнале "Звезда" (1991, № 1) Б.Парамонов опубликовал статью "Портрет еврея. Эренбург". Смысл ее сводится к такому

заключению: "Сфера еврейства - это гений, а не культура. Можно заметить игровое, ироническое отношение евреев к их собственной культурной деятельности". Это и доказывается на примере Ильи Эренбурга, поучительность пути которого видится не в литературной деятельности, бывшей для него игрой, а в том, что он, несмотря ни на что, остался евреем!

И не такова ли роль многочисленного племени иронистов и в нашей литературе, иронистов не только по "жанру", по складу мышления, но и по отношению к своей "литературной деятельности". И вот герои Елиной - все эти ловкачи по части "иронического подтекста", "саркастического цитирования", "эзопова языка", "тусовок", "приемов оглупления" текста и т.д. - сами принимают свое "творчество" за игру, а их поклонница силком тащит озорников в "историю русской критики".

Впрочем, Елена Генриховна, столь неравнодушная к "запретному творчеству" перебравшихся в Америку генисов - вайлев - Парамоновых и прочих могла бы поинтересоваться творчеством самих американских писателей, которые пополнили бы и обогатили коллекцию любимых ею иронистов. Правда, с обратным, чем у нее, знаком. Так, в романе Томаса Вулфа "Домой возврата нет" сатирически выведен некий Свинтус Лоуган, создатель цирка проволочных кукол, бездарные, нелепые представления которого объявлены прессой величайшим открытием: "Никогда еще со времен Чаплина искусство трагического юмора не достигало в пантомиме столь несравненных высот". Есть одна любопытная черта фабрикации этого очередного гения, о котором в романе Томаса Вулфа говорится так: "И так же, как для них (Пикассо, Бранкузи, Утрилло, Гертруды Стайн. - М.Л.), для мистера Лоугена и его искусства требовался особый словарь; чтобы рассуждать о них со знанием дела, нужно было владеть особым языком, в котором тончайшие оттенки становились день ото дня недоступней для непосвященных, по мере того, как критики старались перещеголять друг друга в постижении глубин и головокружительных сложностей, бесконечных нюансов и ассоциаций, порожденных Свинтусом Лоугеном и его кукольным театром".

О, этот "особый словарь", "особый язык", недоступные для "непосвященных". Стихотворец Ю. Кублановский, говоря о "простоватой, прямой, местами нравоучительной поэзии" Твардовского, добавляет, что он вряд ли задумывался над секретом "с двойным и тройным дном лирической речи". Что для самого Кублановского означает секрет "лирического дна", видно из таких его виршей: "Я тогда пред Богом выступлю, попрошусь к нему на дно". Зато стихотворцев советского периода этот знаток "дна" глумливо помещает в "советский поэтический зоопарк" (журнал "Новый мир", 2002, № 7). Отправной точкой для этого "зоопарка" послужил приводимый Кублановским рассказ Д.Галковского о книгах советских авторов, "связанных с отцовской жизнью, такой же, в общем, никчемной и всем мешавшей". Отец Галковского собирал библиотеку советской поэзии, после его смерти сын, перебирая сотни сборников, стал "вырывать для смеха наиболее понравившееся". Кипа вырванных листков составила антологию, названную Потрошителем "утко-речь". То есть говорить так, как "крякает утка", "без включения мозга". Это "кряканье" Кублановский называет "продукцией Иванов бездомных".

Мне вспоминается разговор с Вадимом Кожиновым о вышеупомянутом Потрошителе. В январе 1993 года в группе московских литераторов мы были с ним в Вологде, и вот, сидя в ресторане за одним столом, я спросил у него, читал ли он, как распоясался его протеже (т.е. Галковский), требуя высечь Белова, других "деревенщиков", как крепостных. "Вот его-то и надо высечь, смердяковца!" - возмущался я. Вадим Валерианович написал что-то хвалебное об этом авторе, и ему, конечно, неприятны были мои слова, но он в ответ как-то смущенно улыбался, ничего не говоря (я не раз замечал в нем эту трогательную для меня внутреннюю деликатность в "горячем" споре). Такие, как Галковский, говорят и пишут, конечно, "с включением мозга", более того, под их черепной коробкой не просто извилины, а сплошная мозговая опухоль, без единого, впрочем, живого, духовного участка, дающего жизнь мысли, чувству (к тому же этим мозговикам даже не ведомо, что средоточие духовности, высшего сознания - не их надменный мозг, а нечто иное, им не совсем понятное - сердце). Но все это

не мешает им кичиться своим мозгом и считать "Иванов бездомных" безмозглыми дураками.

И достается даже нашим гениям. Вот как разглагольствует о Сергее Есенине тот же Кублановский: "У Есенина непозволительно много неряшливого и необязательного. Есенин дал "код" легиону стихотворцев, особенно провинциальных". (Интервью в газете "День литературы", 2003, №6). Что тут можно сказать? Когда человек понимает, любит поэзию, обладает культурой, он благоговеет перед тем, что в поэзии от Бога, так Пастернак, сам большой поэт, писал: "Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией". Пастернак сознавал недостижимость для себя этого "моцартовского начала", к которому он так стремился со второй половины своей творческой жизни. Есенин с его пронзительной искренностью затрагивает самые заветные струны русской души, выводит нас в стихию русской жизни с ее светлыми и трагическими сторонами, своим интуитивным прозрением подводит нас к тайнам бытия. Есенин стал проявителем в нас генов русскости, по степени любви к нему народа он может быть сравним только с Пушкиным.

И кто же тот "ряшливый", который так чванливо обвиняет великого русского поэта в "неряшливости"? Прочитав большой сборник Кублановского, я вспомнил такую строчку из "рождественских стихов" его друга Бродского: "Таков механизм Рождества". И то же самое здесь- о чем бы ни писал "ряшливый" - о "лирическом" ли, историческом, политическом и т.д. - все расчетливо "сделано", "подогнано", рассмотрено со всех сторон, нет ли прорех, приглажено и - механизм готов. Где же пресловутое "двойное, тройное дно лирической речи" в таких, к примеру, типичных для него стихах:

Уже светает, припозднился:
листва осыпалась дотоле.
Когда-то ведь и я родился
при Джугашвили на престоле.

И это - из "лучших стихов", опубликованных в "Антологии русского лиризма" (т. 2, 2002 г.)

Двойное дно, конечно, есть: вроде бы не чужд интереса к истории России, но тотчас же ощетинивается против "державных амбиций", которые для него связаны с "параноиком Сталиным".

Наградив недавно Кублановского своей гулаговской премией, Солженицын расхвалил его "упругость стиха, смелость метафор, живейшее ощущение русского языка". Думается, что так может сказать только человек, сам отвыкший после американской жизни писать по-русски, угощающий ныне здешних читателей языковыми мутациями (о чем я подробно писал в свое время) Более объективными, пожалуй, здесь показались бы слова Бабеля в его рассказике "Ги де Мопассан": "Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно - так, как писали раньше евреи на русском языке". И не только "раньше". И не всегда "правильно".

В теперешнем своем положении "победителей" кублановские готовы загнать в "поэтический зоопарк" и нашего великого поэта Сергея Есенина, всерьез полагая, что им, самозванцам, пришло время царствовать не только в экономике, но и в русской классике, а что уж говорить о какой-то критике...

Но зададимся вопросом: что такое учебник? Объективное изложение материала по соответствующему предмету, в данном случае - той же истории русской литературной критики, того же периода 60-80-х годов. Например, о журнале "Молодая гвардия", ее литературной критике существует огромная литература, как у нас, внутри страны, так и за рубежом. Обстоятельнейшее исследование "молодогвардейской критики" содержится в частности, в вышедшей в Германии, а затем в 1997 году в переводе на русский язык в Москве книге немецкого историка Дирка Кречмара "Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко (1970- 1985 гг.)", выходят другие серьезные работы, пишутся

диссертации о "Молодой гвардии", ее критике. И это не случайно, ибо в течение всей второй половины 60-х годов и позднее в центре общественного внимания, идеологической борьбы была именно "Молодая гвардия", ее патриотическое направление, вызывавшее беспрерывные нападки, преследования со стороны космополитической, официозной прессы, русофобов из ЦК партии, вроде А. Яковлева. Тот же восхваляемый Елиной "либерально-демократический" "Новый мир" тем и прославился в 60-е годы, что злобно травил "Молодую гвардию". В "Новом мире" (1969, №4) была опубликована доносительная статья А. Дементьева, где авторы "Молодой гвардии" (в их числе и я за статью "Просвещенное мещанство") обвинялись в "ревизионистских и догматических извращениях марксизма-ленинизма", проповеди идеологии, которая "несовместима с пролетарским интернационализмом". И за всей этой марксистской, официозно-партийной фразеологией скрывалась главная начинка статьи - ее антирусскость, обвинение молодогвардейцев в "русском шовинизме", "национальной ограниченности и исключительности", в вину "Молодой гвардии" ставился интерес к "реакционным славянофилам", которые именовались мыслителями в кавычках. Эти же обвинения в адрес "реакционной, шовинистической" "Молодой гвардии" повторялись в письме "От редакции", опубликованном тогда же в "Новом мире".

Статья А. Дементьева в "Новом мире" станет сценарием для другой известной статьи - А. Яковлева "Против антиисторизма", которая появится спустя два с половиной года в "Литературной газете" (15 ноября 1972 года) и повторит с еще большей оголтелостью "кредо" русофобов. Первым обратил на это внимание Ст. Куняев ("Московский литератор", 12 января 1990 г.). Да и сам А. Яковлев в своей недавно вышедшей книге "Омут памяти" (М., "Вагриус",2000)признает: "Моя статья, как и статья А. Дементьева, была выдержана в стиле марксистской идеологии. Я обильно ссылался на Маркса и Ленина, и все ради одной цели - в острой форме предупреждал общество о нарастающей опасности великодержавного шовинизма, местного национализма и антисемитизма. Критиковал Лобанова, Чалмаева, Семанова и других апологетов охотнорядчества". А. Яковлев навешивает ярлыки, не приводя ни одного примера, ни одной цитаты, которые бы оправдывали употребление этих ярлыков.

Годы "перестройки", "демократических реформ" обнажили подлинную суть "Нового мира", которая в 60-х годах камуфлировалась "гуманистической" демагогией. Либеральное прошлое журнала (при Твардовском) получило дальнейшее развитие в нынешнем откровенном, бесстыдном служении разбойничьим "реформам", криминальному капиталу, экспансионистскому американизму - неслучайно главным "спонсором" "Нового мира" стал Сорос.

Таковы факты. Но до них нет никакого дела упомянутой Елене Генриховне. Как нет никакого дела ей до истинной роли журнала "Молодая гвардия", ее критики - о ней даже не упоминает "новомировская воспитанница". Но отчего же до сих пор дают о себе знать отзвуки той патриотической критики? Ведь до сих пор не дает она покоя главарям "перестройки", "демократам-оборотням", судя по нынешней злобной реакции на "молодогвардейские" статьи сорокалетней давности?

Занятая "подаванием знаков своим", Елина совершенно не касается этапных моментов в развитии литературной критики 60-80-х годов (теперь уже прошлого века). Не упоминается дискуссия о славянофильстве в 1968 году на страницах журнала "Вопросы литературы" в связи с явным симптомом новых явлений в литературе и критике 60-х годов. Ни словом не говорится о вышедших в 70-х годах в серии "ЖЗЛ." книгах о Гончарове, Островском, Достоевском, вызвавших в печати резкие нападки на их авторов "за внеклассовость", "за отход от позиции революционных демократов". Долгое время эти книги были предметом идеологических обвинений, дискуссий (от статьи "А было ли "темное царство"?" в "Литературной газете" в марте 1980 года, "круглого стола" в "Вопросах литературы" (1980, № 9) до множества других публикаций в газетах и журналах). Ни слова не говорит Елина и об истории статьи "Освобождение" в журнале "Волга" (1982, № 10) по поводу романа М.Алексеева "Драчуны" - о голоде в Поволжье в 1933 году. Как известно, эта статья по

инициативе тогдашнего Генсека ЦК КПСС Ю. Андропова была осуждена в специальном решении ЦК партии как "ошибочная", и это решение стало для всех идеологических служб страны, литературных учреждений и органов, высших учебных заведений "руководством к действию". Автор статьи подвергся обструкции (статья в "Литературной газете" в начале января 1983 года "Освобождение"... от чего?", секретариат Союза писателей России в феврале 1983 года и т.д.). Кстати, Ю. Андропов дал указание партийному руководству Саратова (где издавался журнал "Волга") "разобраться на месте и принять меры". Те, уж конечно, постарались разобраться. Местные писатели громили не только меня, как автора статьи. Но и главного редактора журнала "Волга" Н.Е. Палькина, который был снят с работы. Не могли по правилам того времени остаться в стороне от битья лежачего и преподаватели Саратовского университета. Кто из вас отличился тогда, "создатели учебника по истории русской литературной критики"?

Пусть теперь мадам Елина назовет в качестве вех какую-нибудь статью журнала "Новый мир" 60-80-х гг., о которой бы вспомнили ныне. "Попробуйте перечитать известных либералов той поры (60-х гг.), например, покойного уже В. Лакшина, пишет критик в газете "День литературы" (июнь, 2003, № 6). - Ведь ныне его многословное прославление "идей XX съезда" невозможно читать. И не нужно". Но с каким придыханием пишет о покойном либерале его поклонница: "Ни один из оппонентов Лакшина не мог дотянуться до заданной высоты, и отзывы звучали словно из другой эпохи, эпохи Ивана Бездомного..." Ну куда уж Иванам до "интеллектуального высотника"! В чем же "недосягаемость" этого критика? "Он любил обстоятельный, аналитический пересказ художественного текста". Дальше этого он и не шел, разбавляя пересказ риторической тягомотиной в духе "демократических идей" XX партсъезда. В конце учебника помещен "задачник" - даны "развивающие задания" по "текстам разных авторов и разных эпох" - "от Ломоносова до наших дней". Наиболее "важные" задания помечены "звездочками", всего их двадцать из семидесяти, и отличаются они от прочих заданий тем, что "способны пробудить самостоятельный поисковый интерес читателя и оказаться началом увлекательного исследовательского маршрута, связанного с различными направлениями в истории и теории литературной критики". Не удостоились "звездочек" ни Пушкин, ни Белинский, ни другие русские классики, значит, "не способны пробудить самостоятельный поисковый интерес читателя" и т.д. А вот задание по Лакшину - под "звездочкой". Чем же он "способнее" классиков? А вот чем. Приводится отрывок из его водянистой статьи-пересказа "Иван Денисович, его друзья и недруги" - о повести Солженицына. Цитируются довольно стилизованные под "народность" слова героя повести Шухова о бригаде зэков, как "семье большой". И далее идет такое рассуждение критика: "Конечно, важную роль играет тут материальная сторона дела: при общей оплате за труд возрастает и взаимозависимость. Но возникающее в бригаде чувство трудового товарищества не сводится только к этому... Шухов принимает как закон жизни эту трудовую солидарность и - пусть это выглядит еще одним парадоксом - стихийно рождающееся чувство коллективизма. В отношении людей точно сами собой возникают черты и свойства, характерные для свободного социалистического общества..." Вот вся "мудрость" этого "развивающего задания" под "звездочкой". Что это, пародия на критику или головокружение от зрелища банальной "высоты"? Не говоря уже о том, как фальшивы слова о "свободном социалистическом обществе" в отношении повести Солженицына, ярого ненавистника социализма.

Вадим Кожинов назвал как-то печатно Лакшина не критиком, а телевизионным комментатором, экскурсоводом по литературе, по писателям, и это справедливо. И ничего обидного в этом нет: у человека - свое дарование, популярно-просветительское. И напрасно Владимир Яковлевич сильно тогда обиделся и навел напраслину также печатно на Вадима Валериановича (и заодно с ним на меня) как на врагов "перестройки". В литературе, критике не должно быть места обиде, надо выбирать что-то одно: быть или модным популяризатором, или немодным литературным критиком. Или витийство на телеэкране, или творчество.

По такому же рецепту фабрикуются Елиной и другие критические гении. Приводятся слова упомянутых выше Вайля и Гениса о некоем А. Белинкове: "В Белинкове увидели еще один вариант "Нового мира". Белинков насытил повествование множеством иронических приемов. Для создания иронического поля он применял особую поэтику, сноски, знаки препинания, скобки, многословие, буквализм, тавтологию, педантические дефиниции, абзац". Только паразитированием на подобного рода "приемах" и может "блеснуть" в критике эта публика, вызывающая тошноту своим "иронизмом".

Можно понять "либерал-демократку" Елену Генриховну, чем милы ей избранники ее пера, которым она отводит "персональные" лавочки в своем театре кукол (наподобие цирка проволочных кукол Свинтуса). Вот, И. Дедков, хрущевец, чокнутый на всю жизнь "демократией" кукурузника. Здесь бы и привести его "текст" на сей предмет, видно бы было, на что способны, какие "перлы гражданской поэзии" могут выдать певцы "свободы" (любимое словцо этого критика). Но дается другое: "Дедков открыто выступал против внедрения в массовое сознание понятия "русофобия". Он говорил, что такое слово русскому мужику неизвестно. Что оно родилось в воображении литераторов, стремившихся всю сложность и противоречивость российской действительности- объяснить влиянием чужеродных элементов". Для подтверждения "мастерства" критика можно и не найти примера, другое дело - "намек", "подтекст", "подать сигнал своим" - как в данном случае с "русофобией". Этим и мил критик, за это его и сажают на "персональную лавочку".

В этой "персоналии" числятся и С. Рассадин с его "всевозможными ироническими пассажами в адрес откровенной пошлости"; и "сторонник либерально-демократических ценностей" Б. Сарнов; и В. Кардин, который "иронически строг без оглядки на авторитеты"; и Л. Аннинский с его "ядром ореха" и "парадоксами", с его "философской антитезой" еврейской активности, энергичности и русской пассивности, вялости - в ленинской традиции "умников" и "дураков"; и И. Виноградов, который "придерживается религиозного миросозерцания". Какого? Ведь в своем журнале "Континент" этот агитатор "разгосударствления" выступает и за "расправославливание", считая, что традиционное православие устарело и нуждается в "прогрессивном" развитии. Удивительно, что этого "прогрессиста" поддерживал, финансируя его журнал, руководитель известного (лопнувшего после "дефолта" 1998 года) Инкомбанка Виноградов - с репутацией "православного". Вот вам и надежда на "предпринимателей-патриотов", не очень зрячих в вопросе, кого следует поддерживать.

Наследниками этого старшего поколения "иронистов" и "прогрессистов" представлены у Елиной их внуки - целая армада молодых "интеллектуалов" 90-х гг., дождавшихся, по ее словам, "невиданной свободы", шарашка "постмодернистов", с их "стебовым", "клевым" жаргоном, пошлыми "интеллектуальными" вывертами. Недавно по телевидению (где-то в августе сего года) я случайно наткнулся на передачу о "вундеркиндах". В кресле сидел, развалясь, похожий на старичка еврейский мальчик и, не по-детски улыбаясь, отвечал ведущему, что да! Он считает себя вундеркиндом. А рядом сидевшая мать его, с каким-то плотоядным умилением любуясь своим отпрыском, говорила, что сын ее - очень, очень талантлив, но это не мешает ему быть ребенком. Тут же "вундеркинд" спел слабеньким голоском песенку на итальянском языке, не вызвав никакого восторга присутствующих, но зато возбудив новый прилив умиления на физиономии матери. Вот с таким же плотоядным умилением говорит о своих великовозрастных критических детках Елина, выдавая за таланта посредственность. Как восторгается она фокусами своих подопечных, вроде такого: "В сборнике "У парадного подъезда" (1991) А. Архангельский аллюзивно соотносит заголовки своих статей с известными цитатами: "Чего нам не дано" (отклик на перестроечный публицистический сборник "Иного не дано"), "Только и этого мало" (сборник Арсения Тарковского "Только этого мало"), "Размышление у парадного подъезда", "Пародии связующая нить", "О символе бедном замолвите слово" и, наконец, перефраза печально известного заголовка статьи в "Правде", громившей оперу Шостаковича "Музыка вместо сумбура". Такие ориентиры на клише и цитаты недавно прошедшей эпохи, включенные в

тексты литературно-критических статей, создают особенный, узнаваемый стиль девяностых".

И эти серийные игроки именуются как "очень яркие критические индивидуальности. Эти авторы оказываются исключительно притягательными своей эрудицией, чувством юмора, игровой легкостью письма", своим "текстом". Кстати, слово текст повторяется у Елиной бесконечное число раз, буквально не сходит со страниц - в применении ко всем и ко всему: все одинаково "текст" - русский ли классик, художественное ли произведение или же это изобретатели "Закона инсталляции" ("когда текст состоит из суммы цитат, клише, фраз из анекдотов, высокопарных стихов из стихотворений советских времен"). Здесь и речи нет о критериях, о каких-то традиционных духовных ценностях, ни в чем нет различия и все покрывается неким "текстом", долженствующим все смешать и устранить серьезное, осмысленное отношение к слову.

Если судить по кругу интересов "постмодернистов" (и названной поклонницы их), то в литературе нет ничего, кроме словесной игры, "тусовок", обсуждений порнографических изделий и т.д.; что "русская классическая литература сошла со сцены", реализм "умер", социальность - это атавизм в литературе. Умники, видно, хорошо знают недавно принятый, подписанный Путиным Закон об экстремизме, по которому как преступление квалифицируется "разжигание социальной розни", "вражды в отношении какой-либо социальной группы" - то есть ворья сверху донизу, ограбившего народ, его убийц в проводимой политике, практики геноцида - такой неприкосновенности "социальной группы", бандитов не было и нет в законах ни одной из стран мира. И, конечно же, нынешнему режиму очень на руку, чтобы в литературе не было и помину о социальности, о настоящем положении дел в стране, об угнетенном народе, об "униженных и оскорбленных". И "новой, демократической литературе" это явно по душе. Для той же Елиной не существует никакой социальности, раз только упоминает она это слово, иронизируя над "социальным заказом". А вот даже такой поэт, как Блок, с его безграничным "духом музыки" призывал писателей не забывать о "социальном неравенстве".

"Знание о социальном неравенстве есть знание высокое, холодное и гневное" (Блок А. Собр. соч. В 8 т. М., 1962. Т. 6. С. 59). Тем более в наше время. Ныне как никогда современны слова Белинского "социальность или смерть!". Тем более что страна, народ приговорены к смерчи, беспощадно уничтожаются сатанинскими силами. И может ли писатель, если он неравнодушен к России, быть не социальным?

Газета "Российский писатель", 2003, октябрь, № 19

Из литературного прошлого

Первые годы "Литературы и жизни"

В газету "Литература и жизнь" я пришел в мае 1958 года из "Пионерской правды", где проработал два года заведующим отделом литературы и искусства. После болотной заводи пионерской газеты я попал на самый стрежень литературной реки. Недавно был создан, наконец-то, Союз писателей РСФСР (такие писательские союзы давно уже были во всех республиках страны), и его печатным органом стала газета "Литература и жизнь". Выходила она три раза в неделю, столько же и такого же формата, как и "Литературная газета".

Начну с рассказа о редакционной среде, о литературной атмосфере того времени. Главный редактор "Литературы и жизни" Виктор Васильевич Полторацкий был известным журналистом, очеркистом. Любимый герой его очерков - знаменитый тогда председатель колхоза на Владимирщине Герой Социалистического Труда Горшков, кстати, этого выдающегося колхозного организатора не обошел своей руганью Солженицын, для него он - знак ненавистной ему системы. Полторацкий, будучи главным редактором "Литературы и жизни", был искренне убежден, что газета должна занимать твердую партийную позицию, и

это не было идеологической зашоренностью, а соединялось в нем с патриотизмом - русским, советским. Когда его дочь Татьяна вышла замуж за писателя-диссидента Владимира Максимова и вместе с ним уехала во Францию, Париж, он принял это как удар по его репутации коммуниста, патриота, тяжело переживал случившееся. А у меня с Виктором Васильевичем связан эпизод, ставший в моей памяти как нечто духовно интимное. Одно время, в 1963 году, мы оба, уже не работая в "Литературе и жизни" (он ушел перед пенсией в свои "Известия", где прежде работал), короткое время вели вместе семинар в Литературном институте. И вот однажды, после очередного занятия Виктор Васильевич пригласил меня к себе домой. За рюмкой водки он увлекся рассказом о некоем средневековом алхимике и начал мне читать стихотворение о том, как в спящем Аугсбурге не спит только один старик, колдующий над ретортами; забыв обо всем, он одержим одной страстью - мыслью, как перед ним в огне "родится желтый философский камень" и он одарит бедных богатством, бесправных - полнотою власти, больных - здоровьем, одарит людей самим бессмертием. Над ним смеялись соседи, писали доносы фискалы,

А он искал. И, тяжело дыша,
Тянул к огню хладеющие руки,
И плакал, задыхаясь. И душа
Была полна отравой сладкой муки.

- Это я вам посвятил "Старую историю", - закончив читать, тяжело дыша, страдая от астмы, проговорил Полторацкий и, достав свой неразлучный прибор, начал, широко открывая рот, втягивать с шумом в себя воздух, глядя на меня уже не с обычной своей непроницаемой, как маска, улыбкой, а с мучительным выражением на лице.

Как-то недавно, перелистывая сборник стихов Виктора Васильевича, я наткнулся на "Старую историю", и души коснулась та самая "отрава сладкой муки" - от скоротечности времени, от воспоминания о том вечере у него дома, когда он читал, задыхаясь в приступе астмы, такой не похожий на редакционного Полторацкого с его словословием председателя колхоза Героя Соцтруда Горшкова, со ссылками на указания ЦК.

Заместителем главного редактора газеты был Евгений Иванович Осетров. Почти мой ровесник (на два года с лишним старше меня), он уже имел опыт номенклатурного работника, пришел в газету из Академии общественных наук при ЦК КПСС, до этого работал заместителем редактора областной газеты во Владимире. Как-то, столкнувшись со мной в коридоре, он пригласил меня зайти к нему в кабинет и там, усевшись за письменный стол, открыл ящик, достал из него книгу, быстро подписал и, передавая ее мне, просил спрятать. Книга называлась "Ветка Лауры". Прочитав ее, я не нашел ничего такого, что могло бы стать поводом для конспирации при вручении ее. Вообще, было что-то милое в том, какие мысли зрели в наступавшем иногда кабинетном одиночестве всегда занятого Евгения Ивановича и с какой важностью он изрекал их собеседнику. Шагая из угла в угол комнаты, поджав губы и глядя перед собой с какой-то комической строгостью, он произносил со своим осетровским грассированием, что "нет большего товарища и друга, чем книга!" и т.д. В самом начале 1960 года в "Литературе и жизни" была опубликована моя статья о Чехове в связи со столетием со дня его рождения. Уже после выхода газеты Евгений Иванович у себя в кабинете говорил мне с деланым ужасом: "Вы назвали сторожа в "Палате № 6" "тупым Никитой". Читатель знает одного Никиту, Никиту Сергеевича Хрущева, и подумает, что это он - тупой Никита".

Признаться, мне и в голову не приходил Хрущев, когда я писал о чеховском герое по имени Никита - грубом, тупом стражнике доктора Рагина, запрятанного в палату для психических больных. Хотя и время тогда было вроде бы и "оттепельное", но играть в такие штуки, в намеки на вышестоящую тупость было чревато. Осетров, при всей своей книжности, был бдителен на сей предмет.

После "Ветки Лауры" стали систематически выходить другие книги Осетрова, и он уже

не прятал их в столе на работе, извлекая с оглядкой на двери и при дарении, а раздавал их направо-налево, как "друкар Иван" (из названия его книги о первопечатнике Иване Федорове). У Евгения Ивановича была "одна, но пламенная страсть" - к книге, к книжному собирательству. Не случайно впоследствии он стал бессменным главой Клуба книголюбов (теперь носящего его имя) и главным редактором "Альманаха библиофила". Я благодарен ему, что он привел меня в дом известного старообрядца Михаила Ивановича Чванова, под Москвой, где я был поражен увиденным сокровищам из старинных книг, инкунабул, рукописей, глядевших с полок, как золотые слитки. Осетров был, можно сказать, "очарованным странником" в книжном мире, и это сказывалось во всем, о чем бы он ни писал. А писал он о народной культуре и художественных промыслах, о "гуслях-самогудах" и о "Руси изустной, письменной и печатной", о Москве и Кремле, "этюды о книгах", "записки старого книжника". С книголюбием было связано и осетровское "Познание России" (название его книги). Человек добрый, миролюбивый, он содействовал благоприятной рабочей обстановке в редакции газеты.

Другим заместителем главного редактора "Литературы и жизни" позднее стал переехавший в Москву из Ленинграда Александр Львович Дымшиц. С крутым животиком, с ласковым, когда надо, взглядом, обходительный, Александр Львович внес в газету ноту партийной непреклонности с тактическими комбинациями. Однажды он попросил меня написать статью о К.Симонове. "Очень важно, чтобы написали Вы", - говорил он с доверительным оттенком в голосе. Я вежливо отказался. Как фронтовик, я не верил Симонову, писавшему о войне. Эта псевдорусскость героизма солдат, которые умирают в бою, "по-русски рубашку рванув на груди". Конъюнктурная "перестройка" в оценке военных событий после "разоблачения культа личности" Хрущевым на XX съезде партии. Это наговаривание своих романов на диктофон, когда автору не до вживания в психологию, душевное состояние героев, не до правдивого, точного слова. И сам "образ жизни" в военное время этого любимца командующих фронтами и армиями, не знающего, что такое передовая, смертельная опасность на войне. Нет, не мог я и не стал писать о Симонове, это, впрочем, не повлияло, как мне казалось, на доброжелательное отношение Александра Львовича ко мне. Он не разглядел меня и тогда, когда уже позже в своей статье о современной критике (напечатанной в "Огоньке", № 41, 1966) писал о моей борьбе с критиками-нигилистами, навязывающими русским мыслителям чуждый им дух индивидуализма, разрушительного западничества, когда приводил мои слова о том, что в литературе наступает время "сильных духом". Для него эти "сильные духом" были в каком угодно смысле, только не в моем (национально-патриотическом). Вскоре он понял это, как и для меня стало понятнее, что лучше всего в литературе, как и в жизни - определенность отношений.

Как заведующий отделом литературы и искусства, я отвечал и за критику. Но постепенно Александр Львович как-то так незаметно подвел дело к тому, что под предлогом заботы обо мне ("рабочая перегруженность") вывел рецензирование книг из моего отдела, поручив вести это дело своему доверенному лицу Лине Ивановой (вскоре она умерла от рака крови в конце 1963 года). Впрочем, проблемными статьями по-прежнему занимался наш отдел.

Ответственным секретарем газеты был Михаил Ильич Марфин. Человек спокойный, очень добрый, с мягкой, чуть смущенной улыбкой, видимо очень домовитый, потому что после работы всегда заходил в магазин что-то купить для семьи. И как же все мы в редакции удивились, когда приглашенный на праздничный вечер автор газеты, генерал, рассказал о героизме Михаила Ильича, который воевал в Севастополе и покинул его в числе последних.

Коротко скажу о тех, кто работал в отделе литературы и искусства. Юрий Мельников, поэт, фронтовик, участник Парада Победы на Красной площади. Писал в основном военные стихи с ударными концовками, вроде: "Солдаты встают по тревоге, чтоб не было в мире тревог". Михаил Жохов, самый старший из нас, всегда прикованный к столу с рукописями, с любимой темой разговора о своих земляках - ивановских поэтах, о Фурманове, о которых собирал материал для книги. Андрей Фесенко, несколько надменный, влюбленный в свои

рассказы, которые любил читать сотрудницам газеты. Леонид Елисеев, еврей из Киева, пришел в газету после окончания Высших литературных курсов, впоследствии вернулся в родной Киев и умер от рака. Помню его фразу - единственное из всего, что говорилось на первом сборе нашего отдела в моем кабинетике на шестом этаже: "Давайте нам указания!" И с таким серьезным видом сказал это, как будто речь шла не о газете, а о каком-то рейде в тыл врага. Были еще в отделе Юрий Семенов, своим сбивчивым, путаным говорком между делом вдруг объявит о добытых им новых фактах для своего документального романа о чекистах. Подругами держались Валентина Погостина - племянница главного редактора Полторацкого и Наталья Бабочкина - дочь артиста, исполнителя роли Чапаева. Обе дружно, с увлечением занимались темами искусства. Позже пришел в отдел Павел Исаакович Павловский, фронтовик, офицер-артиллерист, огласивший кабинеты, коридор своим великолепным баритоном, он стал, можно сказать, чрезвычайным и полномоченным послом отдела по особым поручениям, то бишь по организации статей, бесед с почтенными авторами, "начальниками литературы". К тому же вошел во вкус писания сценариев по книгам писателей - от Тургенева до Чаковского. Пьеса о Тургеневе и актрисе Савиной ставилась в театрах и пользовалась успехом.

Редакционная жизнь кипела. Приезжали из крупных городов собкоры газеты, в зале на шестом этаже рассказывали о литературной жизни на местах, о писателях. Собкор по Ленинграду, забыл фамилию, живописно представлял писателей, усвоивших стиль мужества героев "дяди Хэма", модного тогда Хемингуэя: Юлиан Семенов "со товарищи" молчаливо ходят по перрону вокзала в ожидании отправления поезда в Москву. Прощаясь, сурово обнимаются, не выказывая никаких эмоций, выдерживая мужество дружбы. Другие собкоры отводили душу в своем изустном даре, если не дано письменного. Сидевший на сцене во главе стола Евгений Иванович Осетров, заключая собрание, пафосно изумлялся красноречию выступавших, добавляя, что вот если бы еще так же хватко писали.

Проводились живые редколлегии. Из Ленинграда приезжал Михаил Дудин, прямой, улыбающийся, со снисходительной ноткой в разговоре с "малыми сими". На ходу выдавал стихотворные экспромты, вызывая смех присутствующих. Ефим Николаевич Пермитин, сибиряк, автор романа "Горные орлы", заядлый охотник, крепыш, и в свои шестьдесят с лишним лет писал в это время свои воспоминания и рассказывал истории из прошлого. Как, оказавшись на Лубянке, он и его сокамерники молили Бога, чтобы не попасть к следователю-женщине, наслышаны были об их особой жестокости. Слушая внимательно других, тихим внушающим голосом входил в беседу Виталий Сергеевич Василевский. На него я, как завотделом, мог рассчитывать на поддержку в публикации серьезных материалов. Так, мне хотелось опубликовать большую статью известного литературоведа Леонида Ивановича Тимофеева, которому я обязан вниманием ко мне во время моей работы над кандидатской диссертацией о творчестве Л.Леонова (вышла книгой "Роман Л.Леонова "Русский лес"). Статья его была трудной по языку, не газетной, но мы с Виталием Сергеевичем добились того, что она была напечатана в "Литературе и жизни", и правильно сделали. Ибо автор статьи - крупная личность, угадываемая даже и за "трудным" языком, а впоследствии в выступлениях Леонида Ивановича было явно видно - какая это действительно крупная личность и как гражданин-патриот (его дневники военных лет), и по высокому уровню культуры (его защита Есенина, как великого поэта, от вульгарно-социологического подхода Твардовского во время обсуждения проекта собрания сочинений Есенина).

Когда вышел альманах "Тарусские страницы" и вокруг него поднялся литературный шум, Виктор Васильевич Полторацкий подготовил редакционное письмо, которое обсуждалось на заседании редколлегии газеты. Чувствовалось, что писал этот документ В.В. с оглядкой на недавно опубликованное в печати письмо членов редколлегии журнала "Новый мир" Б.Пастернаку, которые отклонили его роман "Доктор Живаго" как антисоветский, враждебный идеям Октябрьской революции. Письмо же В.В. было обращено к К.Паустовскому, жившему в Тарусе (и вокруг которого группировались авторы типа

будущих "метропольцев" и "апрелевцев"). Было в том письме слово "ахинея" - об одном высказывании Паустовского, резанувшее тогда мой слух какой-то доморощенностью, "некультурностью". А позже понял - если это ахинея - то зачем же искать другое слово? Скажем, если человек всю жизнь писал красивости и ничего другого не замечал - ни великих событий в жизни страны, ни страданий народа - разве это не ахинея? На другой редколлегии - подготовке редакционной статьи в связи с вышедшим сборником о Маяковском член редколлегии Виктор Петрович Тельпугов о критике, близком к Брикам, молвил как всегда умиротворенно: "Путаник". Такова была здесь всем понятная лексика...

Вызывали меня иногда в ЦК, на Старую площадь. Курировавший газету Колядич, инструктор, давал идеологические наставления. Как-то заговорил на неожиданную тему: "Надо воспитывать у читателей газеты эстетический вкус. Вот галстуки - это ведь тоже эстетика. Здесь нужен вкус. А какие у нас в магазине серые галстуки. Кто об этом должен говорить? Газета!"

Однажды пришел я в дом на Старой площади по вызову зав. отделом агитации и пропаганды недавно созданного бюро ЦК КПСС по РСФСР тов. Кузьмина. Вхожу в кабинет и вижу, как сидящий за столом что-то рисует на бумаге. Видимо, скучал до этого; это меня почему-то сильно удивило.

Ох, сколько раз приходилось мне впоследствии - от второй половины 60-х до первой половины 80-х годов бывать в коридорах, кабинетах этого знаменитого цековского дома на Старой площади! И как члену редколлегии журнала "Молодая гвардия", и как автору почвеннических статей, бичуемых в прессе; и как автору "идеализирующей прошлое" книги А.Н. Островский (серия "ЖЗЛ"), и осужденной решением ЦК КПСС статьи "Освобождение". Был у инструкторов, зав. секторами, чаще всего у зам. зав. отделом культуры Альберта Беляева, грозившего мне суровым наказанием, "если не сделаете выводов из партийной критики". Был у ответственного работника отдела агитации и пропаганды Чиквишвили, передавшего мне готовность своего шефа А.Н. Яковлева принять меня, от чего я увильнул. Был в числе других членов редколлегии журнала "Молодая гвардия" на приеме у секретаря ЦК КПСС П.Н. Демичева. Обо всем этом я подробно рассказал в своей книге "В сражении и любви" (2002). И вот теперь, уже в новой "демократической" России, читая выпущенное в 2002 году "Библиотекой "Единой России" трехтомное издание "Идеи. Люди. Действия", я живо представляю, как изготовители этого сборника, резвые молодые идеологи в джинсах, бегают по ковровым дорожкам знакомых мне длинных коридоров, отсеков, на ходу обмениваясь хохмами, "подавая знак своим".

Недолго бравировали "демократы" якобы отсутствием у них всякой идеологии. И тогда, в самом начале их торжества, идеология, конечно же, была, да еще какая, только не в словесной упаковке, а в самих действиях: в свободе грабить, воровать, подавлять слабого, создавать условия без войны уничтожать по миллиону человеческих жизней в год. Теперь это "право сильных" решено зафиксировать теоретически. Названный выше трехтомник "Идеи. Люди. Действия" посвящен консерватизму. Вчерашние радикалы, певцы "перестройки-революции" объявили себя консерваторами, а своими предтечами такого философа, любимца Гитлера, как Ницше. Таких врагов России, как Дизраэли, Черчилль, Тэтчер, Рейган. И уже, можно сказать, дух этих новых наставников витает в кабинетах и коридорах бывшего ЦК КПСС, где фабрикуется ныне "новая идеология России" - с апологетикой "сильных людей", которые в "зоологический период" до 90-х годов "пробились к ведущим позициям", через трупы своих соперников, и вот эти удачливые уголовники объявлены "элитой нации", опорой и будущим страны.

Простаки вы все-таки были, товарищи цекисты! Не о таких говорю, как "архитектор перестройки" А.Н. Яковлев, как его партнеры из "пятой колонны" на Старой площади. Те отлично знали, что делали. Речь о слабодушных исполнителях. За кем гонялись, кого вызывали для проработки и угроз? И вот кончилось тем, что дети, внуки тех самых, угодных вам тогда "интернационалистов", преследовавших нас, "русистов" (слово Андропова), отпрыски тех самых ваших коллег (американизированных) по партии, по ЦК, ныне варганят

новую идеологию в тех же самых кабинетах, откуда вас выбросили на помойку истории.

***

Было это летом или, быть может, осенью 1958 года. Я приехал тогда в Ростов от газеты "Литература и жизнь" на собрание местных писателей (в преддверии Учредительного съезда писателей РСФСР). Из разговора с Анатолием Калининым, всегда благоволившим ко мне, узнал, что Шолохов находится сейчас в Ростове, и если я хочу, то могу увидеться с ним завтра в одиннадцать часов в гостинице "Дон". "Если хочу!" Помню, как, будучи студентом Московского университета, впервые прочитал "Тихий Дон". Я был потрясен силою изображения, тем, что в наше время живет такой великий писатель. И вскоре, уезжая на каникулы из Москвы в Ростов, где жил мой дядя, глядя к концу пути из окна поезда на движущуюся донскую степь, я все думал о Шолохове, все, казалось, на этой земле соединялось с ним. И, кстати, из-за "Тихого Дона" я после окончания Московского университета поехал работать в Ростов, в редакцию газеты "Молот", но, к сожалению, из-за скрутившей меня болезни, туберкулеза легких, не удалось, как хотелось бы, поездить по хуторам и станицам легендарной земли.

И вот встреча с Шолоховым. "Устроивший" мне ее Анатолий Калинин сам по какой-то причине не пришел, были М.Никулин, А.Бахарев, кто-то еще из местных литераторов. Когда мы вошли в номер, сидевший за столом с каким-то человеком Шолохов поднялся с места, поздоровался с каждым из нас и пригласил садиться. Я, казалось, ничего не видел и не замечал, кроме этого знакомого по портретам лица, поразившего меня своим немного стеснительным, застенчивым выражением. За столом продолжался прерванный нашим приходом разговор Шолохова с соседом, как я понял, земляком-казаком. Говорили они о чем-то хорошо известном тому и другому, казак "шутковал", рассказывая историю, случившуюся со станичником. Шолохов слушал, наклонив голову, улыбаясь, подзадоривая рассказчика вопросами.

Официантка принесла на подносе тарелки с бутылками, но мне было не до угощения. Сам Шолохов ничего не ел, изредка потягивал шампанское из фужера, перебрасывался шутками с Никулиным: оба называли друг друга "Мишами", старший по возрасту Никулин, у которого была какая-то история с белыми в гражданскую войну, держался независимо, ответил громким смехом на дружеский намек Михаила Александровича на его прошлое.

Когда Шолохов говорил, он делал перед собою руками характерные жесты, как будто лепил слова. Я знал, что дед писателя выехал на Дон из наших рязанских мест, и сказал, что мы, рязанцы, считаем его, Михаила Александровича, своим земляком.

- Я казак, - отвечал Шолохов.

Разговор за столом большей частью был "донской", завеселевший шолоховский земляк не держался норм в казацких выражениях, раз и Шолохов употребил крепкое словцо, но сказано это было не вульгарно, не пошло, а с каким-то сдержанным изяществом. Вступать в "казацкий" разговор в присутствии Шолохова мне было трудно. Сидя рядом с ним, я изредка выбирал момент, задавал ему вопросы. Тогда я увлекался романом Леонида Леонова "Русский лес" и мне было интересно знать отношение Шолохова к писателю. Шолохов рассказал мне, как вместе с Леоновым они были на каком-то конгрессе мира, если не ошибаюсь, в Варшаве. Приходит к нему вечером в номер Леонов. Начинает жаловаться: культура не спасла человечество от войны, от газовых камер. Что может сделать хрупкое вещество культуры перед силами зла. Зачем жить. Шолохову надоело слушать, он говорит: иди-ка ты, Леонид, спать. Этот шолоховский рассказ напомнил мне одно место из "Русского леса" (написанного уже после того разговора писателей). Там перед Вихровым открывается в ночной исповеди гостящий у него на лесном кордоне Чередилов: зачем корпеть над наукой, все равно помрешь, зачем жизнь? Вихров в конце концов отвечает на это: "Когда человеку дарят солнце, неприлично спрашивать, к чему оно", - и отправляется спать на сеновал. Послужило ли "прототипом" для этого эпизода в "Русском лесе" то, о чем рассказал

Шолохов. Сама по себе эта история любопытна для понимания того, как может трансформироваться жизненный материал в художественном произведении.

Как-то неожиданно появился вдруг в номере солидный человек средних лет, в огромных очках и представился писателю как министр просвещения РСФСР (не помню фамилию). Цель визита выяснилась сразу же: новый, только что назначенный министр просвещения решил, так сказать, освятить именем Шолохова, его статьей, выход какого-то нового педагогического журнала. Михаил Александрович оказал бы огромную услугу делу российского просвещения, если бы высказался по вопросам воспитания молодежи. Шолохов начал объяснять, что сейчас важно для школы, для учащихся, сопровождая свою речь скупыми "лепящими" жестами рук перед собой. Министр слушал его с почтением, поддакивал, кивал головой, но о статье речь больше не заходила.

Странное чувство близости и недоступности испытывал я, слушая Шолохова, глядя на него. Он был рядом, шутил, и вместе с тем каким-то щитом жесткости отделял от себя. Неуместно, конечно, было говорить ему, как велик его "Тихий Дон", но я где-то сказал в этом роде и остро почувствовал, как ему эти слова глубоко безразличны, сколько он слышал их. Что-то глубоко скрытое было в нем.

Пробыли мы у Шолохова часов семь, и все это время было для меня сплошным переживанием. И когда уходили, я не сдержал режущих слез: видно, глубоко засел до этого во мне образ автора "Тихого Дона", овеянный трагизмом времени, что вот и теперь, при этой встрече, в живом Михаиле Александровиче я видел, может быть, того Шолохова. На другой день Анатолий Калинин передал мне, что Шолохов спрашивал обо мне, сказал добрые слова.

Ну вот, что я вспомнил? Никаких особенных подробностей, ничего вроде бы значительного Но для меня это была глубоко психологическая встреча, и такие обычно не повторяются. Случись это позднее, и я был уже не тот, и мое отношение к Шолохову - более трезвое, не столь восторженное. Но я рад, что была именно такая встреча. От нее осталось немного, может быть, запомнившихся фраз, слов, больше внутренней истории моего "я", но это важно, конечно, только для меня.

***

С началом моей работы в "Литературе и жизни" у меня неожиданно появились некие доброхоты из пишущей братии. Правда, некоторые из них ненадолго оставались таковыми. Так, один из них по фамилии Вадецкий прямо-таки незаметно для меня вошел в роль моего покровителя. Звонил, приходил в отдел, говорил, что будет рекомендовать меня на работу в издательство "Советский писатель", где только что вышла моя книга "Роман Л.Леонова "Русский лес". Однажды удивил меня рассказом о том, что Леонов в войну, во время эвакуации писателей из Москвы, на какой-то станции будто бы скупил всю бочку меда, не оставил ни грамма семьям других писателей. А вскоре мне пришлось быть свидетелем такой сцены. В Кремлевском дворце проходил съезд писателей, в перерыве бродили в вестибюле взад-вперед именинники события. Рядом со мной оказался Вадецкий. Шел он, переваливаясь, искоса кидая на прохожих ленивый усмешливый взгляд. И вдруг буквально метнулся в сторону. Впереди показался Леонов. Я понял, что мой доброхот не хотел, а может быть, почему-то боялся встречи с ним. Не любила Леонова определенная публика, особенно после появления "Русского леса" с Грецианским, но на отношении ко мне (как автору книги о романе) до поры до времени это не сказывалось.

Искренне доброжелателен ко мне был старик В.Бахметьев, автор нашумевшего в 20-х годах романа "Преступление Мартына". Он заходил ко мне в отдел, рассказывал о писателях старшего поколения. Однажды пригласил меня в гости к вдове писателя В.Я Шишкова, своего друга, по случаю его юбилея. Был здесь артист Бабочкин, исполнитель роли Чапаева, пристально вонзившись хитроватым взглядом в меня, вопросил: "Это вы начальник моей дочери?" (его дочь Наташа работала в нашем отделе газеты "Литература и жизнь"). Рад я был увидеть здесь Кулемина Василия Лаврентьевича, пришедшего с женой. Хороший поэт,

обаятельный, внимательный к людям, человек, что испытал я и на себе. Недолго было ему жить после этого вечера: в журнале "Москва", где он работал заместителем главного редактора, была опубликована статья в защиту исторических, культурных памятников, сносимых беспощадно тогда при Хрущеве, и началась травля Кулемина, кончившаяся инфарктом и смертью патриота в сорок лет.

Главным лицом на встрече был, конечно, К.Федин. С трубкой в зубах, казалось, с расчетом на значительность каждого движения, каждого поворота головы, каждого жеста, он занимал общество, преимущественно женщин, светскими историями, шутил с оттенком книжности. Потом, когда расходились, он помогал женщинам усаживаться в такси и только после этого тронулся сам со своим спутником. Я пристроился к ним, и идя с ними по ночной улице Горького, слышал, как говорил Федин: "Вечер потерян, но я не мог отказать (здесь он назвал имя-отчество жены Шишкова - Клавдии Михайловны). Надо стругать, каждый день - стругать, стругать!"

Вскоре же после моих встреч с Шолоховым и Фединым с небольшим промежутком в газете "Правда" были опубликованы отрывки из второй книги шолоховской "Поднятой целины" и фединского романа "Костер". Конечно, вторая книга "Поднятой целины" не сравнима с первой, но и читая в газете отрывок из нее, вспоминал я, как разговаривал Шолохов с земляком-казаком в гостинице "Дон", и вот как будто слышу продолжение того разговора с новыми лицами и как уязвили меня слова одного из них - о Щукаре: "Подомрет старик", и будем вспоминать его чудачества. И когда читал в газете отрывок из фединского "Костра", тоже вспоминал тот вечер в доме на улице Горького, солидную, книжную речь находившегося в центре внимания гостей Федина, как бы следящего за каждым своим движением, жестом, не оставляющего места живому голосу, живому чувству.

В конце мая (29) 1959 года исполнилось 60 лет Леониду Максимовичу Леонову (кстати, члену редколлегии газеты "Литература и жизнь"). К этому времени я с ним уже довольно близко был знаком, встречался, беседовал с ним о его творчестве, когда писал книгу о его романе "Русский лес". Выпустившее книгу в 1958 году издательство "Советский писатель" послало ее Леонову, и он с похвалой отозвался о ней, помню, в разговоре со мной говорил что-то о моем "ощущении ткани" его прозы. По праву так сказать домашнего знакомства с Л.М. сделался я вроде проводника к нему для товарищей нашей газеты. Ездили мы к нему с поздравлением в Переделкино, на его дачу, казалось, ощетиненную кактусами, любителем, рассадником которых он славился. В первый раз мы тронулись туда с Евгением Ивановичем Осетровым и вернулись в редакцию несколько ошалелыми от сплошного монолога хозяина дачи и от никчемности нашего вяканья на фоне этого. В другой раз мы поехали втроем - Виктор Васильевич Полторацкий, Виталий Сергеевич Василевский и я. Леонид Максимович как всегда живописно, с меняющимся выражением лица рассказывал истории из прошлого, о своих встречах с Горьким, подробности о Сталине, когда он встречался с писателями на квартире Горького. Повторял уже не раз слышанное мною, как после разгрома пьесы его "Метель", перед войной, он искал защиты у Фадеева, жившего на даче по соседству. Раньше были на ты: Саша - Леня, жена Татьяна Михайловна угощала его пирогами, а тут пошла к нему от имени гонимого мужа, а он, Фадеев, смотрел сверху и не стал с нею говорить. (Так потом в "Русском лесе" Чередилов на своей даче, выйдя наверх, встречает как врага своего бывшего приятеля, теперь гонимого Вихрова.)

Слушая эту историю, Виталий Василевский качал головой, выражая сочувствие "классику" (как он всегда называл Л.М.), это делал и Виктор Васильевич с напускной, какой-то трогательной для меня свирепостью на измученном лице.

Л.М. на даче был один, без жены. Угощая нас настоянной на чесноке водкой в графинчике, он говорил, подавая нож: "Режьте колбасу". В то время я помнил почти каждую фразу в "Русском лесе", так я любил этот роман. И вот за столом мне тотчас же вспомнилось, как говорит Вихров своему гостю: "Не пей, подожди, эта штука сильна... Сестра обещала колбаску принести из очереди". Иван Матвеич Вихров при всей крупности своей личности как ученый-лесовод, юродивый немного (как и его сестра - горбатенькая Таиска). Но сам

Леонов, несмотря на то что так внутренне близок ему, дорог Вихров, все-таки барин, не юродивый с "колбаской".

Прощаясь с нами у ворот дачи, Л.М. погладил, как живое существо, нашу машину, на которой мы приехали, изобразил весьма картинно, как русские писатели кланяются в пояс, до земли своему "болярину" К.Симонову, и у меня мелькнула мысль, что все-таки и самому Леонову, не только его Вихрову, не чуждо, видимо, в какой-то момент русское юродство.

***

Но, конечно, не только "высокими материями", литературщиной жил отдел. Редакционное однообразие сдабривалось шутками. Автором, изобретателем их в основном был Юра Мельников, а исполнителями - работавший при отделе консультантом Иван Якушин, приходившие в редакцию авторы стихов. Выбирали кого-нибудь из знакомых и донимали телефонными звонками. Работал тогда в "Комсомольской правде" зав. отделом литературы Анатолий Елкин. Набирали его телефон.

- Это товарищ Елкин? Товарищ Елкин, это звонит вам поэт Ванин. Я приехал из Сибири в Москву узнать, когда будут напечатаны мои стихи.

- Завтра.

Через десять-двадцать минут новый звонок.

- Товарищ Елкин? Моя фамилия Костенюк. Я послал вам свои стихи. Когда они будут напечатаны?

- Завтра.

Всем все тот же ответ.

Как-то в одной газете было напечатано письмо читателя, который, выдав стихотворение Маяковского за свое собственное, послал его в "Комсомольскую правду" и получил оттуда за подписью Елкина зубодробительную критику его как графоманского изделия. Последовал звонок Елкину и от имени Маяковского.

Однажды такая игра далеко завела. Попал под обстрел шуток автор детских стихов Федор Белкин. Звонили ему и от имени его земляков: приехали в Москву и будут ждать, где встретиться. Даже не догадывались, как, с каким ужасом тот слушал звонки своих "земляков", ждущих встречи с ним. Только потом поняли, когда стало известно, что Федор Белкин арестован за пособничество немцам на оккупированной земле. А узнала его одна из местных жителей, когда он выступал по телевидению вместе с другими с чтением своих стихов: "Он, он, тот самый староста!" И его арестовали. Никогда нигде не выступал, всегда отказывался, а здесь не выдержал - видно, захотелось "литературной известности". Вернулся он из заключения спустя десять лет и вскоре умер.

И даже в этих шутках было и то и другое: литература и жизнь. От литературной игры с Елкиным до мрачной истории с Белкиным.

***

Редакции "Литературы и жизни" и "Литературной газеты" находились в одном здании, на Цветной бульваре. Мой кабинетик на шестом этаже напротив кабинета Юрия Бондарева, возглавлявшего отдел литературы "Литгазеты". Я заходил к нему и не раз видел его в дружеском общении с Григорием Баклановым - тогда они были неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы, и на собраниях, и в критике - как авторы военных повестей. В разговоре наедине с Бондаревым я не чувствовал каких-то особых различий в наших литературных взглядах, но "оттепельное направление" "Литгазеты" захватывало и его.

Споры наши с "Литгазетой" были по большей части довольно мелковатыми. Как-то была опубликована моя беседа со старейшим советским писателем Федором Васильевичем Гладковым, автором знаменитого в двадцатые годы романа "Цемент". Тотчас же в "Литгазете" в ответ появилась реплика члена ее редколлегии Евгения Рябчикова, который

окрысился на Гладкова за то, что он принизил жанр очерка, поставил его ниже рассказа. Я пришел к Федору Васильевичу с просьбой ответить на реплику, но такого желания у него не было, он заметил только, что в газете не совсем точно передана его мысль, он не думал противопоставлять рассказ очерку, а только хотел сказать, что у каждого из них своя жанровая специфика. И тут же, кончив разговор об очерке, как-то вдруг взъерошился, маленькое старческое лицо его сделалось злым, раздраженным голосом он стал говорить о Шолохове, ругать его Аксинью, именуя ее проституткой. Мне вспомнился проходивший несколько лет тому назад, в 1954 году, Второй Всесоюзный съезд писателей, на котором выступал Шолохов с критикой Симонова за скоропись и Эренбурга за его повесть "Оттепель". После выступления Шолохова в течение нескольких дней как по команде (и это было действительно по команде сверху) известные писатели, в том числе Гладков, поднимались на трибуну, давали отповедь Шолохову. И теперь еще Федор Васильевич, казалось, не отошел от того наступательного порыва и в моем присутствии костил вовсю Шолохова как бы в угождение его невидимым недругам.

Основные материалы в каждом номере шли от нашего отдела, пожирались с ходу. На страницах "Литературы и жизни" впервые обрели голос русские писатели из глубинки, печатались они сами и материалы о них. Несмотря на пестроту публикаций, в газете все-таки ведущим было направление, связанное с традициями русской литературы. Печатались выступления в защиту русского языка. И здесь главным ратоборцем был Алексей Кузьмич Югов, которого мы встречали с шутливой торжественностью, поддерживая его с двух сторон, усаживали, как патриарха, в кресло, а он, смущенно улыбаясь, отвечал нам каким-нибудь излюбленным церковнославянизмом, и тут же обрушивался на "укоротителей русского языка", на словарь Ожегова с его языковым чистоплюйством, аптекарскими мерками в отношении к морю-океану русского языка. Возмущался "тараканищами", "мухами-цокотухами", запускаемыми в детские души "дедушкой Корнеем".

Но любопытно, что стычки между "Литературной газетой" и "Литературой и жизнью" на первых порах совершенно не касались национального вопроса, для этого, видно, еще не приспело время. Недавний XX съезд КПСС с "разоблачением культа личности" Хрущевым, последовавшая за этим "оттепель" кружили голову внукам "ленинской гвардии". Они не замечали того, что вскоре будет так выводить их из себя. С приходом моим в мае 1958 года в газету "Литература и жизнь" все, что я публиковал в ней, прямо было связано с русским самосознанием: статьи о Чехове, о личной и духовной драме Герцена, о Леонове, Шолохове, о кинофильме "Судьба человека", о Б.Шергине и т.д. О моей вышедшей в 1958 году книге "Роман Л.Леонова "Русский лес" "Литературная газета" дала хвалебную рецензию Д.Старикова "Любовь критика" в конце мая 1959 года (в шестидесятилетие Л.М. Леонова). Такая же положительная рецензия на эту книгу появилась в журнале "Вопросы литературы", те же самые издания положительно откликнулись на выход моей новой книги "Время врывается в книги" (изд. Совписатель, янв. 1963).

Перелом наступил в середине шестидесятых годов с публикации моих первых статей в журнале "Молодая гвардия", начиная со статьи "Чтобы победило живое", 1965, № 12), о которых В.В. Кожинов сказал, что с них началось "новое направление журнала "Молодая гвардия"", оно и подверглось преследованию, как "славянофильское", "русофильское", даже как "шовинистическое". И вот кто раньше меня хвалил, те же авторы тех же "Литературной газеты", "Вопросов литературы" и т.д. стали обличать меня в отходе от партийности, от классовой оценки народности. Обо всем этом подробно говорится в моей книге "В сражении и любви" (2002). Но ничего принципиально нового, собственно, в моих молодогвардейских статьях не было в сравнении с моими публикациями в "Литературе и жизни", разве лишь развернулось и стало более видимым то, что в "эмбрионе" было прежде. Так что "Литература и жизнь" дорога мне не только тем, что мне пришлось работать в ней в первые же годы ее существования, она оставила неизгладимый след в моей духовной биографии, во многом стала отправной точкой становления моего почвеннического мировоззрения.

"Литературная Россия", № 14, 6 апреля, 2007

Оплот. Семья Аксаковых

В "Детских годах Багрова внука" С.Т.Аксакова есть удивительное место, когда в дорожной поездке, казалось бы, неизлечимо больного ребенка родители кладут на траву лесной поляны, и все, что видел он, ощущал, слышал вокруг, пение птиц, аромат цветов, дыхание леса - все это так целительно подействовало на него, что вскоре он почувствовал себя здоровым.

Такая же целительная природа живет и оздоровляюще действует на нас в произведениях писателя.

Но такое же духовное здоровое воздействие оказывает на нас и сам облик Сергея Тимофеевича. По его собственным словам, наклонность ко "всему ясному, прозрачному, легко и свободно понимаемому", впитанные им с молоком матери родные предания отвращали его от всякого духовного оборотничества, преподносимого под видом новизны.

Еще не будучи знаменитым писателем, он уже был той личностью, которая притягивала к себе замечательных людей русского искусства и науки. Гоголь, Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Тютчев, Толстой, Достоевский, Аполлон Григорьев - все они глубоко чтили "старика Аксакова". Под влиянием Гоголя, который заслушивался устными рассказами Сергея Тимофеевича о заволжском быте и уговорил "старшего друга" писать "историю своей жизни", Аксаков начал свои автобиографические книги и сразу же вошел в русскую литературу как ее классик.

Привлекал Сергей Тимофеевич своих современников и как прекрасный семьянин, гостеприимный хозяин дома, где все дышало приветом и доброжелательством. Жена Аксакова Ольга Семеновна, дочь суворовского генерала и турчанки, взятой в плен при осаде Очакова, была подлинной устроительницей внутреннего лада семейной жизни. Известны слова Белинского: "Ах, если бы побольше было у нас в России таких отцов, как старик Аксаков". В семье, состоявшей из десяти детей, царили взаимная любовь и дружба, отца они, уже будучи и взрослыми, называли "отесенька" (от слова "отец").

Собственно и жизнь Сергея Тимофеевича была сосредоточена вокруг двух начал: созидание семьи и автобиографических книг, воссоздание семейных преданий.

Из этой семьи вышли два замечательных деятеля русской культуры и общественной жизни: славянофилы Константин Аксаков и Иван Аксаков.

Семья всегда была в русской литературе прообразом народной жизни: пушкинские Гриневы, тургеневские Калитины, толстовские Ростовы, до шолоховских Мелеховых, платоновских Ивановых. Семья Багровых занимает среди них особое место, ибо за нею стоит семья самих Аксаковых.

Семья - не только свои дети, но и родовое предание, родители, предки. Известный философ-богослов П.Флоренский писал: "Быть без чувства живой связи с дедами и прадедами - это значит не иметь себе точек опоры в истории. А мне хотелось бы быть в состоянии точно определить себе, что именно делал я, и где именно находился я в каждом из исторических моментов нашей Родины и всего мира - я, конечно, в лице своих предков [10].

В двух своих главных книгах "Семейная хроника" и "Детские годы Багрова-внука" Сергей Тимофеевич на основе рассказов родителей воспроизвел семейное предание, историю трех поколений рода Аксаковых (Аксаков заменен в повествовании вымышленной фамилией Багров). В "Семейной хронике" выведены первое и второе поколение семьи Багровых - дедушка и родители маленького Сережи, а детству Сережи, продолжающего род Багровых в третьем поколении, посвящены "Детские годы Багрова-внука". Вся "Семейная хроника" состоит из пяти сравнительно небольших отрывков, книга скромна по размеру, но остается ощущение полноты, обнимающей разнообразные события и множество людей, целую

---

[10] Флоренский П. Детям моим. Воспоминания прошлых лет. М., 1992. С. 26.

историческую эпоху. За литературными персонажами стоят реальные люди, но это не значит, что перед нами фотографические снимки с них. Нет, это прежде всего художественные образы, заключающие в себе нечто более, чем только частное, личное. И прежде в Аксакове был виден большой художник,- уже в его "Буране", затем в "Записках об уженье рыбы", "Записках ружейного охотника", "Воспоминаниях" (писавшихся почти одновременно с последними главами "Семейной хроники"), но тогда автор как бы сдерживал свою изобразительную силу, а здесь, в "Семейной хронике", дал ей полную волю, и вот повеяло такой подлинной жизнью, за которой уже не замечается искусство. Таков первый же отрывок из "Семейной хроники", глава "Добрый день Степана Михайловича" (включенный потом в знаменитую "Русскую хрестоматию" А.Галахова, выходившую десятками изданий в дореволюционной России). Что, казалось бы, замечательного - день, проведенный дедом рассказчика, провинциальным помещиком, но сколько здесь любовно переданных подробностей бытовых, домашних, из жизни хозяйственной с поездкой Багрова в поле, осматриванием там отцветающей ржи, посещением мельницы, разговором с мужиками, ужином, сиденьем на крылечке перед сном, "перекрестился раз-другой на звездное небо и лег почивать". Эпическое течение дня, времени. Один день из жизни героя, но воспринимается это как целый законченный цикл бытия, так это все крупно и целостно.

Автор не идеализирует своего героя, а точнее говоря, своего деда. Старик Багров отмечен печатью времени, крепостнических порядков. Переселяясь из Симбирской губернии в Уфимское наместничество, за четыреста верст, на новокупленные земли, он снимает с места своих крестьян, всю деревню, и "потянулись в путь бедные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь со стариною, с церковью, в которой крестились и венчались". Крут и самовластен Степан Михайлович в семье, где так боятся его гнева, делающего из этого, в сущности, добросердечного человека "дикого зверя" (ничто так не может распалить его, как неправда, ложь).

В Багрове, как в крупном характере, крупны и недостатки, и достоинства. При всех своих противоречиях в поступках эта личность монолитная, цельная в своей нравственной основе. А эта основа несокрушима, и на ней зиждется мудрость его житейских правил. Он тверд в слове, "его обещание было крепче и святее всяких духовных и гражданских актов". Подобно тому как могучая грудь, необыкновенно широкие плечи, жилистые руки, мускулистое тело обличали силача в этом небольшого роста человеке, подобно тому, как лицо его с большими темно-голубыми глазами имело открытое и честное выражение, так всегдашняя его помощь другим, посредничество в спорах и тяжбах соседей, ревностная преданность правде в любом случае свидетельствовали о нравственной высоте его.

Софья Николаевна, невестка, быстро постигла "все его причуды", сделала "глубокую и тонкую оценку высоких качеств его". Так гордая, образованная женщина, презиравшая все деревенское и грубое, склонилась перед этим грубым на первый взгляд стариком, интуитивно почувствовав в нем те качества его, которые возвышали его над всеми другими.

В Багрове практические качества уравновешены нравственными, и в этом особенность его натуры. Он из людей практического склада, деятельных, способных на большие предпринимательские дела, но это не голое делячество, не знающее ради выгоды никаких моральных препятствий. У таких людей развитое нравственное сознание не оставляет их и в практической деятельности, иногда может вступать в жестокое противоречие с нею, но никогда не оправдает в себе неправедности поступка и тем самым уже исключает в себе ничем не ограниченное хищничество.

Но в том-то и дело, что такой характер, как Багров, не был только "преданьем старины глубокой". Почти одновременно с Багровым появился Русаков в пьесе Островского "Не в свои сани не садись", позже Чапурин в романах Мельникова-Печерского "В лесах" и "На горах"; оба эти героя характерами сродни Багрову.

Образ старика Багрова может быть поставлен в ряд эпических образов мировой литературы. Еще в прошлом столетии, сразу же по выходе "Семейной хроники", критика, желая похвалить автора, видела в нем "сходство с Вальтером Скоттом", в частности, в

понимании "исторической необходимости" прошлых обычаев, в строе мыслей Багрова "сообразно духу времени" (недостаточно, видно, была еще авторитетна тогда русская литература для критики, чтобы можно было из нее самой вывести эту "историческую необходимость"). Сила обобщения того же образа Багрова могла родиться только из такой семейной хроники, где представлены не узкие рамки семейного быта, а целая Россия в главных своих качествах (так и было, особенно в дальнейшем, когда уже в семье Сергея Тимофеевича с ее духовно-общественными интересами Россия постоянно присутствовала и в разговорах и в мыслях отца и детей).

И не только образ старика Багрова отличается такой поразительной силы художественным обобщением. В "Семейной хронике" с не меньшей, пожалуй, только отрицательной силой изображен Куролесов. В портрете героя, который рисует С.Т. Аксаков, при отсутствии, казалось бы, анализа (в том роде, в каком, разлагая целое на его составные части, "выворачивают" нам человека, обнажают потаенные уголки его души и сознания Достоевский и Толстой), при всей целостности рисунка поражает в образе Куролесова психологическая глубина. Некоторые критики видели в Куролесове некоего бытового злодея, что подтверждается как будто и самой канвой сюжета: история женитьбы героя; обман жены; узнанная ею правда об истинном образе жизни мужа, когда она, прослышав об этом, решает отправиться в имение, где он жил, и своими глазами удостоверяется в правде слухов о его развратной жизни, тиранстве; злодейство Куролесова, убедившегося, что жена не простит ему и ему грозит лишение доверенности на управление имением, избивающего жену и запирающего ее в каменном подвале; освобождение пленницы Степаном Михайловичем и т.д.

Но за этой чуть ли не приключенческой историей скрыты не только бытовые черты, но и метафизические тайны характера героя. Об одной из них говорится: "Избалованный страхом и покорностью всех его окружающих людей, он скоро забылся и перестал знать меру своему бешеному своеволию". Вот что, оказывается, может разжигать "своеволие", "жестокость", "кровожадность" и все другое - и не только в случае с Куролесовым, и не только в его время. Из иных, как бы брошенных на ходу "изустных" замечаний повествователя Достоевский мог бы, кажется, извлечь материал для цепной психологической реакции. Куролесов наименовал три деревни, которые он заселил переведенными со старых мест крестьянами, названиями, составившими имя, отчество и фамилию его жены. "Это романическая затея в таком человеке, каким явится впоследствии Михаил Максимович, всегда меня удивляла".

Достигнув высшей степени разврата и лютости, Куролесов ревностно занялся построением каменной церкви в Парашине. Эти "бездны" в характере героя, "феномен" его кровожадности, противоречивость поступков настолько глубоко затронули что-то "необъяснимое" в "человеческой природе", что дало основание Аполлону Григорьеву сделать следующий вывод: "Эти типы последних времен нашей литературы, бросившие нежданно и внезапно свет на наши исторические типы,- этот Куролесов, например, "Семейной хроники", многими чертами своими лучше теорий гг. Соловьева и Кавелина разъясняющий нам фигуру Грозного Ивана..." Такова сила психологического обобщения художника, позволяющая нам за выведенным лицом увидеть целый исторический тип, заставляющая нас задуматься о явлениях, не ограниченных рамками времени и места действия.

Может быть, нигде у С.Т. Аксакова художническая пристальность и полнота не проявляются так, как в образе матери, особенно в "Детских годах Багрова-внука". "Этот образ выносила в душе своей такая же любовь сыновняя, какая прежде у груди матери лелеяла сына",- справедливо писал один из современников писателя. И в самом деле, горячая любовь матери и страстная привязанность дитяти к ней составляют нераздельное целое. "Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием,- говорит автор в самом же начале своих "Детских годов Багрова-внука".- Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием". Болезненный ребенок был обречен, казалось, на смерть и только

чудом остался жить. И одной из этих чудесных сил, исцеливших его, была самоотверженная, безграничная материнская любовь, о которой сказано так: "Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни; едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыханья". Все повествование освещено образом матери, бесконечно родной, любящей, готовой на любые жертвы, на любой подвиг ради своего Сереженьки. Материнское чувство психологически, кажется, неисчерпаемо: сколько переживаний, сколько душевных оттенков. Забывшаяся тревожным сном мать слышит голос больного своего маленького сына. "Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала... этого не расскажешь!" Это всего лишь один момент ее душевного состояния, и, собственно, вся жизнь ее в этом лежащем в глубине души, "беспредельном чувстве материнской любви", как говорит сам рассказчик. От первой до последней страницы книги, в каждом эпизоде, где показана мать, в самых разнообразных проявлениях - то страстных, то тревожно-отчаянных, то радостных, то светло-грустных - живет это удивительное чувство, открывая нам скрытые от мира тайны материнского сердца.

В литературе обычно поэтизируется любовь до семейной жизни, с началом ее как бы опускается занавес романтической истории и начинается проза быта. Ни у кого, пожалуй, из русских писателей семейная жизнь не раскрывается с такой поэтической содержательностью, как у С.Т. Аксакова в его "Семейной хронике" и "Детских годах Багрова-внука" в особенности. И это далеко не при гармоничном союзе между супругами (вспомним, что Софья Николаевна вышла замуж не по любви). Но столько в материнской любви богатства чувств, столько душевной занятости", что уже одно это делает жизнь женщины глубоко осмысленной, дающей ей огромное нравственное удовлетворение, и маленький сын чувствует над собою "нравственную власть" матери. Такое материнское "однолюбие" было, видимо, таким же явлением русской жизни, как и постоянство пушкинской Татьяны с ее: "Но я другому отдана и буду век ему верна".

Поразительно то, что это материнское чувство во всей его первородности и чистоте донес до нас шестидесятипятилетний художник, как будто не было ни бремени охлаждающего душу житейского опыта, ни даже иной матери, когда с женитьбой сына она так переменилась в своих чувствах к нему, ревнуя его к семье: ничто оказалось не властным над силою той детской сыновней любви, которая сделалась святыней его души. Как бы инстинктивно чувствуя, чем он обязан матери, не раз вырывавшей его, казалось, из объятий смерти, Сережа отвечает ей страстной сыновней привязанностью, которая временами буквально потрясает его детскую душу. Такие потрясения переживает он во время болезни матери, приходя в недетский ужас при одной мысли, что она может умереть. "Мысль о смерти матери не входила мне в голову, и я думаю, что мои понятия стали путаться и что это было началом какого-то помешательства".

С.Т. Аксаков, видимо, передал очень характерное вообще для детской психологии. Вот признание известного русского ученого-физика С.И. Вавилова: "Мать любил я всегда глубоко и, помню, мальчиком с ужасом представлял себе, а вдруг мама умрет, что казалось равносильным концу мира".

В этом ужасе остаться без матери есть какая-то стихийная боязнь сиротства, не только сыновнего, но вообще сиротства на земле, и мать здесь как та наиболее близкая и доступная детскому сознанию опора, без которой ему так страшно в мире. Каким оцепенением поражает детскую душу болезнь матери и каким светом озаряется мир с ее выздоровлением. "Наконец, все мало-помалу утихло, и прежде всего я увидел, что в комнате ярко светло от утренней зари, а потом понял, что маменька жива, будет здорова,- и чувство невыразимого счастья наполнило мою душу! Это происходило 4 июня, на заре пред восходом солнца, следовательно, очень рано".

Любовь к матери глубже открывает Сереже самого себя. Он так предался впечатлениям пробуждающейся весенней природы, так ("точно помешанный") поглощен был своими

делами и заботами - послушать, поглядеть, что творится в роще, как развертываются листья, оживает всякая живность, как завивают гнезда птицы,- что забыл обо всем на свете и даже о матери. И мать с упреком напомнила ему об этом. Словно пелена спала с его глаз: он в самом деле мало думал о ней. Острое раскаяние укололо его в самое сердце, он чувствовал, как он виноват перед матерью, и просил прощения у нее. Мать же не сдержала своих чувств: "Мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторженной любви; между нами исчезло расстояние лет и отношений, мы оба исступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил мать; она - что мало ценила такого сына и оскорбила его упреком".

Само нравственное развитие мальчика в значительной мере происходит под влиянием познания материнской любви. Эту любовь он особенно, "во всей силе", начинает понимать и чувствовать во время своей болезни. "Понятен испытанный ею мучительный страх - понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развила, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет". Мысли о матери, возбуждающие в сыне "тревожное состояние", заставляют его быть "в борьбе с самим собою". И само его "воображение, развитое не по летам", тоже во многом объясняется горячей привязанностью к матери, боязнью утратить ее. Таким образом, в детской психологии образ матери порождает нечто вроде "процесса чувств", "борьбы с самим собой" - явление как бы даже неожиданное при установившемся мнении о "безанализности" психологизма у С.Т. Аксакова.

И не только через мать идет рост детской души. Как содрогается эта детская душа, когда умирает дедушка, какой страх, какой ужас охватывает ее, как воспаляется детское воображение мыслями о смерти! По силе психологической выразительности этот страх поистине зародыш того страха смерти, который будет метаться в сознании героев Толстого, и эта же боязнь смерти, так рано, почти с младенчества узнанная Сергеем Тимофеевичем, видимо, не могла не оставить следа в дальнейшей его жизни, может быть, таилась в его душе, заглушаемая теми "страстишками", о которых говорил сам писатель, имея в виду свои семейные заботы, привязанность к природе и прочее. А рядом со смертью дедушки - появление на свет крошечного братца, вызывающего в Сереже какие-то особые бережные чувства. "В маленькой детской висела прекрасная люлька на медном кольце, ввернутая в потолок. Эту люльку подарил покойный дедушка Зубин, когда еще родилась старшая моя сестра, вскоре умершая; в ней качались и я и моя вторая сестрица. Подставили стул, я влез на него, и, раскрыв зеленый шелковый положок, увидел спящего спеленанного младенца и заметил только, что у него на головке черные волоски. Сестрицу взяли на руки, и она также посмотрела на спящего братца - и мы остались очень довольны... Алена Максимовна, видя, что мы такие умные дети, ходим на цыпочках и говорим вполголоса, обещала всякий день пускать нас к братцу, именно тогда, когда она будет его мыть. Обрадованные такими приятными надеждами, мы весело пошли гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду". Семейное чувство, как бы разветвляясь, входит в душу мальчика, пронизывает все его существо, дает ему ощущение полноты и уверенности существования. Ему радостно знать, что он из того же рода, что его отец и дедушка. "Я один был с отцом; меня также обнимали и целовали, и я чувствовал какую-то гордость, что я внук моего дедушки. Я уже не дивился тому, что моего отца и меня все крестьяне так любят; я убедился, что это непременно так быть должно: мой отец - сын, а я - внук Степана Михайловича".

Семейное начало стало ведущим, определяющим в повествовании. Это нашло отражение и в самих названиях книг: "Семейная хроника", "Детские годы Багрова-внука". Хорошо сказал о книгах С.Т. Аксакова Андрей Платонов, увидевший их "бессмертную сущность" "в отношении ребенка к своим родителям и к своей Родине". По словам Андрея Платонова, "книги Аксакова воспитывают в читателях патриотизм и обнаруживают первоисточник патриотизма - семью", ибо "этому чувству Родины и любви к ней, патриотизму, человек первоначально обучается через ощущение матери и отца, то есть в

семье". И сама любовь Аксакова к природе "является лишь продолжением, развитием, распространением тех чувств, которые зародились в нем, когда он в младенчестве прильнул к своей матери, и тех представлений, когда отец впервые взял с собою своего сына на рыбную ловлю и на ружейную охоту и показал ему большой, светлый мир, где ему придется затем долго существовать. И ребенок принимает этот мир с доверием и нежностью, потому что он введен в него рукой отца" [11].

Природа - та вторая, после родительской, колыбель, которая поистине вскармливала и лелеяла детство художника. Одно из самых первых и сокровенных "отрывочных воспоминаний" автора "Детских годов Багрова-внука" - это болезнь и выздоровление в младенчестве. "Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени дерев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо они молились, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно, и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться - и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это было приятно... Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо... На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного". "Двенадцатичасовое лежанье в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесно организму". Так врачующе подействовала природа на ребенка, и с тех пор он до самозабвения полюбил ее.

Один из современников С.Т. Аксакова, охотник-литератор, шутя говорил, что его собака делает стойку перед "Записками ружейного охотника", так много в них жизни и правды. То же самое можно сказать и в отношении описания природы в "Семейной хронике" и "Детских годах Багрова-внука": столько здесь жизненного, истинного, что забываешь всякую литературу и вместе с автором погружаешься в мир самой природы.

Здоровое чувство природы роднило Аксакова и художника-пейзажиста такой мощи, как И.И. Шишкин, который называл Сергея Тимофеевича своим любимым писателем.

Она оздоровляюще влияет даже на нас, читателей аксаковских книг, а что уж говорить о Сереже, живущем в ней. Для него она неиссякаемый источник радостей и наслаждений. Сколько тайн, сколько волнующих подробностей открывается ему повсюду в ней, сразу же за домом, где течет Бугуруслан и начинается грачовая роща: на рыбалке; в дороге, все той же самой, от Уфы до Багрова, и всегда захватывающе новой; на ночлеге в степи под открытым небом; в весеннем неистовстве соловьев при потухающей заре. И все это, и многое другое, все голоса, цветы, ароматы, "красоты природы" (любимое выражение самого писателя) как бы переливаются в детскую душу, ласкают ее, приводят в восторг, ширят ее, делают счастливой. И так же, как в любви к матери, проявляется вся гамма чувств, переживаний маленького героя, так в страстной привязанности к природе раскрывается не менее, пожалуй, богатая жизнь детской души.

Можно было бы много говорить о значении родного угла, природы в творческой судьбе С.Т. Аксакова, в частности и об уникальности в русской литературе, да и не только, видимо, в русской, а и мировой - такого явления, когда скромные рамки события - детство, проведенное в оренбургском селе,- под пером художника наполняются вдруг такой жизненной подлинностью, содержательностью, значительностью, что мы невольно задумываемся о неисчерпаемости бытия и в самых малых "уголках земли". Впрочем, это и не должно нас удивлять, вспомним, например, что значил этот уголок земли для Пушкина, как

---

[11] Платонов А. Размышления читателя. М., Современник, 1980. С. 155-156.

обогатило его двухлетнее пребывание в Михайловском, какая поэзия, какие глубины народной жизни открылись ему - через сказки Арины Родионовны, рассказы крестьян, песни слепцов на ярмарках; именно отсюда, из этого "уголка земли" началось и пушкинское постижение русской истории, эпохи "Бориса Годунова" (сотворенного здесь), самой народности. И у каждого великого русского художника был свой "уголок земли", который связывал его с миром.

Отсюда же, из этого "уголка земли" ведет свое происхождение и язык писателя. "Семейная хроника" и "Детские годы Багрова-внука" впитали язык аксаковской родины, как вобрали они и благоухание окружающей природы. Народность языка у С.Т. Аксакова не только в чисто народных словах, но и в самой правде выражения народной жизни, которую он хорошо знает. Живая речь, кажется, облегает все, чего ни касается, каждое явление, каждый предмет, каждую бытовую подробность, проникается тем неуловимым русским значением, которое дается самой непосредственной жизнью в национальной стихии. Изустная живость речи соединяется с удивительной пластичностью изображения, с такой зримостью, осязаемостью картин, особенно природы, что мы как бы входим в них, словно в реальный мир. Ни одного фальшивого тона, все просто и истинно. Уже сам язык очищающе действует на читателя не только в эстетическом, но и в нравственном отношении. Отпечаток мудрости, духовной ясности старца, его нравственной проникновенности проглядывает в слоге. Все сокровище души своей вложил художник в этот слог, в эту величавость русского слова, оттого и не убывает со временем красота и правда этого удивительного аксаковского языка, одарившего нас чудной илиадой детства русской жизни.

"Семейная хроника" и "Детские годы Багрова-внука" сразу же после своего выхода вызвали восторженные отзывы современников. И что удивительно, эти единогласные похвалы принадлежали людям разных убеждений, таким, как Хомяков и Тургенев, Толстой и Герцен, Шевырев и Щедрин, Погодин и Чернышевский, Анненков и Добролюбов и т.д. Правда, неодинаковые были причины для похвал. Так, Добролюбов (в своей статье "Деревенская жизнь помещика в старые годы, отразившаяся в "Детских годах Багрова-внука") отметил, как самое важное в книге С.Т. Аксакова, все то, что связано с описанием "старого порядка", с "произволом" помещика в "семейных отношениях", с вторжением в его деревенскую жизнь крепостных отношений. "Конец концов,- пишет Добролюбов,- вся причина опять сводится к тому же главному источнику всех бывших у нас внутренних бедствий - крепостному владению людьми".

"Неразвитость нравственных чувств, извращение естественных понятий, грубость, ложь, невежество, отвращение от труда, своеволие, ничем не сдержанное,- представляется нам на каждом шагу в этом прошедшем, теперь уже странном, непонятном для нас и, скажем с радостью, невозвратном".

Для Толстого в "Детских годах Багрова-внука" "равномерно сладкая поэзия природы разлита по всему, вследствие чего может казаться иногда скучным, но зато необыкновенно успокоительно и поразительно ясностью, верностью и пропорциональностью отражения".

Щедрин признавался, что испытал на себе решительное влияние "прекрасных произведений" С.Т. Аксакова, потому и посвятил ему один из циклов "Губернских очерков" в журнальной публикации - "Богомольцы, странники и проезжие". Аксаковская эпическая просветленность коснулась такого беспощадно-язвительного сатирика, каким был Щедрин. И гораздо позднее, в его "Пошехонской старине" в главе "Воспитание нравственное", рассказывается, как герой (с автобиографическими чертами самого автора), возрастом уже за тридцать лет, впервые "почти с завистью" познакомился с "Детскими годами Багрова-внука" и вынес из этого чтения неизгладимые впечатления. Высоко ставил книги С.Т. Аксакова Достоевский, отмечая в них правду народного характера. Полемизируя с западниками, он писал: "Вы утверждаете, что чуть народ проявит деятельность, то сейчас он кулак. Это бесстыдно. Это неправда. Няня, переход через Волгу в "Семейной хронике" и сто миллионов других фактов, деятельность самоотверженная, великодушная".

У каждого из знаменитых современников С.Т. Аксакова был свой взгляд на его книги,

но все сходились в одном: в признании выдающихся художественных достоинств этих книг, редкого таланта их автора. Сам же Сергей Тимофеевич, искренне удивляясь своему громкому авторскому успеху, с присущей ему "незаносчивостью" самолюбия объяснял дело просто: "Я прожил жизнь, сохранил теплоту и живость воображения, и вот отчего обыкновенный талант производит необыкновенное действие".

Выйдя в свет, "Детские годы Багрова-внука" сразу же стали хрестоматийным классическим произведением. Так, Мамин-Сибиряк (родившийся в 1852 году, за шесть лет до выхода книги Сергея Тимофеевича) писал в своей автобиографии, как он в раннем детстве "заслушивался" чтением "Детских годов Багрова-внука". И позднее другой будущий писатель (о чем расскажет сам Горький в повести "В людях") запомнит навсегда, как "Семейная хроника", "Записки охотника" Тургенева и другие произведения русской литературы "вымыли" его душу: "Я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и - не пропаду!"

Книгами СТ. Аксакова всегда будут "заслушиваться" потомки писателя, находя в них, как в мудрых народных преданиях, всегда живой, глубоко современный и вечный смысл.

****

Имена Аксаковых - Константина и Ивана связаны с тем направлением русской общественной мысли, которое получило название славянофильство. Но следует оговориться: оправдывая это название (любовь к славянам), ратуя за единение славян, горячо поддерживая дело освобождение южных славян от турецкого ига (особая роль здесь Ивана Аксакова), славянофилы сами говорили, что главное, сокровенное в их идеях - это русский народ, Россия. Константин Аксаков (род. в 1817) хотя и был значительно моложе Хомякова (1804) и Киреевского (1806), вместе с ними принадлежит к поколению старших славянофилов, а Иван Аксаков - их преемник уже в новой послереформенной эпохе. Знакомство молодого Константина Аксакова с Хомяковым произвел переворот в его убеждениях, о чем пойдет речь ниже.

Поскольку Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Киреевский "отцы основатели", столпы славянофильства, остановимся коротко на их учении. Глубоко образованный, фантастически даровитый во многих областях знаний, свободно владевший французским, английским, немецким языками, Хомяков воплощал в себе духовную высоту русского национального самосознания. Мысль о самобытной русской философии зародилась у него еще в молодости, в двадцатых годах, в кружке любомудров, средоточием которого был его друг, поэт и мыслитель Д.Веневитинов, подававший большие надежды и так рано скончавшийся в 1827 году, в возрасте всего двадцати двух лет. Первыми идейными учениками Алексея Степановича стали юные Константин Аксаков и его друг Юрий Самарин. В 1840 году произошла встреча, оказавшая решающее влияние на их жизнь. Алексей Степанович Хомяков был значительно старше каждого из них: ему было тридцать шесть лет, человек всесторонне образованный философски, со сложившимся давно мировоззрением. Но не только духовным опытом, зрелостью мысли превосходил он своих молодых товарищей. То, что было порознь в каждом из них - творчество и сила аналитическая,- соединилось в нем в полном согласии, составляя цельность его натуры. Поэтому молодые друзья должны были бы, казалось, найти каждый свое, свою точку опоры в Хомякове, но на первых порах этого не произошло. Для обоих, как уже говорилось, кумиром являлся Гегель, и расстаться с ним было им не так-то просто. Хомяков же, прекрасно изучивший Гегеля, сам редкий диалектик, по высокой терпимости своей не подавлял мнения молодых людей, только непреклонно держался своего "камня" - русской истории, ее духовно-культурных, бытовых особенностей. Это было главным для него, а потом уже Гегель и "гегелята" (как он говорил), "гегелизм", ценимый им, но имеющий в его глазах все-таки косвенное отношение к "русскому началу" (как вообще вся германская,

рационалистическая в своей основе, философия). Друзья-противники оказались довольно крепкими орешками, с которыми непросто было справиться. Особенно упорствовал в стоянии за Гегеля Константин Аксаков, которого Хомяков прозвал "свирепым агнцем", соединявшим в себе идейное неистовство с детскостью сердца. Веря в прочность главного в Константине Аксакове, Хомяков говорил ему: "Я с вами более согласен, чем вы сами". И дело сдвинулось с места, благоговение хомяковских оппонентов к Гегелю как всеобъемлющему абсолютному началу познания померкло. По словам младшего брата Ивана, освобождение Константина Аксакова от оков Гегеля было полным: "Гегель как бы потонул в его любви к русскому народу". Впоследствии сам Константин Сергеевич признавался: "Живой голос народный освободил меня от отвлеченности философской. Благодарение ему".

Неведомое, волнующее вошло в сознание друзей, когда они стали читать памятники древней русской словесности, изучать летописи, старые грамоты и акты. Целый мир, до того совершенно не известный им, со своими духовными сокровищами, видимыми и еще не изведанными, со своеобразием народной жизни, быта открылся им. Какая-то почвенность почувствовалась вдруг под ногами после зыбкого блуждания в гегелевской "феноменологии духа".

Хомяков сделался постоянным гостем в доме Аксаковых, также как и сам рад был видеть их у себя в гостях, в доме на Собачьей площадке. Особенно часто он стал бывать у них после смерти своей жены тридцатипятилетней Катерины Михайловны (она была сестрой поэта Языкова), оставившей на его руках пятерых детей. Он тяжело, хотя и мужественно переносил страшное горе, старался не выдать своего состояния, на людях принуждал себя быть таким же, как и прежде. Однажды гость, оставшийся ночевать в доме Хомякова, случайно стал свидетелем потрясающей сцены. Хомяков глубокой ночью стоял на коленях и глухо рыдал, а утром, как обычно, вышел к гостям добродушно улыбающийся и спокойный. Смерть жены была испытанием его, казалось бы, незыблемой веры. Ведь это он писал в своем сочинении "Церковь одна":

"Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданные для земного пути (как ангелы), не начинавшие еще земного пути (будущие поколения), все соединены в одной Церкви - в одной Благодати Божией". Оба они - и она, и он всегда жили в Церкви и в ней, в вечном ее благодатном лоне, продолжают жить вместе с Катей и с уходом ее из этой жизни. Он верил в это, но такая тоска по умершей жене точила его, что временами падал духом. И однажды во сне услышал ее голос: "Не отчаивайся!" И ему стало легче. Она не перестает быть с ним, с детьми, укрепляет его силы для жизненного подвига. Ранее беззаботный относительно "слова письменного", предпочитавший ему "изустное" слово, он теперь стал больше писать, как бы зная отпущенный ему недолгий земной срок, спешил передать на бумагу в глубине души зревшие долгие годы дорогие ему мысли и чувства. В доме Аксаковых он отдыхал душевно, сам, как хороший, теперь уже неполный семьянин, глубоко чувствовал благо семейного круга. Как во всем другом в жизни, в семье он оставался цельным человеком. И в философии своей он находил для семьи не отвлеченные, логистически-мертвые формулы, а слова живые, проникновенные, говоря, что семья есть тот круг, в котором любовь "переходит из отвлеченного понятия и бессильного стремления в живое и действительное проявление".

Глубоко любя Сергея Тимофеевича, Хомяков и произведения его ценил прежде всего за то, что писатель "живет в них, действует на читателя всеми своими прекрасными душевными качествами", как он говорил - "тайна его художества в тайне души, исполненной любви". В пятидесятые годы, после смерти жены, Хомяков ушел в глубины богословия, познания сущности Церкви. В своих статьях и письмах, написанных по некоторым причинам по-французски и по-английски, Хомяков развивает идею соборности. Сила Церкви - не во внешнем устроении, не в иерархичности ее, а в соборности, в единении любви всего церковного народа, в неодолимости ее как Тела Христова. Единство Церкви созидается непрекращающимся в ней действием Духа Божия. Каждое действие Церкви направляется

Духом Святым, духом жизни и истины. Дух Божий в Церкви недоступен рационалистическому сознанию, а только целостному духу. В отличие от восточной православной Церкви с ее соборностью в любви Запад, католичество утверждает себя на гордыне индивидуального разума.

Соборностью глубоко проникнута великая русская литература. Осуществилось в XX веке то, что православный мыслитель, верный сын русской Церкви Хомяков, называл выходом своих богословских идей "на мировое поприще".

Духовно близок был к семье Аксаковых и другой выдающийся русский мыслитель, Иван Васильевич Киреевский. Обратимся к его философским взглядам, без этого не будет полон показ той умственно-духовной среды, которая окружала Аксаковых.

Иван Киреевский занимал в ней важное место. Еще в статье, написанной в 1830 году, "Обозрение русской словесности за 1829 год" он говорит: "Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта". Слушание в 1830 году лекций Гегеля в Берлинском университете, а затем - лекций Шеллинга в Мюнхенском университете не произвело особого действия на Ивана Киреевского, не вызвал у него сочувствия сам "способ мышления" немецких философов, даже и более близкого ему по духу Шеллинга. Пожалуй, больше дало ему личное знакомство с Гегелем и через младшего брата Петра Васильевича (ранее его приехавшего в Мюнхен) - с Шеллингом, который, кстати, в разговоре с Киреевскими высказывал мнение, что России суждено великое назначение (эту же мысль, видимо, под влиянием победы России над Наполеоном в 1812 году высказал и Гегель одному из молодых русских, слушавших его лекции). Издали отчетливее мог он осмотреть то огромное, что представляло собою его Отечество. Не отрицая поучительности опыта Западной Европы, Иван Киреевский считал, что любой иноземный опыт нельзя механически переносить на историческую почву другого народа, что и философия, образованность точно так же не могут быть внешне переняты, а рождаются из недр национальной жизни. Тем более это относится к "самобытной русской философии", которая должна была, по убеждению его, выйти далеко за пределы национального значения и приобрести мировую роль.

В создании такой философии Иван Васильевич видел свое призвание, задачу своего служения Отечеству и жил, собственно, этим однодумьем. Он не разрабатывал систему, наподобие немецких философов, а развил ряд положений, которые легли в основные славянофильской философии. Суть этих положений вкратце сводится к следующему.

Исторически сложилось так, что в основании просвещения Европы и России легли разные элементы, разные начала. Что касается Европы, то этими началами в ее просвещении стали христианство, проникшее туда через церковь римскую, древнеримская образованность и государственность варваров, возникшая из насилий завоевания. Как видно уже из этого, определяющей в судьбе просвещения европейских народов была роль Рима, римской образованности. Между тем было еще греческое просвещение, которое в своем чистом виде почти не проникало в Европу до XV века, до самого взятия турками Константинополя (когда на Западе появились греческие изгнанники со своими "драгоценными рукописями"). Но это было уже запоздалое знакомство, которое не могло изменить заложенного склада ума и жизни. Господствующий дух римской образованности, римские законы и римское устройство наложили властную печать на всю историю и жизненный уклад европейских народов, начиная от частного быта и кончая религией. Если говорить о главной особенности "римского ума", то это будет преобладание в нем наружной рассудочности над внутренней сущностью. Таким характером рассудочной образованности отмечены все проявления общественной, религиозной, семейной жизни в Древнем Риме, унаследованные Западной Европой.

Если на Западе христианство привилось через римскую церковь, то в России - через церковь восточную. В отличие от западного, рационалистического в своей основе

богословия богословие восточной церкви, не увлекаясь в односторонность силлогизмов, держалось постоянно полноты и цельности умозрения. Восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа; западные - больше о внешней связи понятий. Восточные писатели, по словам Ивана Киреевского, ищут внутренней цельности разума, того средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство; западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил, для раздробленного духа, что одним чувством можно понимать нравственное, другим - изящное, третьим - личное удовольствие и т.д.

Эта цельность духа, самого бытия как наследие восточного христианства, православия отличала, говорит Киреевский, древнерусское просвещение, быт и жизнь древнерусского человека и теперь еще не утрачена в простом народе, в русском крестьянстве. Необходимость такой цельности духа, цельности мировоззрения и жизни Киреевский считал центральной задачей русской философии независимо от времени, от исторических обстоятельств. Причем он призывал следовать не букве, а духу этого положения, приводя его в соответствие с современными, в том числе научными требованиями, не допуская решительно никаких элементов архаичности.

Итак, главное, по Киреевскому, заключается в том, чтобы та цельность бытия, которой отличалась древнерусская образованность и которая сохранилась в народе, была навсегда уделом настоящей и будущей России. Но в этом Иван Киреевский видит не узконациональную задачу, а мировое призвание России, ее историческую роль в судьбах Европы. Ошибаются те, кто считает славянофилов некими провинциалами, которые хотели бы вновь заколотить "окно в Европу", отгородиться от нее, замкнуться в своих национальных рамках (чуть ли не удельной Руси) и похаживать в мурмолках да косоворотках. Вопрос об их отношении к Европе гораздо глубже, не имеет ничего общего с этим карикатурным представлением.

Мысль Ивана Киреского была такова: историческая жизнь России была лишена классического элемента, а так как прямой наследницей Древнего мира является Европа, то и следует перенять у нее этот классический элемент - через лучшие черты западной образованности. Усвоив это все лучшее в культуре Запада, обогатившись ею, придав, таким образом, общечеловеческое значение русскому просвещению, можно успешнее влиять им и на Запад, внося в его жизнь, в его сознание недостающее ему единство духовного бытия. Сутью мировоззрения Киреевского было требование цельности, неразрывности убеждения и образа жизни. Еще в молодости он поставил своей целью "чистоту жизни возвысить над чистотою слога". Это был девиз всех его друзей - и брата Петра Васильевича, и Хомякова, Константина и Ивана Аксаковых, Юрия Самарина и других. "Чистота жизни", нравственная высота славянофилов наложили отпечаток и на их "слог", стиль творений, о чем В.В. Розанов, писавший по своему непостоянству разное о них, иногда прямо противоположное, в итоге мог сказать, что творения их "исходят из необыкновенно высокого настроения души, из какого-то священного ее восторга, обращенного к русской земле, но не к ней одной, а и к иным вещам... Чего бы они ни касались, Европы, религии, христианства, язычества, античного мира,- везде речь их лилась золотом самого возвышенного строя мысли, самого страстного углубления в предмет, величайшей компетентности в суждениях о нем" (Статья "И.В. Киреевский и Герцен") [12].

Та цельность, к которой стремился Иван Киреевский, не сводилась для него к сугубо личному самопознанию. Нравственная цельность личности может иметь большое воздействие на людей, стать средоточием их единомыслия и духовной общности. Иван Киреевский знал, что значит для других людей нравственная высота человека, какая это вдохновляющая и влекущая к себе собирательная сила.

---

[12] Розанов В.В. Сочинения. Советская Россия, 1990. С. 398.

Как философия не умозрительная, а практическая, жизненная, философия цельности Ивана Киреевского вбирала в себя и его бытовые впечатления и не могла, конечно, не вобрать его впечатлений от общения с хорошо знакомой ему, близкой семьей Аксаковых. Сергей Тимофеевич, не имея склонности к философствованию, мог и не вникать во все оттенки взглядов Ивана Васильевича, но ему родственно было понимание жизни человека в единстве, нераздельности его мысли и поведения. И в творчестве его эта цельность стала основой той удивительной истинности повествования, которая так властно действует на читателя, и не только эстетически, но и нравственно.

Бывавший у Хомякова Сергей Тимофеевич мог видеть, как менялись отношения между людьми, которых он всех хорошо знал и "по веротерпимости своей" готов был каждому отдать должное. Еще, казалось, недавно тот же Хомяков дружески встречался с Грановским, поздравлял его с успехом публичных лекций в Московском университете. А в доме Аксаковых был даже дан торжественный обед в честь популярного лектора, распорядителем "по части кушанья" был сам Сергей Тимофеевич Аксаков, "по части пития" - Герцен и "по части цигарок" - Самарин.

Но уже в этих лекциях таилось зерно разрыва. Как ни поздравляли устроители обеда виновника торжества, а видели прекрасно, что застольными тостами и кончится это веселое единодушие: все эти обеды - дань уважения людей, достойных той же веротерпимости, а суть оставалась ясной с самого же начала.

Спустя год после лекций Грановского в том же Московском университете с публичным курсом по истории русской словесности выступил другой профессор, Степан Петрович Шевырев. Для многих, даже скептиков, открылось вдруг нечто поразительное. Оказывается, в древней русской словесности такие богатства, о которых мало кто и знал. Ведь выходит, что русской литературе почти тысяча лет - самая древняя литература среди литератур Запада! У нас уже были шедевры словесности, когда она еще не значилась ни во Франции, ни в Германии, ни в Англии. Открылось как бы окно в Древнюю Русь, в мир ее духовного бытия и культуры.

Вскоре Шевырев издал свои лекции отдельной книгой, озаглавленной: "История Русской Словесности, преимущественно Древней". Получив эту книгу, Гоголь писал автору: "Читаю я твои лекции. Это первое степенное дело в нашей литературе". Живейший интерес вызвали чтения Шевырева и у поэта Н.Языкова, который в письмах к брату то и дело возвращался к лекциям, видя в них массу "нового" по части древней русской литературы ("это Америка, открытая Шевыревым"). "Аксаков говорит, что как бы ни была драка на лекциях!! - писал Языков,- партия европеистов выходит из себя" и т.д.

Лекции, прочитанные Грановским и Шевыревым, послужили тому, что и практически углубилось размежевание между западниками и славянофилами. Назревал разрыв. Но почти одновременно с лекциями Шевырева произошло и еще одно знаменательное событие. С "проклятиями в стихах" (как сказал один из современников) против западников выступил Н.Языков, в то время тяжело больной, бывший уже на пороге недалекой смерти, но горевший страстной верой в "Русь Святую" и враждой к идейным противникам. Поэт, любимый Пушкиным и Гоголем, их друг, Языков был близок славянофилам. Хомяков, женатый на его сестре, Катерине Михайловне, называл Языкова в письмах "любезным братом". Столкновение между западниками и славянофилами не оставило Языкова равнодушным. Он ринулся в стихию борьбы, как тот пловец в его знаменитом стихотворении о "нелюдимом нашем море", как бы в предчувствии, что "будет буря: мы поспорим и поможествуем с ней". Целую бурю в обществе вызвало стихотворение Языкова "К ненашим". Оно было направлено против тех, кто жаждал "онемечить Русь". Стихотворение подействовало на общество как электрический разряд.

Так развертывались события, очевидцем которых стал Сергей Тимофеевич. Сам он был в приязненных отношениях с Языковым. Но еще в начале тридцатых годов, в бытность свою цензором Аксаков познакомился заочно с поэтом Языковым, нанеся некоторое "повреждение" его стихам. В стихотворении "Ау" Сергей Тимофеевич красным карандашом

вычеркнул следующие строки:

О! Проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины,
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны!

И это был, конечно, не произвол цензора С.Т. Аксакова, а его убеждение, которого впоследствии придерживался и сын Константин, да и все славянофилы: "старина" не может быть законсервирована, она должна помогать творить ей же подобную "новизну" в новых исторических условиях, в духе того же идеала. Под влиянием ли когда-то преподнесенного Сергеем Тимофеевичем урока, независимо ли от него - только "старина" в посланиях Языкова уже лишилась прежней неприкосновенности, покоя и стала силой, сопутствующей действию:

...самобытная, родная
Заговорила старина,
Нас к новой жизни подымая...

Западники и славянофилы размежевались. Вчерашние друзья стали идейными противниками. Что же касается Сергея Тимофеевича, то хотя "веротерпимость", как всегда, оставалась с ним, ему были ближе убеждения сына Константина и его друзей. Конечно, он не богословствовал, как Хомяков; не философствовал, как Иван Киреевский; не залезал с головой в летописи и акты для доказательства исторической основы русской общины, для выяснения бытовых и государственных стихий русской истории, как это делал Константин Аксаков; не проникал, как Юрий Самарин, с логической отточенностью в рационалистические процессы, исказившие нравственное учение "латинства", то есть католичества. Сергей Тимофеевич не углублялся и не заносился в сферы, которые могли казаться порой и отвлеченными для его реалистической натуры при всей ее художественности. В нем говорил человек, знающий цену жизненному опыту. Поэтому он мог пошутить над философскими увлечениями молодого Константина, неумеренного "почитателя немцев" (считая, что "немецкий мистицизм противен русскому духу"), мог и прямо сказать, что старший сын недостаточно знает действительность.

Слушая собиравшихся в его доме друзей, таких, как Хомяков, Киреевский, Юрий Самарин и другие, сам принимая участие в беседе, в спорах, Сергей Тимофеевич мог с неудовольствием отмечать, что нет порой единодушия среди, казалось бы, единомышленников, что сколько людей - столько и мнений по какому-то одному вопросу. Но правда и то, что сам он еще в молодости, будучи студентом Казанского университета, говорил о своем "русском направлении", а впоследствии о своем "московском направлении" - в смысле "чувства национальности". Не надо забывать, что великий художник уже потому патриот, что он связан самим своим творческим призванием с созидательным гением народа, и судьба, будущее его творений немыслимы вне судьбы народа, его языка. Родной язык был для С.Т. Аксакова той национальной стихией, в которой только и возможно проявление самосознания художника и самой его бытийной сущности. И можно представить себе, что значило для него умаление этого языка и творца его - народа. А в этом умалении не было недостатка.

Не так невинно выглядела эта "галломания", "англомания" и прочее. Как мы назовем человека, который отрекается от своей матери, от своих родителей? Не меньшее, а еще большее, может быть, падение, когда человек отрекается от своего народа, от его языка, стыдится его, как чего-то позорного, низкого, недостойного его. Сколько было таких блудных сыновей, русских иностранцев, вообще добровольных рабов Запада, по-холопски унижавших все русское. Умаление всего родного, неуважение к своему народу, его истории,

великому языку было оскорбительным для СТ. Аксакова. В этом и было то "чувство национальности", которое так много говорило ему и как человеку, и как художнику и без которого не было бы его замечательных творений.

Центральным пунктом расхождения между славянофилами и западниками стал вопрос об отношении России к Европе: должна ли она, Россия, следовать по пути Запада или у нее свой, самобытный исторический путь. С подлинным драматизмом выразилось это расхождение в истории взаимоотношений между "неистовым" Виссарионом Белинским и столь же "неистовым" Константином Аксаковым, семилетняя дружба которых завершилась разрывом. Уже в кружке Станкевича (названного именем его вдохновителя Николая Станкевича, рано скончавшегося, двадцати семи лет от роду) царило разномыслие, кипели споры. Впоследствии в "Воспоминаниях о студентстве" Аксаков скажет о кружке, о своем месте в нем: "В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир - воззрение большей частию отрицательное... я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно: в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с малых лет" [13]. Высоко ценя семью Аксаковых, самого Константина, которого он называл "одним из малолюдной семьи сынов Божьих", отдавая должное заслугам славянофилов, которые впервые поставили перед обществом вопрос о русском национальном самоопределении, Белинский резко не принимал в Аксакове того, что он называл "неподвижностью", что было традиционным, православно-народным в России. Сам он, Белинский, в последний период своей, обильной идейными "переворотами", короткой жизни, был одержим отрицанием "гнусной действительности", духом революционности, с чем, конечно, не мог примириться Аксаков.

Но были западники, которые в отличие от Белинского, искренне искавшего истину, любившего Россию, смотрели на "эту страну" как на чуждый им мир, достойный презрения и даже не имеющий право на существование. Например, для В.Боткина, полжизни проведшего за границей, в Италии и Париже, русский народ был вроде папуасов, и Россия - погрязшей в невежестве. И никогда не переводились в России духовные дезертиры вплоть до современных диссидентов, вроде Синявского с его угрозой "России-суке", А.Зиновьева, автора оголтелого русофобского опуса "Зияющие высоты", который, даже вернувшись в 1999 году после двадцатилетней эмиграции в Россию, повторяя свои неизменные заклинания: "Россия обречена, погибла", признается, что больше его тревожит "судьба западноевропейской цивилизации". Ибо он "прожил всю свою жизнь человеком, до мозга костей принадлежащим к западноевропейской цивилизации", что многие его сверстники формировались как "люди западноевропейские, а не национально-русские - в эти отношения я ушел дальше многих других" [14]. Здесь же автор ставит в заслугу себе то, что он "не обрусел". Но вот возникает вопрос: что может значить для самих "цивилизованных европейцев" такие неофиты. У Достоевского есть статья "Мы в Европе лишь стрюцкие": "Вы начали с бесцельного скитальчества по Европе при алчном желании переродиться в европейцев, хотя бы по виду только... И чего же мы достигли?" - спрашивает Федор Михайлович этих "перерожденцев" и обобщает: "Чем больше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более они презирали нас самих... Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи такими татарами (les tartars) никак не можем стать русскими; мы же никогда не могли растолковать им, что мы хотим быть не русскими, а общечеловеками" [15]. "Русские европейцы" - это и стрюцкие (стрюцкий - по объяснению слова человек подлый, дрянной, презренный) и "международная обшмыга" - по другому выражению Достоевского.

---

[13] Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. М., Искусство, 1995. С. 294-295.

[14] Литературная газета, № 11- 12, 28 марта 2005.

[15] Достоевский Ф.М. Полное собр. соч. В 30 т. Т. 25. Дневник писателя за 1877 год. С. 20, 22. Наука. 1983.

И Константин Аксаков величайшим бедствием России считал отрыв высших, образованных слоев общества, того слоя, который позднее будет называться интеллигенцией, - от народа, возникшие в результате этого разрыва глубокие противоречия между ними грозят катастрофой России.

Что такое народ для Константина Аксакова и что такое в сравнении с ним, народом, представители высшего сословия - можно судить по его статье "Опыт синонимов. Публика - народ", в которой с афористичной выразительностью противопоставлено одно понятие другому: "Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ по-русски. У публики - парижские моды. У народа - свои русские обычаи. Публика (большей частью по крайней мере) ест скоромное, народ ест постное. Публика спит, народ давно уже встал и работает... Публика презирает народ; народ прощает публике. Публике всего полтораста лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща; народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь, но в публике грязь в золоте, а в народе - золото в грязи... Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас почтеннейшая, а народ православный".

Во всем, о чем бы ни размышлял Константин Аксаков, чего бы ни писал в какой угодно области, будь то филологические изыскания, литературная деятельность в виде драм, критики, публицистики, исторические труды - везде и всегда дышит задушевнейшая мысль о народе как главной исторической силе. В стихах Аксакова остался не только пафос его любимой мысли о народе, но в иных и такие стороны, которые, может быть, как никогда многое говорят современному сознанию. Огромную опасность для человека он видел в бездуховности. Для "толпы эмигрантов" (из одноименного стихотворения) не существует никакой высшей истины, кроме "осязательного пути", кроме только материального. Но зло гнездится еще глубже - это "вещественное", "плотское", не вынося пустоты своего эмпирического существования, хочет "в дух втесниться", принимает обличье "лже-духа" (одноименное стихотворение), в котором лишь

...Плоти раздраженной жар:
Ей мало вещества для власти,
Ее пленяет духа дар,
Небесный мир в ней будит страсти.

"Лже-дух" претендует уже на универсальность бытия, ему мало "вещественной" власти над человеком, он хочет контролировать в нем и вседуховно-сокровенное, интимное, хочет стать для него всем, а в сущности ничем. Искус этого лже-духа особенно велик оттого, что, легко внедряясь в бытийные низы человека, он эти низы "освещает" доводами рассудка, некой научности, принимающей только "осязательный путь" и освобождающей человека от его духовных, нравственных задач. Константин Аксаков и в современной ему литературе видел такую "точку эмпириков", самоуверенных, рассудочных, посмеивавшихся, кстати, над его чудачествами.

Бердяев в своей книге о Хомякове назвал ранних славянофилов бытовиками, крепко связанными с устойчивым бытом, лишенными катастрофического ощущения бытия, Психологически славянофилы менее всего были укоренены в быте. Если нельзя не увидеть трагическое в самом бытии человека, мучительно раздвоенного между осознанием христианского идеала и невозможностью достигнуть его на земле, то в высшей степени трагической была жизнь славянофилов. Ибо в отличие от западников, так сказать, детерминированных преимущественно социальной средой, основным двигателем учения, поступков славянофилов была мораль, принцип единства мысли и поведения. Нравственная безупречность славянофилов была такова, что даже сами их противники - западники, либералы, писали об их редчайшем благородстве. Глубочайшая разница была в том, что западников больше занимало "общественное зло" (запрет свободы, слова, крепостное право),

в то время, как славянофилы неизмеримо глубже видели природу зла прежде всего в самом человеке, устремляя главные свои усилия на самоусовершенствование (что не мешало им, однако, не быть равнодушными и к общественному злу - характерно, что именно славянофилы в лице Ю.Самарина и других готовили проект освобождения крестьян 1861 года). Далеко от бытовой идиллии была и личная жизнь этих людей, знавших и тяжелые утраты (смерть молодой жены Хомякова, оставившей на его руках пятерых малых детей), и бездны аскезы (уход в Оптину пустынь Ивана Киреевского).

Но, пожалуй, никто из этих людей не был так духовно беспощаден к себе и последователен в прямоте духовно-нравственного выбора, как Константин Аксаков, чистота которого доходила до того, что, не создав собственную семью, он умер девственником, В писаниях своих он был тем же, что и в жизни: братски близок ему был тот,

...Кто речи хитро не двоит,
Чья мысль ясна, чье прямо слово,
Чей дух свободен и открыт...

Кстати, эта прямота и в знаменитых строках поэмы Ивана Аксакова "Бродяга":

Прямая дорога, большая дорога!
Простора немало взяла ты у Бога,
Ты вдаль протянулась, пряма, как стрела,
Широкою гладью, как скатерть, легла!..

Интересно сравнить эту аксаковскую "прямую дорогу" с тем образом дороги, которую дает историк В. Ключевский в своей статье "Этнографические следствия русской колонизации верхнего Поволжья": "Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идет, оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся... Природа и судьба вели великоросса так, что приучили его выходить на прямую дорогу окольными путями.

Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую дорогу". Географически разные дороги и могут привести к "прямой цели", но нравственно чаще всего одна, прямая дорога ведет к праведничеству (как у К.Аксакова), другая, "извилистая",- к либерализму (как у В.Ключевского).

Из века в век сквозным принципом эта "прямота" как черта нравственная проходит через всю русскую историю, литературу. В величайшем творении древнерусской литературы "Слово о Законе и Благодати" митрополита Илариона (XI век) сказано: "...и будуть кривая въ праваа" ("и будут кривизны прямыми"). В присяге избранному на всероссийский престол государю Михаилу Федоровичу Романову говорилось: "Служити мне ему Государю и прямить и добра хотелось и безо всякие хитрости". Оптинский старец Амвросий писал о другом оптинском старце, что в письмах своих он "обнажает истину прямо". Писатель XVIII века Андрей Болотов свою автобиографическую книгу назвал разговором с "прямым сердцем и душой". У русских классиков: "прямой путь", "идти прямою дорогою выгоднее, нежели лукавыми стезями" (Фонвизин), "прямой поэт" (Пушкин), "счастье прямое" (Жуковский), "свободою прямою" (Батюшков), "мы сохраним сердца прямые" (С.Аксаков), "прямота чувств и поведения" (Достоевский), "прямые и надежные люди" (Лесков), "настоящая русская речь - добродушная и прямая" (Тургенев о "Записках ружейного охотника" Аксакова), "благородная прямота" народных песен (П.Киреевский), "горячая прямота" Багрова (героя "Семейной хроники" С.Т. Аксакова), "святое всегда прямо" (В.Розанов) и т.д.

***

В отличие от старшего брата Константина, домоседа, почти никуда не выезжавшего, совершенно отрешенного от практических вопросов, погруженного в летописи, в свою диссертацию о Ломоносове, одержимого яростными спорами с западниками в узком кругу московских знакомых, в отличие от Константина Иван Аксаков с юности после выхода из Петербургского училища правоведения начал усердно служить чиновником, много путешествовал с практическими, познавательными целями по России и Европе. Сначала состоял при Министерстве юстиции, потом, спустя два года, в 1844 году, был назначен членом ревизионной комиссии в Астрахани. И от этой канцелярской работы он испытывал удовлетворение, считал, что благодаря ревизии он не только приобрел опытность в службе, но и узнал лучше действительность, "переворачивая народ со всех сторон, во всех его нуждах". Потом последовала служба в Калуге, Петербурге. Командировка в Бессарабию, в Ярославскую губернию, где он пробыл два года. По поручению Географического общества отправился в Малороссию для обозрения и описания украинских ярмарок. Кроме практической цели была и художественная сторона этого путешествия: Иван Сергеевич чувствовал себя пленником той прелести и обаяния, которыми уже в прежние поездки обдавала его Малороссия, и теперь совсем должна была покорить его: и самой природой, и видом сел с белыми хатами, живописно разбросанными по холмам и долинам, и южными ночами с роскошью темного неба с ярко горящими звездами, и очаровательными песнями. Да еще потому, может быть, ему так дороги эти края, что здесь всегда так и торчит Гоголь со своими "Вечерами на хуторе близ Диканьки", как писал он родным. Побывал он в гоголевской Васильевке, где мать Гоголя, умершего два с лишним года назад, показала ему все места, которые любил ее сын. Иван Сергеевич знал, как много скажут Отесеньке и Константину его слова в письме о Гоголе, которого они почти боготворили.

И где бы Иван Аксаков ни бывал, куда бы ни заносили его служебные командировки, путешествия, он всегда, постоянно писал письма родным, удивительные по своей обстоятельности, наблюдательности, искренности. Сергей Тимофеевич со всей щедростью отцовского сердца подробно и любовно писал сыну, не скрывая своего отношения к его посланиям: "...прекрасное письмо твое, в котором с большою, хотя еще неполного свободой раскрывается твоя богатая всякою благодатью натура, привело нас всех в восхищение". Отец беседовал с сыном с таким живым чувством общности их интересов и понимания его психологии, душевных запросов, с таким вниманием, что сын, в свою очередь, не менее удивлялся его письмам: "Удивляюсь тому, милый Отесенька, как Вы находите досуг писать мне аккуратно поллиста Вашим довольно сжатым почерком". И всегда под письмами Сергей Тимофеевич подписывался: "Твой отец и друг".

Надо сказать, что отношение Сергея Тимофеевича к письмам во многом было эстетическое, художественное. Для него письма Гоголя были прежде всего созданием великого художника. О двух глубочайших гоголевских письмах-исповедях к нему, где так явственна печать совершившегося в писателе духовного переворота, Аксаков говорил как о "замечательных задушевных" письмах, окруженных "блеском поэзии", признаваясь, впрочем, что тогда они не были поняты и почувствованы, как того заслуживают. Есть высказывание о письмах известного ученого, мыслителя, богослова, ставшего священником отца Павла Флоренского.

"Единственный вид литературы, который я признавать стал - это ПИСЬМА. Даже в "Дневнике" автор принимает позу.

Письмо же пишется столь спешно и в такой усталости, что не до поз в нем.

Это единственный, искренний вид писаний" [16].

---

[16] Розанов В.В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. С. 51.

Вот где путь к тому изживанию литературы в литературе, чем были озабочены писатели, вроде В.В. Розанова, пресытившиеся, глубоко не удовлетворенные литературой, заслоняющей автора стеной условности, позирующей самости от самой действительности. Предельная искренность Ивана Аксакова и делает его письма, можно сказать, высшим видом литературы, вобравшим в себя реальный огромный мир русской жизни XIX века.

Наряду с писанием писем Иван Аксаков смолоду и в течение почти всей своей жизни писал стихи, вкладывая в них свои раздумья о современных вопросах, о действительности. Сам он невысоко ставил себя как поэта, и эта скромность делала только честь Ивану Сергеевичу, отдельные стихи которого Некрасов называл "превосходными" и добавлял: "Давно не слышалось в русской литературе такого благородного, строгого и сильного голоса". Муза Ивана весьма сурова своей гражданственностью ("во мне слишком много гражданина, который вытесняет поэта", по его словам) и в то же время тревожна своими душевными исканиями и порывами в сравнении с публицистическими стихами Константина, не знавшего никаких сомнений в своей проповеди. Иван "лицом к лицу", говоря его словами, "встретился с действительностью", живя долгое время в губернских городах и вникая не только в механизм чиновничьего управления, но и в интересы общественной, народной жизни. Тысячи верст пришлось ему исколесить по дорогам России, на тарантасе ли, в кибитке, на санях, в простой телеге с приделанным к ней кибиточным верхом или вовсе без него. Сколько людей самых разных сословий перевидал он на станциях, во время ночлега в деревнях и селах, при исполнении служебных обязанностей, сколько дорожных впечатлений и разговоров. "Эти впечатления лягут во мне,- писал он,- широким фундаментом для будущей моей поэтической производительности".

Что-то от личного, духовно-интимного есть в лучшей поэме Ивана Аксакова "Бродяга" (названной им "очерком в стихах"). Недаром он признавал в себе "бродяжнический элемент", заставлявший его пускаться в путешествие по России. "Бродяжничество" главного героя, двадцатилетнего крестьянина Алешки Матвеева по русской земле позволило Ивану Аксакову коснуться извечно "ищущих", "страннических" сторон русского национального характера, и вместе с тем, этот "бродяга, гуляя по всей России как дома", дал автору, по его словам, "возможность сделать стихотворное описание русской природы и русского быта в разных видах". Но наш "бродяга" вовсе не бездельник, "не празднолюбец", он бежит "не от труда, а к новому труду", зная, что везде найдет работу.

Хоть сторона и не совсем знакома -
Все Русь да Русь, везде ты будешь дома!

Поэма "Бродяга" оказалась неоконченной. Любопытно замечание Гоголя о возможной развязке ее: "Надобно показать, как этот человек, пройдя сквозь все и ни в чем не найдя себе никакого удовлетворения, возвратится к матери-земле. Иван Сергеевич именно это и хочет сделать, и, верно, сделает хорошо".

Неизвестно, этим ли возвратом героя к земле завершилась бы поэма, будь она целиком написана, но и в настоящем своем, незавершенном виде поэма нисколько не утратила в силе и цельности идеи. А эта идея есть не что иное, как любовь автора к своему герою, вообще к крестьянству, восхищение его нравственным здоровьем, крепостью, размахом его душевных сил, трудолюбием, умом, самой его речью. Современников поразила смелость, широта замысла поэмы, этот размах коснулся как в целом всей поэмы, так и ее отдельных глав - развертывающихся картин крестьянского житья, образующих как бы панораму народной жизни. Простой, строгий стих поэмы не претендует на оригинальность, и, однако, как отражение богатства содержания, жизненных явлений стиховой состав "Бродяги" так самобытен, интонационно-метрически разнообразен, щедр. Склад стиха главы "Бурмистр", например, напоминает стих поэмы "Кому на Руси жить хорошо", написанной Некрасовым спустя десятилетия после "Бродяги". Как признано в исследовательских работах, поэма Ивана Аксакова предварила некрасовскую поэму и своеобразием сюжета - странствием героя

по Руси, хотя цель и самый идейный смысл хождения некрасовских мужиков по русской земле иные, чем у аксаковского бродяги.

"Бродяжничество" еще не перебродило в Иване Сергеевиче, его тянуло в новое путешествие, но на этот раз уже по чужим краям, которые надобно было увидеть собственными глазами, чтобы глубже понять существенные для него вопросы, относящиеся к России и Европе, и только после этого можно было зажить оседлой жизнью, серьезно приняться за какое-то постоянное дело.

Хотелось ему отыскать и понять те "добрые стороны", которые есть же у всякого народа, но сделать это было нелегко, лучшее, видимо, было разбросано, как все редкое, и находилось где-нибудь в другом месте, недоступное за дальностью расстояния. Краткость пребывания в Париже не помешала Ивану Сергеевичу сделать суровый вывод о здешней духовной среде, где "отовсюду видны края и дно, стремлений высших нет".

С приездом в Италию Аксаков сразу же оказался под неодолимой властью красоты, изобилием которой, кажется, здесь насыщен сам воздух. В Риме он насчитывает четыре города: Рим древний (с Колизеем, соответствующим идее древнего владычества Рима), Рим католический (с храмом Святого Петра, соответствующим идее католического всемирного владычества), Рим художественный и Рим народный. И о каждом Риме у него свое мнение, свои мысли, вынесенные не из книг, а из собственных впечатлений,- так важно все это увидеть своими глазами. После Рима с его развалинами, вещающими про могучую жизнь древнего мира, с неисчислимыми сокровищами музеев, ласкающей синевой моря и упоительной природой встретил путешественника Неаполь; и совсем очаровала Венеция; с площадью Святого Марка, с сотнями мостиков и арок, возносящихся над каналами, с почерневшими от времени дворцами, опоясанными водою. Сама итальянская природа, по-юному яркая, пышная, впечатляющая, пришлась, как видно, ему по вкусу.

Он совершил восхождение на Везувий, был в самом кратере, стоя на застывшей, отвердевшей лаве и видя, как неподалеку со страшным шумом и ревом вырываются из двух жерл, дымясь и беснуясь, изрыгая камни и серу, два огненных языка, и рядом, почти под ногами, под застывшим слоем, сквозь трещины дышит, выбиваясь дымом, раскаленная лава, кажется, из самой преисподней земли. Великолепное, ужасное, торжественное зрелище, думал он, и здесь же закурил сигару на "огне Везувия", то есть от горячего куска лавы, выброшенного на глазах.

Такие моменты бывают редко в жизни человека, они оставляют в нем особое ощущение исключительности положения: дух захватывает от сдавленной ярости и гула подспудных стихий, необычайно обостряются слух и зрение, само сознание человека, поставленного перед вулканической силой. Нечто подобное не раз испытывал впоследствии Иван Сергеевич, будучи уже знаменитым публицистом и общественным деятелем, находясь как бы в кратерах социально-общественной жизни, чутко прислушиваясь к гулу времени, стараясь уловить подспудное движение событий.

Все относящееся к итальянской природе, расписываемой с увлечением Иваном, не встречало сочувствия отца. "Мать и сестры приходят в восхищение от местностей и природы, тебя окружающей,- отвечал он сыну,- но мы с Константином, испорченные нашей русской природой, не увлекаемся восторгами, и признаюсь тебе: ни разу не мелькнула у меня мысль или желание - взглянуть на эти чудеса". Сергей Тимофеевич не любил ничего грандиозного в природе, никаких эффектов и ничего вызывающе яркого, броского. На что, казалось бы, вода, в которой он видел "красоту всей природы", которая всегда жива, всегда движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему; но не всякая вода, не во всякой своей стихии люба Сергею Тимофеевичу. Ему по душе небольшие речки и реки, бегущие по глубокому лесному оврагу или же по ровной долине, по широкому кругу, по степи, но не любимы им реки большие, с "необъятной массой воды", с громадными, утесистыми берегами. "Волга или Кама во время бури - ужасное зрелище! Я не раз видал их в грозе и гневе. Желтые, бурые водяные бугры с белыми гребнями и потопленные, как щепки, суда - живы в моей памяти. Впрочем, я не стану спорить с любителями величественных и грозных

образов и охотно соглашусь, что не способен к принятию грандиозных впечатлений". В природе Сергея Тимофеевича привлекают не "величественные и грозные образы", а все простое и повседневное, дающее не столько зрительное удовольствие, сколько душевную радость общения с ней, с природой, и самой жизнью в ней. Потому-то он довольно равнодушно внимал сыновним описаниям красот итальянской природы, не переставая, впрочем, восхищаться "славными письмами" Ивана. Как всегда, Иван отправлял домой письма с подробнейшими и выразительными рассказами о тех местах, где бывал, об особенностях культурной, бытовой, общественной жизни, делясь своими неудовольствиями по поводу того, что люди живут там преимущественно "в не общих современных интересов"- и за границей не убывал в Иване Сергеевиче его общественный темперамент, обращаясь хотя бы в эту критику.

В одном из писем Иван Сергеевич признавался родителям, что "хотел бы взглянуть на Лондон". В молодости не раз видевший Герцена (с ним был ближе знаком старший брат Константин), он теперь, спустя десять лет после эмиграции его, с любопытством ожидал встречи с этим человеком, сделавшимся предметом столь разноречивых суждений в русской публике.

Герцен приветливо встретил Ивана Аксакова. Вскоре за столом, где хозяин взял на себя "должность разливателя шампанского", гость попал в поток его красноречия, с блеском острот, парадоксов, воспоминаний о прошлом. Но были у обоих в разговоре и конкретные цели. Дело в том, что в руки Герцена неизвестно какими путями попали в Лондоне два экземпляра сцен драмы Ивана Аксакова "Утро в уголовной палате", в которых резко обличались судебные, крепостнические порядки в России. И вот, ухватившись за эту довольно резкую вещь, "сатирически, да еще талантливо написанную", Герцен решил напечатать ее отдельным изданием, и теперь, при встрече с автором, просил согласие на это. Но у автора была своя просьба: "уважить его отказ".

Ведь и явился Аксаков к Герцену не ради "судебных сцен" и моды побывать у "знаменитого изгнанника". Были у него свои причины для такого визита. Ему было известно о разочаровании Герцена Западом, о неприятии им буржуазного пути для России, и видимо, в этом слышался ему "живой голос" Герцена, а он, Аксаков, считал, что "необходимо затронуть все живое". Впоследствии, говоря об этой встрече в одном из писем, Герцен называл "брата ярого славянофила" Ивана Аксакова "человеком большого таланта... с практической жилкой и проницательностью". "Мы с ним очень, очень сошлись", - писал он И.С. Тургеневу. Надо сказать, что далеко не во всем сошлись. Герцен видел в собеседнике "немного славянофила" и тогда, в прямом разговоре, объяснил, что его, Герцена, связывает и разделяет со славянофилами.

По его словам, ему и им одинаково ненавистно крепостничество, бюрократия, произвол власти, общее требование - свобода слова. Здесь, вдали от России, ему понятнее стали "иеремиады славянофилов о гниющем Западе". По странной иронии после революционных бурь 1848 года ему пришлось делать на Западе пропаганду части того, что в сороковых годах проповедовали в Москве Хомяков, Киреевский и что он тогда высмеивал. Нам, продолжал Александр Иванович, равно дорога русская община, хотя его социализм нечто иное, чем славянофильская община. Но непримиримое, что разделяет нас, с патетической нотой в голосе произнес Герцен, это отношение к религии, здесь мы заклятые враги. С детства, по его словам, он был плохой верующий, причастие вызывало у него страх, так действует ворожба, заговаривание-Воробьевы горы сделались для него местом богомолья... Не прикладывание к честному кресту, а честный и мужественный путь борьбы в осуществление человеческого прогресса - вот его, Герцена, девиз, символ веры.

Но подходил конец заграничному путешествию Ивана Сергеевича, его новому "бродяжничеству". "Священные камни" Европы, ее великое культурное наследие много говорили уму и сердцу русского человека. Но это был и другой мир, с наложенной на него печатью утилитаризма и сугубо деловых, материальных интересов, это был другой мир, живущий своей жизнью, которому и дела нет до мнения какого-то заезжего русского, до его

мыслей, неотвязных раздумий о "судьбах России и Европы", мир этот был как бы даже и непроницаем для него в своей самодовольной самодостаточности. Нет, здесь он не прижился бы, на этом европейском торжище. Отсюда, из "прекрасного далека", Россия виделась в своей беспредельности и таинственности, вовлекая и на таком громадном расстоянии от себя в тяжкие думы и в то же время открывая очистительный простор для мысли.

Как совсем еще недавно, три года тому назад в доме Аксаковых жили мыслями, переживаниями от поступавших тревожных, трагических вестей о Крымской войне, так теперь при гостях и без них здесь вспыхивали, разгорались страсти вокруг судьбоносного крестьянского вопроса. В печати в конце ноября 1857 года было объявлено о предстоящей разработке проектов крестьянской реформы. Сергей Тимофеевич, еще недавно, менее полугода тому назад погруженный в свои воспоминания, в свои "Детские годы Багрова-внука" и отрешенный от злобы дня, весь был теперь поглощен предположениями, мыслями о реформе. "Корабль тронулся! - повторял он.- Никто не может, не имеет права равнодушно взирать на то, что происходит теперь в России". Сразу же после объявленного царского рескрипта Сергей Тимофеевич письменно известил оренбургского предводителя дворянства о своем желании освободить крестьян. Не дожидаясь специального решения вопроса об этом. Нравственное бремя было сброшено, и как-то самому стало свободнее, легче. А Иван Аксаков давно определил свое отношение к крепостному праву, двадцатипятилетним чиновником, еще в 1848 году, он писал отцу: "Я же дал себе слово никогда не иметь у себя крепостных и вообще крестьян"... Следует сказать, что одной из главных побудительных причин публицистической, общественной деятельности славянофилов была борьба с крепостным правом как величайшим злом - нравственным, национальным, государственным, сковывающим творческую мощь народа, тормозящим развитие России, грозящим ей опасными последствиями.

Огромные перемены ждали Россию и не только в "устройстве крестьян". Новые силы появились на исторической сцене. Уходила на глазах в прошлое столь любезная сердцу С.Т. Аксакова старая жизнь. Степан Михайлович Багров, дед писателя, как бы жил с ним, тешил его величием своим, пока он писал свои семейные предания, но как только окончил - особенно остро почувствовал, что таких людей, как Степан Михайлович, уже нет и не может быть в настоящее время. Сергей Тимофеевич даже рассердился на сына Ивана, когда тот заявил, что "Степан Михайлович теперь бы не годился". Он бы отлично годился, отвечал Сергей Тимофеевич, но вся беда в том, что он невозможен теперь.

Но и о самом старике Аксакове можно было бы сказать, что уходят и такие, как он. О себе, как всякий отец, он не мог думать лучше, чем о детях, но так выходило, что полнота семейной жизни была именно в нем, он объединял в себе, как бы гармонически обнимал интересы всех детей, и в этом отношении он был лицом универсальным. Детям уже менее была свойственна эта широта понимания. Каждый из них был одностороннее отца, уйдя преимущественно в какую-то одну область - в историческую, как Константин (с исследованием древнерусского общинного быта, "русского воззрения"); в политику, общественную деятельность, как Иван; в практическое, служебное дело, как Григорий; в нравственный аскетизм, как Вера. Но у каждого из них было и то, чего не было у "Отесеньки". В свое время Сергей Тимофеевич писал Гоголю, страшась, как бы художник в нем, в Гоголе, не пострадал от "религиозного, мистического направления". И тут же оговорился: "Я лгу, говоря, что не понимаю высокой стороны такого направления. Я понимал его всегда, особенно в молодости; но оно только скользило по моей душе. Лень, слабость воли, легкомыслие, живость и непостоянство характера, разнообразные страстишки заставляли меня зажмуривать глаза и бежать прочь от ослепительного и страшного блеска, всегда лежащего в глубине духа мыслящего человека". Сын Иван не заставил себя "зажмуривать глаза и бежать прочь" от того, что открывалось ему в его мироощущении. Поразительно, с какой глубиной, обостренностью, драматизмом двадцатипятилетний молодой человек с "практической жилкой" воспринимал вторжение в жизнь новой космически холодной бытийности с разрушением повсюду быта, теплоты: "Надо жить,

отвергая жизнь... Рушится быт повсюду; взамен тепла предложен воздух горних высот, где так страшно высоко; а так хорошо иногда бывало внизу!.. Конечно, еще далеко от этого преобразования, но уже вместилось в нас это убивающее жизнь понимание"... [17] Во всей русской литературе нет более сильных, реальных, не литературно-декламируемых, а именно реальных слов о переломном мироощущении, чем это "убивающее жизнь понимание". Впоследствии, спустя шестьдесят лет, уже в начале нового, XX века Блок будет говорить о своем времени, где покоя нет, уюта нет, где двери распахнуты настежь на вьюжную площадь и т.д., но это уже словесность, поэтические обороты, да и богемный быт поэта не очень-то трагически контрастировал с воздухом горних высот. Как это всегда бывает в жизни и в литературе: глубокое предчувствие стало общим достоянием и обратилось в словесность.

А для Константина Аксакова неотвязной темой станет то, что выразится в самом названии его статьи "О современном человеке". Что же характерно для этого современного человека? По словам автора статьи, это прежде всего то, что "исчезла искренность и ложь, как ржавчина, проникла душу". Аксаков говорит о лжи во всех ее видах, типах, во всех тончайших душевных движениях. "Всякий запасся внутренним, душевным зеркальцем... и беспрестанно в него смотрится", теша свое самолюбие, тщеславие, "все кокетничают друг перед другом". Собственно, это то, что сам он называл "грязью в золоте", позолоченностью наружного, внешнего, за которой таится всякого рода мерзость. И можно добавить, что эта всеобщность лжи, смотрение каждого в "свое душевное зеркальце" становятся той тиранией "общественного этикета", с чем не могут уже не считаться и люди искренние.

Все сказанное Константином Аксаковым о лжи заставляет невольно вспомнить "мысли о религии" Паскаля, где природа лжи с неискренностью, наружностью, искусственностью, условностью в человеческих взаимоотношениях выводится из поврежденного состояния души, вследствии первородного греха. Ложь, отсутствие искренности Аксаков относит к Западу, к "сынам Запада", но это же, по его словам, повторяется "и у нас (в так называемом образованном обществе) в карикатурном виде". Здесь патриотизм несколько подводит Константина Сергеевича, как будто Запад виноват в прививке зла, лжи русской душе, а не в ней самой, как во всякой другой душе - будь она французская, немецкая, прочая - гнездится тот паук зла, что показал Достоевский, при всей его любви к русскому человеку, можно сказать, культе русского народа. Да и где, как не в священном тексте сказано: "Человек есть ложь". И все же не кто иной, как Константин Аксаков, мог говорить то, что фальшью отзывалось бы в словах других людей, а здесь было самой сутью человека: "Очень просто, кажется, говорить что чувствуешь, и чувствовать, что говоришь. Но эта простота составляет величайшее затруднение современного человека. Для этой простоты необходима цельность души, внутренняя правда..." Сам Константин Аксаков был одарен такой цельностью, чистотой души, был настолько во всем искренен, правдив, естествен, что, например, уже взрослым человеком мог при гостях подойти к отесеньке и ласкаться, как в детстве. Он всегда оставался самим собою в любое время и в любых обстоятельствах, был ли в семье, наедине с собою или в обществе. Только такой человек и мог придать такую силу убедительности, неотразимости всему, когда он говорит о лжи. Ведь одно дело, когда о ней говорит Аксаков, совсем другое - когда Солженицын, сделавший из своего заклинания "жить не по лжи" орудие политиканства, оголтелой клеветы на нашу страну, видя в ней сплошной ГУЛАГ, злобствуя, что она победила в войне с гитлеровской Германией. Кстати, из тех "типов лжи", которые разбираются Аксаковым, имеет прямое отношение к Солженицыну ложь "из лицемерия перед самим собой... внутри уже разрушено все живое, всякая возможность правды подъедена, одним словом, в душе страшная пустыня... душу свою обратил он в ложь, делая из души своей наряд своему самолюбию". При этом не следует преуменьшать роль такого источника лжи, как ненависть к империи - Российской, Советской.

---

[17] Аксаков И.С. Письма к родным. 1844- 1849. М., Наука. 1988. С. 405.

В статье "О современном человеке" встречаем такие ключевые аксаковские слова, как "прямота души", "прямота сочувствия", "прямо общественный человек", и с высоты этой нравственной прямоты рассматривает автор так называемый "свет" с "ядом эгоизма", противопоставляя ему "мир", "общество", где личность находит себя в "общем любовном согласии" и "восходит, следовательно, в высшую область духа". В основании же света - сторона исключительно внешняя, здесь требуется одна наружность, личина, видимость приличия, а "внутри может лежать что угодно, до этого нужды нет". Самое страшное зло в свете, по словам Аксакова, это "равнодушие к нравственному вопросу", абсолютное непризнание его, свет "выкидывает самый вопрос нравственный вон из жизни". И вот "свирепый агнец", как называл Константина Аксакова Хомяков за младенческую чистоту его души и неистовость убеждений, объявляет войну светскому разврату, "растленным душам". Он говорит о тех, кто под лицемерным предлогом христианского неосуждения готовы потворствовать любой подлости, кто "в оправдания общения своего и дружеских пирований с отъявленными мерзавцами говорят: "я не хочу осуждать". "Не осуждайте" - кричит подлец и плут из плутов". Называя эту демагогию искажением значения любви христианской, Аксаков так разъясняет "свои положения": основа в обществе - единство нравственного убеждения; человек, нарушивший эту нравственную основу, тем самым становится невозможным в обществе. Если же общество его не исключает, то происходит уже не частная безнравственность лица, но безнравственность самого общества, безнравственность, падающая уже на всех. Необходим общественный суд. Он судит не грешников (грешники мы все), но отступника.

Весь Константин Аксаков, вся сила, неистовость его убеждений в конце статьи "О современном человеке", когда он говорит: "...у вас нет единства в убеждениях с другим человеком, и вы расходитесь с ним - вот и только"... "Но если бы (предположим такую страну или время) пришлось человеку при таких требованиях остаться совершенно одному среди людей? Он должен оставаться один, и он прав в своем одиночестве. Он желал бы жить в обществе, но для жизни в обществе не пожертвует нравственным началом, основою общества (это была бы нелепость)". И еще раз повторяет, уже делая это концом своей статьи: "Хотя бы пришлось остаться человеку вовсе без общества, одному - пусть он будет один, пусть осудит себя на общественное отшельничество, но пусть будет неколебим в своем нравственном основании, в своем общественном требовании, пусть не уступит и не воздаст чести греху:

Hora novissima,
Tempora pessima sunt.
Vigilemus [18].

Сказанное в устах Константина Аксакова было не просто словами, это хорошо понимали, чувствовали близко знавшие его современники. Недаром Герцен говорил о нем, что он "за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, и когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительными". Нелегко давались разрывы по убеждению со вчерашними в чем-то единомышленниками, но драматизм расхождения еще глубже только открывал его высокие человеческие качества, искренность, честность, благородство и поднимал на еще большую высоту его веру. Герцен вспоминал: "В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни "славяне", ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице. К.Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг

18

Дни последние,
Времена наихудшие.
Будем бодрствовать (лат.).

остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне. "Мне было слишком больно,- сказал он,- проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить, жаль, жаль, но нечего делать. Я хотел пожать вам руку и проститься". Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился: я стоял на том же месте, мне было грустно: он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. Как я любил его в эту минуту ссоры"!

Константин Аксаков различал мысль и думу, вторую считал достоянием немногих. И вот эту его думу о "современном человеке" можно назвать, при полном отсутствии у этого праведника тщеславия учительства, можно назвать эту думу его завещанием русской литературе, обществу, России. Он восстановил первородный смысл слова "грех" - в истинно христианском его значении. Не литературное кокетство вокруг "греховного мира", "мир лежит во зле и грехе" и т.д., он вступает в бой с самим грехом. Как в себе (не найдя подругу жизни, он остался девственником), так и в окружающем мире. Он готов остаться один и здесь, ибо знает одну только истину, и эта истина - Христос. И он, конечно, не один, а с тем, кто сказал своим немногим последователям: "Мужайтесь! Я победил мир" (Иоанн, 16, 33).

Константин Аксаков задал литературе, обществу такую духовную "планку", которая, конечно же, непосильна для нас, "немощных", но забывать о которой мы уже не можем. И то, что был такой подвиг в литературе - стало высшим оправданием русского слова.

Было историческим предвидением то, что он назвал в своей думе "о современном человеке" "растленными душами", "смешением добра и зла", все это стало духовной чумой так называемого "серебряного века" с неразличением Бога и дьявола, с "новым религиозным сознанием", а в наше "демократическое" время массовым растлением под лозунгом плюрализма и свободы слова.

Два "рая земных" дано было познать Сергею Тимофеевичу в жизни: Аксаково - колыбель детства, где ему открылись глаза на "чудеса природы"; и Абрамцево - пристанище его последних четырнадцати лет, насытившее его сполна зрелой радостью общения с природой, но и ранившее душу закатом ее красоты. Как уходило за край неба солнце, так, видно, по всему, закатывалось для него Абрамцево, да и не только оно. В эту осеннюю непогоду, сидя в четырех стенах, слушая хлест мокрого ветра в затворенные окна, он с непривычной для себя покорностью вдруг понял и принял как должное, что захворал тяжело и от него теперь ничего не зависит.

В Москве самоотверженно ухаживавший за отцом Константин Сергеевич писал "Наблюдение болезни" Сергея Тимофеевича, а также вел "Дневник болезни", отмечая подробности состояния, самочувствия больного. Целые десятки лет он очень часто подвергался сильным спазматическим головным болям... тринадцать лет назад он потерял левый глаз от катаракты, но теперь была другая причина его страданий. Жестокость болей, иногда невыносимую, доставляли рези в желудке и особенно воспалительные раздражения в мочевом канале с выходом крови. В начале мая 1858 года в письме к П.А. Плетневу Сергей Тимофеевич писал: "Конечно, великая отрада быть окружену такими попечениями, как я, но в то же время неотразимо прискорбно огорчать и печалить своим болезненным положением мое доброе семейство". Вся семья ушла в это попечение. Посетивший больного старика Аксакова Иван Сергеевич Тургенев говорил с удивлением о той самоотреченности, терпении, кротости, с которыми Константин Сергеевич, как сиделка ходил за отцом. Близкий к аксаковской семье историк М.П. Погодин записал в "Дневнике" "Константин - святой человек в чувствах к отцу".

Но поразительно, как и в таком состоянии, на одре мучительной болезни, мог написать старик Аксаков, вернее, продиктовать дочери Вере трепетно-поэтический "рассказ из студентской жизни" "Собирание бабочек" (для сборника в пользу нуждающихся студентов родного ему Казанского университета). Страдающий от приступов болезни, еле передвигающийся в запертой темной комнате, еле различающий одним глазом предметы (только по-прежнему ясны для него чувствуемые сердцем каждое движение, каждый поворот головы склонившейся над столом Веры, записывающей рассказ под диктовку отесеньки),

немощный старец - что мог он вспомнить о каких-то бабочках, о собирании их более полувека тому назад? Но вот он, до того сидевший в кресле согнувшимся, приподнял голову, уставился взглядом перед собою, умиление скользнуло по лицу, оживляя его внутренней теплотой воспоминания, и заговорил, по-домашнему просто, с какой-то светлой, набирающей силу нотой, и что-то как будто влетело в комнату, распахнуло ее и властно позвало на воздух, на простор. "Как радостно первое появление бабочек! - слышался голос, казалось, звавший на этот простор. - Какое одушевление придают они природе, только что просыпающейся к жизни после жестокой, продолжительной зимы..." Он словно уже видел бабочку, радующую его взгляд, и следил неотрывно за нею, даже как будто уже шел к этому "порхающему цветку", видел себя уже бегущим за ним, как когда-то, более полувека назад, пятнадцатилетним студентом Казанского университета, бегал он на поляне загородного сада, преследуя носящихся в воздухе мелькающих разноцветных бабочек и затем дрожащими от радости руками извлекая из мешочка рампетки добычу.

"Из всех насекомых, населяющих Божий мир, из всех живых тварей, ползающих, прыгающих и летающих,- бабочка лучше, изящнее всех",- диктовал он, и как будто не воспоминание это было, а живое созерцание мелкой твари, трогательной вестницы недоступной уже ему природы. Как прекрасна жизнь, и сколько радости для глаз в гармонии цветов, узоров, испещряющих это милое, чистое создание, никому не делающее вреда, питающееся соком цветов, которое сосет оно своим хоботком... Таким он уже рожден и таким сойдет, видно, в могилу: достаточно прилепиться к чему-нибудь в природе, вот к этим хотя бы бабочкам, и все для него в них, весь мир, средоточие всего живого на земле. И в нем самом оживает целый мир впечатлений, и от тех мест, где ловил бабочек, где провел много счастливых, блаженных часов, и от тех людей, с кем делил эту страсть, которая так быстро, но горячо прошла по душе его и оставила в нем незабываемый след. Так грустно от невозвратного того чудесного времени... но нужды нет! "Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими, а также впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии,- благодатны, и воспоминания о них вызывают отрадное чувство из глубины души человеческой".

И уже за четыре месяца до смерти находил он отраду хотя бы в мысленном воображаемом общении с природой, диктуя Вере "Очерк зимнего дня". Вспомнился ему зимний день, падение снега, почти полвека тому назад. "Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки: падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю".

С поля в сумерках шел он домой, видя засветившиеся огоньки в крестьянских избах, предаваясь заботам и мечтам о завтрашней охоте... И подобно тому, как рано утром в начавшемся рассвете топившаяся печка освещала дверь и половину горницы каким-то веселым, отрадным и гостеприимным светом, так же веяло чем-то приветливым, светлым от самого голоса Сергея Тимофеевича, диктовавшего свое последнее произведение. И столько поразительной свежести и очарования, молодости чувств было в каждой его фразе, что невозможно было поверить, смириться с мыслью, что это пишет умирающий писатель.

30 апреля 1859 года, в третьем часу пополуночи, скончался Сергей Тимофеевич на руках своей любимой семьи. В воскресенье 3 мая в церковь Святых Бориса и Глеба, где отпевали покойного, проститься с ним пришли его многочисленные друзья, почти все здешние литераторы, ученые, люди всех званий. Прощались с дорогим, глубоко чтимым человеком и писателем. Последний путь лежал до Симонова монастыря, здесь, по желанию самого писателя, его и должны были похоронить. При торжественном песнопении гроб

Аксакова на руках был внесен в ворота монастыря... Весеннее солнце ласково грело землю, ликующе щебетали птицы. На деревьях распускалась нежная зелень. В воздухе чувствовалось первое дыхание весны, и было что-то невероятное в том, что с пробуждением природы замолк навеки тот, кто умел так радоваться всему живому в ней, кому как немногим была открыта красота этого великого Божьего мира.

Когда в разверстую, залитую яркими весенними лучами солнца могилу опускали гроб отца, Константин Сергеевич как будто и не осознавал отчетливо, что происходит. Он стоял около матери и неподвижным взглядом смотрел перед собою, отрешенный от всего, что делалось вокруг.

Сергея Тимофеевича похоронили 3 мая, а уже в середине мая знакомые Константина Сергеевича не узнавали его. Он страшно изменился. От сильной исхудалости что-то удлиненное появилось в его лице и всей фигуре, пепельными стали борода и усы и какая-то жуткая тихость во всем - в голосе и в самом взгляде, обращенном внутрь себя. Видя такую перемену и боясь за его жизнь, знакомые упрекали Константина Сергеевича, что он не удерживает себя от горя, дает ему волю и намеренно расстраивает себя. Но он просил не верить этому, добавляя: "Я просто не могу". Иной приглашал его в деревню, чтобы как-то рассеять его, и на этот привет он отвечал очень серьезно, но задумчиво, что, если бы его приглашение было сделано при батюшке, тогда он с охотой бы поехал, но теперь все кончилось, ни удовольствие, ни радость жизни для него существовать не могли.

Всю зиму Константин Сергеевич чахнул, весной ему стало совсем худо, лето не принесло облегченья, и его отправили на лечение за границу. Тамошние врачи-знаменитости дивились чахотке этого богатыря, съедаемого тоской по умершему отцу, в этом и была его болезнь. Последнее, что могли предложить врачи,- это теплый морской климат. И вот он вместе со своим братом Иваном Сергеевичем, сопровождавшим и опекавшим его, отправился на греческий остров Занте. Это было второе и последнее совместное путешествие братьев. Прошло десять лет, как они вместе ездили в Ростов Великий, Углич. Тогда Иван желал ближе свести старшего брата с действительностью. Теперь в этом уже не было нужды, тут была уже действительность иная, перед которой смолкают все практические вопросы. Пароход вез их к неведомым берегам. Константин Сергеевич, глядя с невыразимой тоской в волны, говорил брату: "Неужели, однако, уж и кончено? Как не ожидал я. Но чтоб так уж скоро, кто бы думал"?

Пустынный остров и стал последним земным пристанищем Константина Сергеевича. Чувствуя, что приближается конец, он пожелал исповедаться и причаститься. Русского православного священника в этих местах не было, нашли священника-грека, с трудом говорившего по-французски. На языке, на котором он всю жизнь избегал говорить, и исповедался умирающий. Грек, пришедший наскоро справить требу, был изумлен, слушая исповедь, видя такую твердость духа перед кончиной. И долго потом не переставал он удивляться, все просил - может ли он повидать близких, а главное - мать покойного, ему хотелось передать ей - праведник скончался, еще не видывал он, исповедник, ничего подобного в жизни. Он все хотел узнать: кто же этот необыкновенный человек? Кто же умер перед ним? Ему отвечали, что это был Константин Сергеевич Аксаков. И что можно было к этому прибавить?

А бедная мать, не вынесшая разлуки с больным сыном и месяц тому назад приехавшая к нему на остров вместе с двумя старшими дочерьми Верою и Любовью, убитая горем, отправилась в обратное путешествие с гробом первенца; Иван и его сестры неотлучно были при ней в дороге.

Исполнилось предчувствие Сергея Тимофеевича: не перенес его смерти старший сын, пережив отца всего на год и семь месяцев. Вскоре опять они были рядом - в могилах в Симоновом монастыре.

С оцепенением в душе писал Иван Сергеевич Юрию Самарину: "Теперь в Москве, там, за городом, на поле, в симоновской глуши около него водворились страшный мир и страшная тишина, морозы сковали свежую землю, ветер то и дело заносит ее снегом... Есть

что-то беззаконное в этой смерти, как бы она сама по себе ни была свята, какой бы святой жизни она ни была окончанием, беззаконное постольку, поскольку в ней участвовала воля умершего..." Не мог примириться младший брат с казавшейся ему своевольной смертью старшего брата, не нашедшего в себе сил жить после кончины отца. "Еще трудно отрешиться от болезненных воспоминаний",- писал тогда же Иван Аксаков, и они не покидали, преследовали его и дома, и за границей, в славянских землях, куда он вскоре уехал и где в своей "записной книжке" отдавался мыслям о тоске, о ее месте, значении в литературе русской и европейской, о том, что "все вопли и стоны родной земли, поднимаясь, как испарения к небу, образуют живую атмосферу тоски, которой поэт является избранным выражением, органом, передатчиком, истолкователем", и в этом смутном тягостном ощущении ясной для его сознания была тоска по брату.

Смерть отца, а затем старшего брата, имевших огромное влияние на него, глубоко ранили Ивана Сергеевича. Угас в нем, казалось, интерес к злободневным вопросам, общественной деятельности. Но он знал, что нельзя давать власти над собою унынию, ведь это он поучал Константина, удрученного смертью отца, что брат будет не прав, если постоянная горечь станет мешать его деятельности. В службе пользы общественной никакое личное горе в расчет не берется. И он знал, что его ждет эта служба, как бы тяжело ему ни было.

А между тем на пороге было уже новое, пореформенное время. Вступали в действие невиданные дотоле на Руси буржуазные силы. Было ясно, что современные требования неизбежно коснутся и славянофильства. И надо было избрать путь в соответствии с изменившимися историческими условиями. Для Ивана Аксакова началась новая эпоха его деятельности. Он начал издавать газету "День", затем "Москва", "Москвич", где уверенно вступил в реальные взаимоотношения с новой действительностью. Для него была свершившимся фактом новая экономическая жизнь в России. И он увидел свою цель в том, чтобы обратить эти изменения, как экономические, так и общественные, в обновленные доводы славянофильских идей. Мало кто, как он, понимал растущее значение промышленности в жизни страны. Ведь еще в поездке по украинским ярмаркам он познал вкус к изучению "материальных сил", экономики края. В пореформенной действительности роль "материальных сил" неизмеримо возрастала, и это он готов был только приветствовать. О железнодорожном строительстве он говорил языком поэта: "Всякая верста железной дороги просветительнее тысячи казенных учреждений и благодетельнее целого свода законов". И можно представить себе, каким благом была бы в глазах Ивана Аксакова построенная уже после его смерти великая сибирская железная дорога с тысячами мостов удивительного инженерного искусства, тоннелей, это чудо науки и техники XIX века, чудо русского строительного гения, возникшее за короткий срок и восхитившее мир.

Исключительная чуткость к происходящим изменениям делала его выступления событиями в публицистике, общественной жизни. Он смело и прямо высказывал взгляды, которые, по его мнению, диктовались духом времени и которые вызывали горячие споры. Сам старинный дворянин, он выступил за упразднение дворянства как привилегированного сословия, чем вызвал резкое возражение со стороны многих известных публицистов во главе с М.Н. Катковым. Но эта идея Ивана Аксакова была, в сущности, итогом той борьбы, которую вел старший брат Константин, и он сам, ставя во главу угла крестьянство, народ, видя в нем главную нравственную силу, воплощение национальной самобытности, призывая к сближению с народом, с его историческими и духовными началами.

В литературе о славянофильстве принято считать, что Иван Аксаков - "практик" славянофильства. Грандиозная общественная деятельность Ивана Сергеевича действительно как бы закрывала собою творческое развитие им славянофильского учения, которое нашло свое выражение в его публицистике. Такова теория "общества", развития в ряде его передовых статей, опубликованных в 1862 году в газете "День". Известно, что об "общественном мнении", как о "великом благе и великой силе", писал К.Аксаков. Но это была категория как бы отвлеченно-нравственная в отношении учения К.Аксакова о "Земле"

("народе") и государстве.

Иван Аксаков вводит третью силу, имеющую уже свое определенное место. "Что такое общество? и какое его значение у нас в России, между Землею и Государством?.. Общество, по нашему мнению, есть та среда, в которой совершается сознательная умственная деятельность известного народа; которая создается всеми духовными силами народа, разрабатывающими народное самосознание. Другими словами, общество есть народ во втором моменте, на второй ступени своего развития, народ самосознающий" [19].

Проследим далее развитие мысли Ивана Аксакова. "Итак, мы имеем: с одной стороны - народ в его непосредственном бытии; с другой - государство,- как внешнее определение народа... наконец, между государством и народом - общество, т.е. тот же народ, но в высшем своем человеческом значении, не пребывающий только в известных началах своей народности, но сознающий их, сознательно развивающий ... Народность, не вооруженная сознанием, не всегда надежный оплот против врагов внутренних и внешних. Только сознание народных начал, только общество, служащее истинным выражением народности, являющее высшую сознательную деятельность народного духа, может спасти народ..." [20] "Народ делает доступное ему дело жизни, выжидая, чтоб недоступное ему, по его неведению и самому бытовому строю, довершили те, которые от народа, но сверх народа, призваны служить высшим органом народного самосознания" [21].

Но каков, так сказать, состав "общества", кто, какие лица составляют его? Естественное условие, конечно, образование, "но не в значении известного количества "познаний", и даже не в значении одного умственного образования, а в значении личного духовного развития вообще, такого развития, которым нарушается однообразие и безличность непосредственного народного бытия, но нарушается именно тем, что дух народа сознается и самое единство народное ощущается - яснее и живее. ... Общество образуется из людей всех сословий и состояний - аристократов самых кровных и крестьян самой обыкновенной породы, соединенных известным уровнем образования. Чем выше умственный и нравственный уровень, тем сильнее и общество" [22].

Как видим, в этом обществе нет места той духовной черни, которую Иван Аксаков с презрением всегда называл "так называемой интеллигенцией". Отличительная особенность этой "интеллигенции" - это ее "болезнь сознания" [23], духовная беспочвенность, язва нигилизма, космополитизм, холуйство перед Западом. По словам Ивана Аксакова, "интеллигенты" (это слово всегда берется им в кавычки) "все превеликие мастера искать разные "взгляды" и "нечто", судить и рядить о судьбах человечества вообще, созидать и разрушать в теории человеческие общества (и не только в теории.- М.Л.)... прибавьте самомнение, гордость знания, или точнее,- полузнания, чванство последними словами науки, высокомерно-отрицательное отношение к русской истории, к Русской народности, полнейшее неведение - из человеческих обществ - именно Русского общества,- и вам станет понятно, каким образом в этой среде отвлеченности, неведения и отрицания... могли возникнуть и сепаратизм, и демократо-революционизм, и анархизм,- одним словом,- все заграничные измы, образовавшиеся там исторически и законно, но у нас беззаконно рожденные,- а в конце концов, как венец нашего общественного культурного развития, все

---

[19] Аксаков И.С. Поли. собр. соч. В 7 т. СПб., изд. А.С. Суворина. 1891. Т. 2. С. 31-33.

[20] Аксаков И.С. Поли. собр. соч. В 7 т. СПб., изд. А.С. Суворина. 1891. Т. 2. С. 37.

[21] Аксаков И.С. Поли. собр. соч. В 7 т. СПб., изд. А.С. Суворина. 1891. Т. 2. С. 654.

[22] Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 38.

[23] Там же. С. 661.

выражающий одним словом, приводящий всех к одному знаменателю, вполне уже наш, свой, дома выхоленный - нигилизм" [24]. Нигилизм нельзя считать внезапно возникшим в России, он готовился исподволь, исторически, начиная от эпохи какого-нибудь Ивана Хворостинина (считавшего, что нельзя "с глупыми русскими жити"),- перебежчика в лагерь Лжедмитрия II, до времен эмигранта-иезуита Печерина ("как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья"), Чаадаева ("Россия - аномалия, абсурд, пустое место в истории"), до Мережковских ("новое религиозное сознание"), до самого Толстого (анархическое отрицание всего и вся, от Церкви до государства).

Подводя итог изданию своей газеты "День", Иван Аксаков писал: "Заступничеством за права русского народа и народности, так, как мы их понимаем, мы и начали, и окончили свой тягостный, четырехлетний редакторский труд". Вместе с тем Иван Сергеевич не идолопоклонство-вал перед народом. Дорожные впечатления во время многочисленных служебных поездок по России, непосредственное знакомство с сельскими жителями, их бытом открывали Ивану Сергеевичу и то далеко не идеальное в народе, что было скрыто от его старшего брата Константина, восторженного народопоклонника.

Глубоко актуальный смысл придавал Иван Аксаков понятию патриотизма. В передовой статье газеты "День" "В чем недостаточность русского патриотизма?" он пишет, что "время и обстоятельства требуют от нас патриотизма иного качества, нежели в прежние годины народных бедствий", что "надо уметь стоять за Россию не только головами (как на войне. - М.Л.), но и головою", то есть пониманием происходящего, "не одним оружием военным, но и оружием духовным; не только против видимых врагов, в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосязаемых недругов..." Для патриотизма важны не только воинские подвиги, но и подвиги духа. Такое редкое сочетание качеств патриота - мужественного воина и мыслящей личности - было в генерале Скобелеве, с которым Ивана Аксакова связывали дружественные отношения. Какой вой подняла "либеральная пресса" в ответ на патриотическую речь Скобелева, его слова о "доморощенных иноплеменниках", о чуждой народу "интеллигенции".

Иван Аксаков не раз подчеркивал, что "общество" - это не партия, не какая-то официальная корпорация образованных умов, а духовно-нравственное единение выразителей народного самосознания. Как редактор "Дня" он мог быть по-человечески великодушен к разным людям (сведя, например, на страницах "Дня" мытарившегося в Европе Печерина с другом его молодости), но был непреклонен в своих принципах, отказываясь печатать статьи, чуждые его убеждениям.

Но каковы взаимоотношения "общества" и "так называемой интеллигенции"? То, что составляет сущность мировоззрения "общества" - народность - для "интеллигенции" решительно пустой звук, атавизм. Ретроградами, реакционерами в глазах "интеллигенции" были и Достоевский с Иваном Аксаковым, которых родственно связывала идея русской народности. Главное для "интеллигенции" - "теории", очередные философские книжки, вывезенные из-за рубежа. Как в некрасовской поэме "Саша":

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет.

Прочитали или даже просто услышали о Вольтере, Дидро - и появились вольтерьянцы-просветители с масонской помесью. Узнали о Гегеле - расплодились гегельянцы. Познакомились с Сен-Симоном, Фурье - на арену вышли социалисты. Вслед за тем - ученики Фохта, Молешотта - с резаньем лягушек, культом естествознания, что только и сулило прогресс.

В статье "О деспотизме теории над жизнью" Иван Аксаков писал: "Из всех фасадов

---

[24] Там же. С. 659-660.

самый худший есть фасад либерализма". Либералы-интеллигенты слепо раболепствуют перед своим идолом - прогрессом. В другой аксаковской статье "Ответ на рукописную статью "Христианство и прогресс"" говорится: "Прежде всего о заглавии "Христианство и прогресс". Слово "прогресс" само по себе ничего не выражает; ведь мы говорили: "прогресс добра и прогресс зла, прогресс болезни". Цивилизация, отвергающая веру в Бога и Христа, ведет к одичанию, какие бы там либеральные и прогрессивные знамена ни выкидывала". В наше время разнузданного террора мирового либерализма особенно актуально звучат аксаковские слова: "Апостол Иоанн определяет антихриста именно как лжеподобие Христа. Такое лжеподобие преподносится теперь миру современным прогрессом и разными гуманными и литературными теориями".

Заискивание, раболепство перед "просвещенным" Западом сочеталось у "интеллигентской" черни с презрением, ненавистью к России. Считающая себя "солью земли" "интеллигенция" давно уже даже и выходцами из нее воспринимается как отрава народной почвы, как враг, губитель России. Философ-богослов С.Булгаков писал в своей статье в "Вехах" (как бы в продолжение мыслей Ивана Аксакова о разрушительной роли "интеллигенции"): "...для патриота, любящего свой народ и болеющего нуждами русской государственности, нет более захватывающей темы для размышлений, как о природе русской интеллигенции, и вместе с тем нет заботы более томительной и тревожной, как о том, поднимется ли на высоту своей задачи русская интеллигенция, получит ли Россия столь нужный ей образованный класс с русской душой, просвещенным разумом, твердой волей, ибо в противном случае интеллигенция... погубит Россию".

Мысли Ивана Аксакова, пристально следившего за происходящим в мире, живо занимал и Новый Свет - Америка. (Кстати, Герцен видел в ней и в России - две главные ведущие силы в будущем человечества.) В газете "День" обсуждались "американские вопросы", события, связанные с тогдашней гражданской войной в Америке между Севером и Югом. В январе 1865 года, в "Дне" была опубликована статья Аксакова "Об отсутствии духовного содержания в американской народности". Автор пишет: "Мы сами видели американских джентельменов, очень серьезно и искренно доказывавших, что у негров нет человеческой души и что они только особая порода животных". Таково соседство американской свободы с "бесчеловечностью отношения к людям". И сама война Северных штатов с Южными - с ее "остервенением, оргией братоубийства" - "как будто необходимо было явить миру, как способны уживаться дикость и свирепость с цивилизацией". Будущее Америки Ивану Аксакову представлялось в довольно мрачном свете: "...Этот новый исполин-государство бездушен,- и, основанный на одних материальных основах, погибнет под ударами материализма. Америка держится еще пока тем, что в народностях, ее составляющих, еще живы предания их метрополий, нравственные и религиозные. Когда же предания исчезнут, сформируется действительно американская народность и составится Американское государство, без веры, без нравственных начал и идеалов, или оно падет от разнузданности личного эгоизма и безверия единиц, или сплотится в страшную деспотию Нового Света".

Мрачные мысли об Америке были и у Хомякова. В своей исторической работе "Семирамида" он говорит о "завоевателях, размочивших кровью землю, открытую благородным подвигом Христофора Колумба, и затопивших в крови крест, принесенный Колумбом".

Русские писатели отмечали бездуховность, царящую в стране материально-технических достижений. Гоголь с сочувствием приводил слова, сказанные Пушкиным: "А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина, человек в ней выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит". Уже в начале XX века Толстой, говоря о том, что "американцы достигли наивысший степени материального благосостояния", удивлялся духовному уровню своего американского коллеги. "На днях бывший здесь Scott - он американский писатель - не знал лучших писателей своей страны. Это так же, как русскому писателю не знать Гоголя, Пушкина, Тютчева".

С годами имя Ивана Аксакова как общественного деятеля приобретало все больший авторитет. В 1872- 1874 годах он был председателем Общества любителей российской словесности. Особенно прославился он на поприще председателя Славянского комитета. Еще во время путешествия по славянским землям, вскоре после смерти отца, он поставил своей задачей "упрочить дружественные связи со славянами и узнать поближе их дело и обстоятельства". В дальнейшем Иван Сергеевич очень много сделал для плодотворного развития этих связей, для помощи славянам. Расположенное к Ивану Аксакову московское купечество вносило через него в Славянский комитет крупные денежные суммы, которые шли на народные училища в славянских странах. На деньги купцов выплачивались стипендии студентам-славянам, учившимся в России.

Велика, действенна была роль Ивана Аксакова в защите славян от турецких поработителей. Он как руководитель Славянского комитета снарядил в Сербию генерала М.Г. Черняева и отправил туда добровольцев для борьбы с турками. Во время Русско-турецкой войны 1877- 1878 годов Иван Аксаков развернул энергичнейшую деятельность не только как публицист, но и как организатор; так, он участвовал в доставке оружия для болгарских дружин, имея связи с директорами железных дорог, добивался бесплатного провоза в Болгарию военного снаряжения и продовольствия. Современники считали, что народное движение за освобождение балканских славян нашло в лице Ивана Аксакова своего Минина.

Любовь к России, пламенное гражданское чувство, непреклонность убеждений, честность ("честен, как Аксаков" - это было почти пословицей) делали Ивана Сергеевича выдающейся личностью, распространявшей вокруг себя сильное нравственное влияние. Его призыв к "русским быть русскими" ничего общего не имел с национальной исключительностью, а означал только то, что, как всякий человек любой национальности, русский должен иметь чувство национального достоинства, не быть духовным рабом, лакеем перед Западом. И сам он, Иван Аксаков, был примером в этом отношении, недаром один из современников признавался, что он сильнее всего чувствует себя русским в трех случаях: когда слушает древние песнопения, когда слышит русскую народную песню и когда читает речи и статьи Ивана Аксакова о "наших русских делах".

Вера в русский народ, идея необходимости преодолеть разрыв, существующий между народом и образованным слоем, была той почвой, на которой произошло сближение Ивана Аксакова с Достоевским. Высшей точкой их единодушия стали дни Пушкинского праздника в начале июня 1880 года. Тогда, как известно, в Москве, в Благородном собрании, Достоевский произнес свою знаменитую речь о Пушкине, которая произвела потрясающее впечатление на всех присутствующих. С поистине пророческим вдохновением говорил Достоевский о Пушкине как всеобъемлющем гении русского духа, воплотившем в себе и такое свойство русского человека, как его всечеловеческая отзывчивость, чувство братства, тем самым сказавшем человечеству новое слово. После речи Достоевского должен был выступать Иван Аксаков, однако, взойдя на кафедру, он заявил, что отказывается от выступления: ему нечего сказать - все разъяснил в своей гениальной речи Федор Михайлович Достоевский. Правда, Ивану Сергеевичу, любимцу Москвы, все-таки пришлось выступить, его отказ не был принят, и выступил он, по обыкновению, с блестящим ораторским искусством, развивая мысль о народных началах в творчестве Пушкина, о значении для него его няни, Арины Родионовны.

Переживший на два с лишним десятилетия старшего брата, Иван Сергеевич видел, как меняется Россия, как любезные когда-то сердцу отца патриархальные нравы теснятся новым образом жизни негоциантов, не знающих иного идеала, кроме приобретательства. "Невольно вспоминаю я брата Константина и думаю, как было бы ему странно, горько и чуждо среди этого движения",- писал Иван Сергеевич одному из своих знакомых. Пришло время вспомнить не только отца и Константина. Не стало матери - Ольга Семеновна умерла в 1878 году. Скончались сестры - Ольга, Вера, Любовь, Надежда. Чаще других вспоминалась Вера, о ней Иван Сергеевич писал: "Она принадлежала всецело тому периоду времени, когда

развивался и действовал брат Константин... Она свято хранила заветы и предания всей нашей школы. Она для меня служила руководительницею и поверкой". Остались в живых самые младшие сестры - Мария и София. В семейную аксаковскую хронику София вписала свою страницу: в 1870 году она продала С.И. Мамонтову Абрамцево, впрочем, усадьба попала в хорошие руки, и, как при Сергее Тимофеевиче здесь бывали известные писатели и общественные деятели, так при новом хозяине гостеприимный дом стал местом, где собирались художники, музыканты, где были созданы замечательные творения русской живописи.

Скромный, никогда не выделявший себя, всегда гордившийся своими знаменитыми братьями Константином и Иваном, Григорий Сергеевич служил вдалеке, сначала был оренбургским, а потом самарским губернатором.

Можно было бы и еще длить post scriptum к семейной аксаковской хронике, но мы закончим его прощанием с Иваном Сергеевичем, умершим в начале 1886 года. Его смерть вызвала широкую волну сочувственных откликов по всей России и за рубежом. Телеграмму из Москвы 27 января 1886 г. в 12 час. ночи послал императору К.Победоносцев с сочувственным извещением о смерти И.Аксакова с такими словами: "Немного таких честных и чистых людей, с такою горячею любовью к России и всему русскому". Александр III ответил: "Действительно, потеря, в своем роде, незаменимая. Человек он был истинно русский, с чистою душою, и хотя и маньяк в некоторых вопросах, но защищающий везде и всегда русские интересы". А.Н. Островский сказал, узнав о его кончине: "Какой столп свалился!" И такое ощущение было у многих современников, к которым были обращены сказанные за три недели до смерти слова Ивана Аксакова: "Будем бодрствовать!.. Любовь к истине, любовь к своему народу и земле делают борьбу обязательною. Но ведь не по шоссе же в самом деле достигают до царства правды, а нудится она скоростным путем; но ведь именно к подвигам и призываются те, кому много дано и предназначено.

Или мы уже разуверились в том, что России много дано и предназначено?"

И при этом имени неизбежно вставали рядом имена Сергея Тимофеевича и Константина Аксаковых, то была уже становившаяся историей русской культуры, ее высоким достоянием знаменитая семья, удивительно богатая плодами творчества и самой жизни.

Сб. "Современное прочтение русской классической литературы XIX века". М. Московский государственный областной педагогического университета. Изд. "Пашков дом", 2007

Пути прямые и - лукавые

Однажды я спросил о. Евгения Булина, священника подмосковного храма Покрова Божией Матери (он выпускник Литературного института им. А.М. Горького, где посещал и мой семинар), пишет ли он иногда что-нибудь, и о. Евгений ответил: я как-то попробовал, и мне стало нехорошо. И так это сказал, с таким выражением почти физической реакции на это "нехорошо", что мне неловко стало за мой вопрос. И тогда же о. Евгений подарил мне книгу, которая много объяснила, мягко говоря, его сдержанное отношение к литературе. Книга эта - "История одной старушки", монахини Амвросии (в миру - Александра Оберучева). (Изд. Храма Святых Косьмы и Дамиана на Маросейке. М., 2005.) И когда я начал читать ее, то сразу же почувствовал, как душа моя насыщается той простотой подлинности, за которой не видно слов, а встает перед тобой вся жизнь человека, какой она и должна быть по Христу, но почти не бывает по нашему ничтожеству.

Молодой девушкой в дореволюционное время Александра Оберучева избрала путь деятельной любви к "труждающимся и обремененным", ставши земским врачом, и вот мы видим, с какой самоотреченностью, изнемогая от усталости, помогает она людям в их страданиях. Толпами крестьяне с детьми, даже до трехсот в день, шли к ней на прием, зачастую ночью приходилось ей на подводе ехать в дальнюю деревню за верст сорок. И

всегда она сознавала "гору великой ответственности на себе": ведь ей "вручена жизнь человека".

Началась мировая война, провожая в поход брата с его товарищами, врач Александра Оберучева сказала им: "Я тоже поеду на войну". Поехала она на фронт с мыслью как врач "поспеть к первому бою". Так и вышло. На первом перевязочном пункте увидела она ужасную картину: масса тяжелораненых, разбитые черепа, искалеченные тела, стоны, умоляющие о помощи голоса, вскрики в бреду, неподвижность умерших. Скорее, скорее делать перевязки, все делать, чтобы облегчить мучения солдат. "Все мое черное платье было залито кровью, и я считала, что это святая кровь". На другой день утром она вместе с санитарами отправилась в направлении места боя. Оказывая по пути помощь раненым, дошла даже до окопов, к величайшему удивлению находившегося там брата, командира полка (о его местонахождении она узнала до этого).

Предстояла вскоре подвижническая работа в лазарете для холерных больных, потом во главе отряда, включавшего многих сестер, братьев милосердия, санитаров. Тогда она тяжело заболела сыпным тифом и едва выжила. Перед нами целая эпопея милосердия, святости в войну.

Встретившись на фронте с сестрой, ее брат, боевой офицер, сказал ей: "Саша, мы видели с тобой за это время столько человеческих страданий, что жить обычной, прежней жизнью уже нельзя - поступай в монастырь". Эти слова совпадали с самим ее подспудным желанием. В марте 1919 года в Оптиной пустыни был совершен постриг. Александра Оберучева стала монахиней Амвросией. Началось новое, духовное подвижничество.

В январе 1918 года декретом Совета народных комиссаров Оптина пустынь была закрыта, но продолжала существовать под видом сельхозартели до весны 1923 года. В Вербное воскресенье того года начался разгон старцев и монашествующих. "Прежде я думала: буду жить здесь, пока живы еще наши параличные монахи и калеки... Пошла к заведующему (латышу) и спросила его, а он мне на это сказал: "Да этих черных ворон можно стрихнином...". Меня это так поразило, что я, придя в себя, сказала сестрам: нам надо готовить сумки, чтобы уходить". Матушка Амвросия с тремя больничными сестрами устроилась в Козельске, в тесной комнате. К ним постоянно заходили, останавливались идущие из монастыря, могли здесь отдохнуть, ночевать на полу, на кухоньке. Монашествующие во множестве селились в Козельске, в окрестных деревнях, уезжали на родину. Это был исход с неразрывностью духовно-родственных связей. Как бы по цепочке помогали друг другу - найти жилье, делились последним куском, знали, кто куда уехал, переписывались. Сердечно пеклись о старцах, усугубилось молитвенное общение с беседами батюшки, понимание внутреннего, не внешнего монашествования. Матушка Амвросия посещала больных в городе и деревнях. Она и трое сестер из монастыря образовали маленькую общину (с шитьем одеял), чтобы легче переносить нищету. Но вскоре последовал ее арест, допрос следователя.

"Когда я вошла, он сам сел и предложил сесть около него. Стал читать, в чем я обвиняюсь: в агитации молодых девушек, привлечении к монашеству и организации общины... почему именно к вам приезжало так много молодежи?"

"Да потому, что я держу себя как-то так, что в нашем доме не чувствовалось, кто старший, и останавливающийся чувствовал себя свободно". Говорила я с ним вполне искренно. А насчет агитации сказала: "Я избегаю всяких знакомств, и мы вели жизнь самую уединенную".

"Да, я знаю, знаю хорошо вашу жизнь. Вас можно обвинить лишь только в немой агитации. Вас там знают и уважают. Вот врач - верующая, в этом безмолвная агитация". Все это он говорил успокоительным, дружелюбным тоном. И как ни странно в данном положении, даже располагал меня к себе".

В итоге ей была объявлена "свободная ссылка в г. Архангельске".

По приезде на место назначения ее вызвали в ГПУ и сказали: "Вы врач, вы здесь хорошо устроитесь". Но ей ли было "устраиваться" с ее характером в обстоятельствах,

условиях, в которых жили ссыльные и она вместе с ними. Положение их было тяжелое. Незабываем ее рассказ, как ссыльные отправляются в лес на работу, непосильную для многих, особенно для женщин - очищать лес, кору с бревен, как обессиленные, голодные, иные больные возвращаются вечером в бараки. И здесь матушка Амвросия находит в себе силы, чтобы ободрить несчастных, она предложила прочесть "Евангелие - что откроется", и "не могу выразить, как на всех подействовало прочитанное, подходящее к нашему положению". "Среди этой ужасной обстановки Господь послал нам мир душевный, неизъяснимый словами!" В ссылке матушка Амвросия встретилась с обитавшим в этих местах архиепископом Лукой (в миру В.Ф. Войно-Ясенецким, будущим автором знаменитых "Очерков гнойной хирургии"). Когда-то в молодости в срединной России работали они земскими врачами, и вот пути их еще раз пересеклись (теперь уже личным знакомством) на суровом Севере. Он благословил ее, и на ее вопрос: если ей предстанет необходимость работать по медицине, благословит ли он ее - "с готовностью, с радостью сказал: "Благословляю, работайте с Господом. Ведь я тоже работаю".

Да она никогда не прекращала свое милосердное дело и в ссылке, где несчастные так нуждались в медицинской помощи.

Но одновременно шло постижение того дорогого, милосердного, что есть в людях, в лучших из них. Иногда это воспринималось как чудо, вроде встречи с неизвестным после изнурительной работы в лесу: "А я ведь с утра не ела, как-то буду дальше, и со мной ничего нет... Вдруг навстречу идет крестьянин с кожаной курткой через плечо. Поклонился и говорит: "Я таких люблю, посидим!" Здесь было бревно. Мы сели. Он достал пшеничную лепешку и дал мне. Господи! Откуда же это могло быть при таком голоде? Я была поражена и от умиления стала плакать. Не помню, о чем мы говорили. Потом я съела лепешку и подкрепилась. Разве я могла бы дойти голодной? У меня было такое чувство, что это Ангел Господень послан мне для спасения".

На фоне равнодушия, отчужденности многих людей от ссыльных - тем ярче искры человеческого участия к ним. "Нас нигде не принимали. Походив целый день по городу, мы опять возвратились на вокзал. Ночевать там не полагалось, но старичок сторож сжалился над нами и позволил нам переночевать, хотя, как мы видели, другим он не разрешал". "Дорогой нам кто-то посоветовал, что лучше всего пойти ко всенощной попросить кого-нибудь из местных жителей нас приютить. Мы так и сделали... Там мы переночевали. Когда некуда было деться, одна женщина еще несколько раз принимала нас". "Сделалось совсем темно, надо где-нибудь ночевать. Не помню, как-то вышло, что мне дали ночлег: пустили какие-то семейные добрые люди. На другой день даже угостили меня блинами и на дорогу дали". "Уже темнело, и я едва успела дойти до тех рабочих, которые как-то приютили нас в предместье города. Там и ночевала". "Сын хозяйки согласился довезти меня с посылками в город". "Спаси Господи девушку. Она везла санки и решила проводить меня до места". "После обедни просфорница нас пригласила пить чай, сама предложила квартиру в мезонине и сказала, что муж ее приедет на лошади за нашими вещами". "Матушка София впоследствии рассказала мне, что когда она была на этом пересылочном пункте, то расспрашивала: куда отправлена такая-то старушка, ей хотелось узнать про меня. Комендант ответил, что он помнит такую, она напомнила ему мать, и ему так хотелось даже освободить ее. Недаром же батюшки заметили его доброе отношение ко мне". "Хозяева были хорошие люди, не притесняли нас". "Отдохнув и поговорив немного, я хотела уходить, а он, написав адрес своей дочери, живущей в Москве, настойчиво повторял: "Напишите ей, непременно напишите". Ему была назначена здесь ссылка. У меня осталось такое хорошее впечатление от этого человека, от этой чудесной встречи". И т. д. И вот этот эпизод, который как бы венчает все сказанное о добре, потому что оно здесь творится безымянно, по какому-то толчку Божественному. Матушка едет на электричке с посылкой для арестованного владыки.

"Электрички полны одних рабочих мужчин, там все лесопильные заводы. Народ бойкий: на остановках вылетают, как сумасшедшие. Наша станция. Со ступенек электрички надо сходить прямо на обледеневшую горку. Я, конечно, упала. Через мою голову прыгают

рабочие. Чья-то рука оказалась над моей головой и защищала меня от прыгающих. Слава Тебе, Милосердный!"

Любимый герой Достоевского князь Мышкин в "Идиоте" говорит: "Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия человечества". Опыт страдания и сострадания - наше духовное сокровище, сокровенное в нашем русском национальном бытии. Может быть, зло - одно из самых страшных, уготованных "демократами" России нашему народу, - это всеми средствами вытравить в нем, истребить в корне чувство сострадания. Но и им, оказывается, это не по силам. В своей книжке "Записки президента" Ельцин рассказывает, как он приказал командующим спецгрупп "Альфа" и "Вымпел" штурмовать "Белый дом" (3 октября 1993 года). "Я обвел взглядом их - огромных, сильных, красивых". Но "обе группы отказались участвовать в операции... мы не для того готовились, чтобы в безоружных машинисток стрелять". Какое надо иметь мужество, какую природную способность сострадать жертвам готовившейся расправы, чтобы, употребляя слово самого Ельцина, "наплевать" на его приказ. И здесь на память приходит другая, недавняя история, на этот раз уже в Израиле: получив приказ о сносе еврейского поселения, тамошние "спецназовцы", не раздумывая ни минуты, бросились беспощадно колошматить своих соплеменников, жителей этих поселений, и не нашлось ни одного из этих погромщиков, кто отказался бы выполнять приказ. Хороший повод пошевелить мозгами для тех, кто любит разглагольствовать, кто рабы, а кто не рабы.

Но вернемся к нашей героине, чтобы сказать о ней последнее слово. Скончалось матушка Амвросия незадолго до окончания Великой Отечественной войны, в августе 1944 года, и была похоронена в Сергиевом Посаде, на старом Клементьевском кладбище. Вплоть до ухода в мир иной, несмотря на слабеющие силы, продолжала она без отказа врачевать нуждающихся в помощи. Автор "Записок" о ней, монахиня, хорошо знавшая ее, пишет: "Матушка не любила поучать. Она больше говорила о том, что сама прошла опытом и провела в жизнь". "За плечами лежал длинный, доблестно пройденный путь".

***

Однажды к Серафиму Саровскому пришел некий профессор и начал разглагольствовать о Православии, вроде бы даже и поучая старца. Выслушав краснобая, преподобный Серафим сказал: "Учить так легко, а вот попробуй проходить делом то, чему учишь". И какой легион так называемых ученых, "докторов наук", писателей пустились ныне в говорильню, строчкогонство о Православии на манер того болтуна, о котором говорил Сталин: человек управляет языком, а Радеком управляет язык. Вот недавно в "Литературной газете" (№ 27, 4 - 10 июля 2007) был опубликован материал "круглого стола" под заглавием "Спасет ли православие христианскую цивилизацию?". Не будем вдаваться в диковатость для православного сознания самой постановки вопроса, так же как - экуменической подкладки в затее организатора "круглого стола". Это тема особая. Среди участников обсуждения были "представители всех христианских конфессий", но тон задавали "интеллектуалы". Возглавлявший "стол" А. Ципко находился вроде бы в пикантном положении: ведь не кто иной, как он, писал, что в православном храме видит только рабские лица; не он ли восхищался папой римским Иоанном Павлом И, стыдя нас, православных, что этот папа во времена тоталитаризма защищал религию, веру, а мы так неблагодарны к нему (видимо, и за то, что этот папа сыграл такую зловещую роль в уничтожении нашего великого государства). Он же, Ципко, прославился несусветной хвалой в адрес иуды Горбачева, в российском промасоненном фонде которого обрел прибежище. Видно, не удивляет его и то, что другой, созданный в 1992 году американский фонд Горбачева в Сан-Франциско, получивший в 1995 году новое название: Мировой Форум (фонд Горбачева), стал центром, где мировой закулисой, ее крупнейшими деятелями разрабатываются планы "нового мирового порядка" с закабалением народов, ликвидацией "излишнего населения", с глобальным контролем над человечеством, заменой христианской цивилизации -

иудейско-масонской (об этом пишет известный историк Олег Платонов в своей книге: "Почему погибнет Америка: Тайное мировое правительство", Краснодар, 2001). Именно фонд Горбачева выступил с идеей создания международной так называемой Организации Объединенных Религий, в качестве надзирателя над религиями мира (за исключением, разумеется, иудейской). И странновато, что поклонник этого цербера "мировой религии", вообще человек с таким набором антиправославных симпатий занял место на капитанском мостике "круглого стола", дабы указывать непререкаемо, куда "плыть православию".

Впрочем, такую решимость Ципко может отнести за счет той бердяевской (белибердяевской, по Солоневичу) "философии свободы", какую с младости он возлюбил (по собственному признанию) и волен таковой держаться при любых обстоятельствах. Вот и здесь, за этим "круглым столом", - полная "свобода" во всем. Например, в "оценке и субъекта декоммунизации и субъекта христианизации советской России. Несли в себе Бога не только те, кто принадлежал к "малому стаду", те, кто в советское время через воцерковление выражал свой протест против системы, но и "большое стадо" морально развитых людей, кто отличал добро от зла, кто не принимал идеологию классовой борьбы, мораль Павлика Морозова". Пишет это (как сказано о Ципко в справке одной газеты) член КПСС с 1963 по 1990 г., ответственный работник ЦК КПСС (об этом не сказано), и хотя ныне он рекомендует себя православным, тот партийный, цековский знак нестираем в его сознании.

Воцерковление он иначе и не может себе представить, как только в качестве "протеста против системы". Так и представляешь себе тех ретивых "партийцев", "агитаторов", которые в людях воцерковленных, верующих видели врагов советской системы. Уж не думают ли подобные охранники, что сама Литургия, Евхаристия, принятие Тела и Крови Христовых, что непостижимое, страшное это Таинство, на котором держится мир и будет держаться до его скончания, - неужели и это также не что иное, как "выражение протеста против системы"?

В своей статье в "Литературной газете" (28 февр. - 6 марта 2007 г.) А. Ципко, именуя меня "основоположником красного патриотизма", цитирует отрывок из моей статьи 60-х годов "Просвещенное мещанство": "Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. Это равносильно параличу творческого гения народа". По поводу этой цитаты Ципко пишет: "Красные патриоты защищали социализм не во имя Маркса и Ленина, а прежде всего как надежный заслон от искуса буржуазного благополучия, защищающий, как они считали, Россию от морального и духовного разложения". Это правильно. Время показало, что с сокрушением социализма, с внедрением культа наживы, буржуазного благополучия, "воровства, разбоя" (этими словами определял сребролюбие Игнатий Брянчанинов) - Россия в результате и оказалась жертвой наступившего морального и духовного разложения. Казалось бы, именно этой реальностью и объясняется главная причина нынешнего катастрофического состояния России. Однако, виновником этого автор объявляет тех же "красных патриотов", "красных славянофилов, которые по его словам", "связали в своем мировоззрении духовность с аморализмом, с преступлением" (следует ссылка на пресловутый пиарский антисталинский фильм "Покаяние", а точнее сказать - огульное охаивание советской эпохи). "Красный патриотизм... всеми своими ценностями, своими устремлениями находился в вопиющем противоречии с настроениями советских людей, а главное - с настроениями советской интеллигенции, которую перестройка вывела на политическую сцену". Что представляла из себя "советская интеллигенция" в "перестройку" и кто был заводилами в ней, какие фигуры орудовали на политической сцене - слишком хорошо известно, и сам Ципко прямо из ЦК сиганул в эту остервенелую "пятую колонну".

Удивительно, как переиначивает Ципко мое понимание буржуазности, "просвещенного мещанства", сводя его к бытовому мещанскому комфорту: Лобанов "восстает против буржуазности как благополучия, устроенности отлаженного быта". Речь в моей статье идет о мещанстве духовном, а не бытовом, житейском, о "сытости духовной", на чем я остановлюсь в дальнейшем. Ципко же так заворожен мещанством бытовым, что абсолютно уверен: "все

великие творения европейской культуры нового времени были созданы европейскими мещанами, привыкшими к сытой и устроенной жизни". Оставим в стороне "великие творения европейской культуры", якобы созданные мещанами (уже не мещанин ли и гениальный французский ученый Паскаль, живший свято и говоривший о едином порыве милосердия, превышающем все тела, звезды во вселенной и все сотворенное человечеством), но прелесть самой этой "отлаженной жизни" давно уже не секрет. Герцен, рвавшийся на Запад и проживший там много лет, был в ужасе и отчаянии от "мелкой и грязной среды мещанства, которое, как тина, покрывает зеленью своею всю Францию"; буржуа "обрюзг, отяжелел", он "смеется над самоотвержением", каменея "в разврате самом гнусном". "Все мельчает и вянет на истощенной почве: нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, нету силы воли, все нищают, не обогащая никого... нравы мелкой буржуазии стали общими". По словам Герцена, перед буржуа падает кисть художника. К. Леонтьев говорил о "среднем европейце" как воплощении буржуазной безликости, посредственном, сером, без всякой индивидуальности, "красок" мещанском стереотипе.

И в России появились тогда свои доморощенные буржуа - мещане, обосновавшись и в литературе. Адвокат Лужин с его деляческим духом в "Преступлении и наказании" Достоевского ораторствуя о прогрессе, самодовольно изрекает: "Мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего". Для Смердякова в "Братьях Карамазовых" все "неправда", что находится за рамками рационалистичности, о гоголевских "Вечерах на хуторе близ Диканьки" он с ухмылкой говорит: "Про неправду все написано". На Западе же столь завидная для Ципко "устроенность отлаженного быта" дошла до того, что наиболее прозорливые мыслители заговорили о конце этого "рая" ("Закат Европы" Шпенглера), а ныне уже говорят о его гибели ("Смерть Запада" Бьюкенена). Нынешнее время на Западе с гордостью именуется "постхристианским".

Ципко в "Просвещенном мещанстве" не увидел главного, того, о чем, например, со злорадством писал диссидент-эмигрант А. Янов в своей вышедшей в Нью-Йорке, затем изданной в России книге "Русская идея и XX век". По поговорке "У страха глаза велики" он так отреагировал на статью: "Сказать, что появление статьи Лобанова в легальной прессе, да еще во влиятельной и популярной "Молодой гвардии" было явлением удивительным, значит, сказать очень мало. Оно было явлением потрясающим". "Злость и гнев, которые советская пресса обычно изливала на "империализм" или подобные ему "внешние" сюжеты, на этот раз были направлены внутрь. Лобанов неожиданно обнаружил червоточину в самом сердце первого в мире социалистического государства, причем в разгар его триумфального перехода к коммунизму. .. Язва эта состоит, оказывается, в "духовном вырождении образованного человека"".

И моя статья - это разбор всего того, что входит в сущность этого духовного вырождения "образованного человека": "У мещанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство, все - мини": творческая бесплодность; пустота в "блеске" интеллектуальной синтетики; одержимость низвести все высокое, великое до уровня моды, пошлости; пищеварительная тяга к Западу ("хочу жить, как там") и т. д. Речь шла о страшном тогда, в шестидесятые годы, психологическом симптоме - назревании в обществе, стране духовного, социального кризиса, подспудного скопления разрушительных сил в лице "советской интеллигенции", той самой, которая впоследствии, с "перестройкой-революцией", уже в наше время, объявив себя "демократами", направила всю свою бесовскую энергию на уничтожение России, русского народа. И можно назвать "Просвещенное мещанство", если хотите, предчувствием того, что произошло в России. И как же можно свести столь духовно опустошительное по своим последствиям явление к "отлаженному быту"? Так я говорю о духовной сытости, как конце всякого движения в умственной, нравственной жизни (когда, по словам Гюго, "брюхо съело человека. .. конечное состояние всех обществ, в которых померк идеал"), а мне говорят: все в Европе построена на сытости, на комфорте, все великие научные, культурные ее достижения. И эта сытость понимается буквально, на желудочном уровне интеллектуального уродца Гайдара, о котором даже либеральная "Независимая

газета" с иронией писала, как он в Италии, на каком-то экономическом симпозиуме, обличал социализм тем "доводом", что колбаса в Советском Союзе "не годилась в пищу". Таким колбасникам не дано понять, что есть уровень жизни и качество жизни. Есть также и качество личности, и вот пример. Был такой известный, уважаемый космонавт Алексей Леонов, можно сказать, любимец народа, как все наши космонавты, он и "смотрелся" по телевизору как "природный сын его". А теперь этот человек по тому же телевизору (в "дуэли") позорит народ, его нищету, лодырь, мол, не хочет работать. Почему такая перемена? Да потому, что стал бывший космонавт Алексей Леонов замом президента какого-то банковского хозяйства, утопает в деньгах, у него уже иной взгляд - и на себя, и на людей. Другой человек. Вот вам и качество личности: когда-то уважаемый космонавт, открытый характер, простота общения, а ныне - нагловатый финансист, продавший свое человеческое, гражданское, патриотическое достоинство "златому тельцу", да еще обвиняющий в лени народ. (Кстати, эта его выходка с неодобрением была встречена в печати.) Никуда не денешься: личность в русском сознании ну никак не оторвать от коллективности, соборности - без этого нет нашей истории, культуры, самой религии. И, глядя шире - качество самой социальной системы. При ненавистной либералам советской эпохе были Блок (поэмы "Двенадцать", "Скифы"), Есенин, Маяковский, Шолохов, Платонов, Леонов и т. д. А теперешняя "демократическая эпоха" - что дала, кроме помойки?

То, что можно назвать социальной базой нынешнего режима, - клан "олигархов" с награбленными ими несметными природными богатствами в нашей стране, всего созданного народом в течение многих поколений; преступный "бизнес" (постоянно амнистируемый властью за уголовщину, неуплату налогов, одинаковых у нас для миллиардеров и нищих); промежуточные слои всякого рода спекулянтов, перекупщиков, торговцев; продажная "интеллигенция", растленная журналистика, нужные власти в той же, видимо, функции, какую имел в виду Ленин, призывая "организовать проституток как особый революционный отряд" (из беседы с Кларой Цеткин осенью 1920 года в Кремле) - все это, перечисленное выше, "на законных основаниях" требует своего идеологического оформления и "оправдания добра". И все это сходится в одном: в мертвой хватке за "право священной частной собственности", в требовании необратимости людоедских "реформ". То, что называется буржуазным сознанием и раньше воспринималось как нечто отвлеченное, ныне становится господствующим фактором бытия, предметом апологетики, причем, уже неолиберального толка, в духе неолиберальных "реформ". Когда Чубайс изрек, что в отношении экономики, "реформ" "надо пренебречь нравственностью", то это было воспринято как признак пещерного культурно-интеллектуального уровня этого одиозного типа. Но этот "младореформатор" (как и его подельники Гайдары) знал, конечно, кого он повторяет и кому следует. Теперь уже цитируются и вдохновители их, вроде теоретика рыночной экономики Ф. фон Хайека, говорившего еще в 1980-х годах, что для существования либерального общества надо, чтобы люди освободились от некоторых инстинктов, прежде всего - от "инстинкта солидарности и сострадания". Не скрывая сути дела, "либералы-демократы", их единомышленники во власти прямо указывают на истоки своей идеологии. В моей статье "Консервативная накипь" ("Наш современник", 2004, № 6) уже говорилось о трехтомном издании "Идеи. Люди. Действия", вышедшем в "Библиотеке "Единая Россия", где в качестве наставников нынешних российских политиков, прочей так называемой "элиты" названы Дизраэли, Черчилль, Рейган, Тэтчер и т. д. Не будем вдаваться в подробную характеристику этих враждебных к России деятелей, выделим из них две фигуры, осуществлявшие на практике неолиберализм - Рейгана и Тэтчер. Последней, кстати, принадлежат слова: "На территории СССР экономически оправдано проживание 50 млн. человек". Из философов в числе тех, кто должен вдохновлять наших либералов, назван Ницше, любимец Гитлера, апологет войны, ненавистник Христа, христианства. Вдохновлять уж не презрением ли этого "сверхчеловека" к состраданию, участию к обездоленным, слабым, которым он отказывал в праве на существование, - ведь это так сродни психологии наших нынешних "сильных мира сего".

Никогда не исчезали на русской земле и ныне продолжаются великие дела милосердия. В начале этой статьи речь шла о монахине Амвросии, в миру враче Александре Оберучевой - из прошлого. И вот наш современник - врач, иеромонах о. Анатолий (Берестов). Два пути - доблестные и плодотворные. Так соединяются концы времени, исторической цепи. Иеромонах Анатолий - крупный ученый-медик, доктор медицинских наук, подвижник не только в монашеском стяжании духа, но и в общественном делании, практической работе в миру. Демографическая катастрофа в нашей стране вследствие "криминальной революции", "демократических реформ" неотступно занимает его научные и гражданские помыслы. По миллиону в год сокращающееся население страны за время правления "демократов" - эта бесстрастная цифра оживает, превращается в его научных изысканиях в страшные картины народного горя, геноцида народа, ставшего жертвой людоедского режима. Никогда русский человек на своей земле не подвергался, как теперь, такой изуверской обработке. И вот мы видим в работах, статьях о. Анатолия его не отвлеченные, а конкретные, реальные наблюдения, выводы ученого, медика и человека религиозного, как разрушается человеческая личность в нынешних условиях - и психологически, и духовно, и физически, не выдерживая угнетения всех видов.

В своих многочисленных печатных выступлениях под рубрикой "В чем причина демографической катастрофы в России" он касается всего, что губительно действует на человека, от "духовной агрессии внешней и внутренней" против России до недоброкачественных продуктов, "псевдопродуктов", завозимой из-за границы пищевой отравы. "По плодам их узнаете", - сказано в Евангелии, и эти плоды "демократической" Эрэфии - катастрофическое вымирание нашего народа, в то время как даже в послевоенный период людские потери в войну через несколько лет были восстановлены, и все последующие годы, вплоть до "демократического" переворота, народонаселение неуклонно возрастало. Этот поразительный факт и определяет гражданскую позицию ученого-медика, о ком одна из газет ("Долгожитель", № 5, 2004) пишет как о "человеке, который не боится говорить правду о многих старательно и сознательно замалчиваемых вещах".

Отец Анатолий - руководитель душепопечительского центра по реабилитации лиц, пострадавших от оккультизма, тоталитарных сект, наркомании. Через этот центр прошли десятки тысяч людей, получивших здесь помощь, исцеление от тяжких недугов. Особенно близко к сердцу принимает о. Анатолий несчастье молодого поколения, растлеваемого "демократической" агрессивной пропагандой вседозволенности. "Чем дальше от времени Советского Союза, - говорил он по радио "Радонеж" (5 июля 2007), - тем хуже духовное состояние молодежи".

Если в глубинах народного бытия не перестают нарождаться такие силы милосердия, то это значит, что в нем, в народе, живо христианство, ибо высшим выражением его и является милосердие. Ведь наше отношение к пораженным лишениями, страданиями людям Христос отождествляет с отношением к Нему Самому, берущему на Себя бремя "униженных и оскорбленных", чтобы через эту непостижимую глубину милосердия пробудить сочувствие к ним (Мф. 25, 29 - 30). Поэтому то, что либералы взялись за вытравление в человеке, в народе "природных инстинктов солидарности и сострадания", означает в сущности их бесовскую одержимость вытравить из сознания, жизни людей само христианство, Христа. Недавно опубликованное в печати (конец июля 2007 г.) пресловутое "письмо академиков" (Гинзбурга и др.) о якобы клерикализации в стране показало не только их духовно-культурную никчемность, ущербность, но и характерную для либеральной среды крайнюю агрессивность, ненависть к православию в духе времен Троцкого - Губельмана (Емельяна Ярославского). Нельзя не сказать о подрывной антиправославной роли, которую играют вернувшиеся в нашу страну (за ненадобностью их там, за границей) диссиденты. Солженицына не устраивает "окаменело ортодоксальное, без поиска" православие, как будто возможно православие с "поиском", с извращением, отменой его догматов. Другой диссидент, М. Назаров, в течение многих лет выполнявший на Западе идеологические заказы против своей бывшей Родины, с приездом сюда избрал постоянным объектом своих

"разоблачений" Московскую патриархию. Автор невиданно русофобского изделия "Зияющие высоты" А. Зиновьев оставил "наследие" и как непримиримый противник Православия, повторявший в своих статьях, интервью одно и то же: "Православие не является не только единственной, но и вообще никакой ценностной базой для духовного возрождения России. Это - духовное падение России, это- деградация... Россия отбрасывается на 100 лет". "Усиление Православия означает деградацию России и является одним из факторов падения России и гибели" (газ. "Советская Россия", 6 сент. 2007) и т. д. На фоне этих лобовых атак любопытно суждение известного "нейтрального" к этой теме еврея Исраэля Шамира (в послесловии к книге "Россия и евреи", М., 2007): "Правление Троцкого и Свердлова миновало, как и семибанкирщина при Ельцине. В обоих случаях русский дух победил... Эту временность и ограниченность еврейской победы в России можно объяснить православной верой. Русский народ, объединенный своей православной церковью, - это такая духовная сила, с которой не справиться ни одному противнику". Автор даже полагает, что "коммунизм был - православием без Христа. Был бы с Христом - Россия пришла бы в сказочный век". Не будем легковерны насчет того, что "русский дух победил" при Ельцине (добавим - и при его преемнике) - очевидно только усиление паразитического капитала и вымирания народа. Но очевидно и то, что Православие - действительно духовная основа нашего национального сопротивления, и с нею, этой основой, не так легко справиться нашим "историческим нетерпеливцам". Ведь для окончательной победы необходимо покорить жертву насилия силою духовности, обаянием культуры, если хотите, тем же, присущим сильным людям, народам великодушием, милосердием, а когда этого нет - то в самом деле неизбежно, в конце концов, то, что называется иллюзией победы.

Журн. "Наш современник", № I, 2003

Борьба

Незабвенный Вадим Валерианович Кожинов как-то в ответ на мои сомнения в востребованности наших идей, нашего русского опыта в будущем, в новых поколениях сказал мне, что ничто не исчезает в историческом "бытии" (его привычное слово), не пропадает ни одно духовное усилие, что все имеет свои последствия. Оглядываясь сейчас на свой пройденный путь, вижу, что вся жизнь моя - сплошная борьба, начиная с участия в сражении на Курской дуге до сегодняшнего сопротивления новым оккупантам. Пожизненная моя борьба - что называется, на идеологическом фронте. Но должен сказать, что, борясь, я никогда не прибегал к языку политических намеков, пусть кто укажет хоть на один пример обратного. Я считаю, что надо бороться на духовном уровне, и я этому следовал и следую, ибо здесь корень зла, всех идеологических конфликтов. И наоборот, мои противники только тем и занимались, что обвиняли меня в политическом, мягко говоря, злонамерении. Чего стоят уже одни названия рецензий на мои работы: "Было ли "темное царство"?" (о моей книге "А. Н. Островский" в серии "ЖЗЛ"); "Освобождение от чего?" (о моей нашумевшей статье "Освобождение" в журнале "Волга", 1982, № 10). Ну, конечно же, по "расшифровке" автора рецензии, освобождение от всех социалистических основ, коллективизации, индустриализации, марксистско-ленинской идеологии, классовой борьбы, "завоеваний советской литературы" и т. д. Хотя у меня смысл этого слова (следовательно, и самой статьи) совершенно иной. На примере романа М. Алексеева "Драчуны" (о голоде 1933 года в Поволжье) речь идет о том, сколь необходимо для творчества освобождение писателя от внутренней несвободы: "Не решавшийся до сих пор говорить об этом, только дававший иногда выход сдавленному в памяти тридцать третьему году - упоминанием о нем, автор набрался наконец решимости освободиться от того, что десятилетиями точило душу, и выложить все так, как это было".

До "перестройки" в ходу были такие страшилки, как "антиисторизм", "внесоциальность", "внеклассовость" (помимо, конечно, "шовинизма", "славянофильства", "почвенничества"). С "перестройкой" в оборот запущен жупел покруче - русский фашизм. В

журнале "Вопросы литературы" (№ 1, 2005) опубликована статья В. Твардовской "А. Г. Дементьев против "Молодой гвардии" (эпизод идейной борьбы 60-х годов)". Автор обращается к статье А. Дементьева почти сорокалетней давности "О традициях и новаторстве" (журнал "Новый мир", 1969, № 4) и пытается представить автора эдаким демократом - провидцем нынешней "фашистской опасности" в стране. Хваленая статья уже тогда, по выходе, была анахронизмом, курьезом по своему рапповскому методу орудовать идеологической дубиной, по невежеству (славянофилов автор именует мыслителями в кавычках). Преследуемая автором и редакцией "Нового мира" цель была настолько очевидной, что даже новомировец Солженицын сказал об этом так: редакции "Нового мира" "взбрела в голову несчастная идея - влиться в общее "ату" против "Молодой гвардии"... "удобно ударить и нам". И вот устремился "новомировский критик в пролом, разминированный, безопасный, куда с 20-х годов бито было наверняка..." В статье новоявленного рапповца под прикрытием марксистской фразеологии, "пролетарского интернационализма" выпирала антирусскость, очернение народных культурных традиций. И вот об этой русофобской статье В. Твардовская пишет: "Целью статьи было предупредить об опасности исповедуемых национал-патриотами идей". "Сейчас, когда наряду с националистическими в стране действуют и фашистские организации, нельзя не признать, что эта опасность критиком "Нового мира" не преувеличивалась".

Вот где, оказывается, "болячка" ученой дамы, из-за которой ей понадобилось вызвать из небытия "интеллигента в первом поколении, потомка крепостных крестьян знаменитой княгини З. А. Волконской", как она рекомендует А. Дементьева. Встревожила ее "опасность фашизма", русского, разумеется. Цитирует она при этом и своего отца - поэта А. Твардовского, который о письме критиковавших статью Дементьева одиннадцати литераторов в "Огоньке" (1969, № 30) "Против чего выступает "Новый мир"?" - выразился так: "открыто фашиствующий манифест мужиковствующих". И это говорил сын русского мужика! Повторяя выражение Троцкого - "мужиковствующие" - в адрес русских писателей, в частности крестьянских поэтов есенинского круга. В воспоминаниях заместителя главного редактора "Нового мира" А. Кондратовича "Новомировский дневник (1967- 1970 годы)" приводится восторженный панегирик Твардовского Троцкому за его "блестящую речь" в агитпропе ЦК от 1923 года.

Прочитал я статью В. Твардовской и вот о чем подумал: прав Кожинов, ничего не пропадает из наших духовных усилий. Сам-то я вроде и забыл свою давнюю статью "Просвещенное мещанство" (1968), время ныне другое, другая для меня боль в русской жизни, но вот другие не забывают. Когда-то, почти сорок лет тому назад, набросился на нее А. Дементьев в статье "О традициях и народности", избрав ее в качестве главного объекта своих нападок на "Молодую гвардию". Теперь, завалив благодарственными венками своего предшественника за мнимые заслуги, В. Твардовская берет на прицел ту же мою статью "Просвещенное мещанство", связывая с нею идеологию тех, кого именует национал-патриотами (не звучит ли на манер: "национал-социалист"?). И так неугодны ей эти национал-патриоты, что она готова поддержать всякую "обличающую" их заведомую ложь. Так она с академической важностью дает ссылку на мемуары А. Яковлева "Омут памяти", где этот отпетый фальсификатор пишет, что "программные" статьи "Молодой гвардии" "Просвещенное мещанство" М. Лобанова и "Неизбежность" В. Чалмаева "перед публикацией были просмотрены и одобрены в КГБ" при Андропове. Но мог ли Андропов поддержать авторов "Молодой гвардии", когда он был известен как русофоб, преследовавший "русистов", по его выражению; давший впоследствии команду осудить решением секретариата ЦК мою статью "Освобождение"?

А вот и вывод пространной статьи В. Твардовской: по ее словам, дискуссия вокруг "Молодой гвардии" и "Нового мира" показала, что "ближе и роднее (власти) орган русских националистов, нежели демократический журнал... Великодержавие, яростное антизападничество, сталинистские симпатии национал-патриотов находили значительно большее сочувствие и понимание у идеологов и политиков КПСС, нежели отстаивание

общечеловеческих ценностей и стремление к соединению социализма с демократией" (в духе авторитетного для Твардовского академика А. Сахарова, кстати, инициатора расчленения России на семьдесят государств). Логика этой казуистики такова: поскольку русских шовинистов, национал-патриотов поддерживали ЦК КПСС и КГБ, то, следовательно, и эти высшие органы власти были шовинистическими, фашистскими, антисемитскими, вся советская власть была таковой, и эту власть надо было свергать, заменить "демократией". Русский фашизм не прошел, но опасность, дескать, остается. Так, с "фашизацией" моей давней статьи, сугубо национально-оборонительной, нынешние "демократы" больше характеризуют себя, чем обличаемого ими автора. Казалось бы, все в их руках, наслаждайтесь своей демократией, "раем на земле". Но нет чего-то, все не так. Давно известно, что именно либералы торят дорогу к фашизму своей духовной энтропией, аморальным плюрализмом, мертвящим космополитизмом, но винят в "фашистской опасности" других. И какие приемы, какая злоба! Вот и в данном случае: не просто "полемика", "дискуссия", а готовность подвести "оппонента" - как фашиста - под статью о разжигании национальной розни. Тридцать с лишним лет тому назад А. Яковлев в своей "критике" молодогвардейцев еще осаживал себя в выборе эпитета, выражения, ставя, например, мне в вину "идеализацию мужика", "славянофильство", прочее. Теперь ("Омут памяти", 2000) он зачисляет меня в ряд "апологетов охотнорядчества".

Да, поистине, какова нынешняя власть, такова ее идеология, таковы кадры ее. Злобные, мстительные, человеконенавистнические. Но я доволен, что проявилось это отчасти через нападки на мою давнюю статью.

***

Только что прочитал книгу Ю. А. Жданова "Взгляд в прошлое" ("Феникс", 2004 г.). Автор - сын известного государственного деятеля А. А. Жданова, зять И. В. Сталина, в конце сороковых - начале пятидесятых годов зав. отделом науки ЦК партии. В отличие от А. Яковлева он не отрекся от своих партийных убеждений, от социализма, не принимает лжи и насилия либералов-"демократов", разрушителей великого государства, ублюдочных идеологов "золотого тельца", торговцев Россией. С достоинством защищает он честь своего отца, стойкого государственника А. А. Жданова, имя которого с "перестройкой" стало объектом ненависти и оголтелой клеветы "демократов", поддерживаемой Горбачевым (о чем с любопытными подробностями рассказывает автор).

И вместе с тем Ю. Жданов счел нужным включить в свою книгу статью, написанную им в 60-е годы, ныне звучащую уж совсем архаично, в духе упрощенного социологизма. Ну что могут сказать современному читателю рассуждения вроде: "И не возьмут в толк наши товарищи, что волюнтаризм, бонапартизм, цезаризм, против которых они ополчаются, есть прямое порождение условий, психологии мелкого производителя - крестьянина, в первую очередь". В своей статье Ю. Жданов полемизирует со мной в связи с моими печатными выступлениями о "Войне и мире". (Тогда, в 1969 году, исполнилось сто лет со времени выхода толстовского романа в свет.) Вот некоторые пункты этой полемики: "Поиски народной правды, поиски путей к народу, свойственные Пьеру, М. Лобанов пытается интерпретировать весьма своеобразно: "Жизнь простых людей, - пишет он, - дала русским философам богатый материал для того вывода, который, в отличие от рационалистической рассудочности, утверждает целесообразность человеческого бытия в цельности его духа и поведения...". После этой цитаты автор заключает, что такая философия "отнюдь не линия Радищева, Герцена, Чернышевского, Плеханова, а нечто другое, недосказанное и уводящее мысль куда-то в сторону славянофилов...". Вот уж поистине магия слов, имен. Но ведь главное-то у меня - "жизнь простых людей", народный характер - именно в цельности его, целесообразности его бытия, и это было "актуально" не только во времена Толстого, но и тогда, в шестидесятые годы теперь уже прошлого столетия ("деревенская" литература). Да и сейчас: если как-то удерживается от окончательного "расползания" общественная ткань, то

во многом благодаря уравновешивающему, стабилизирующему фактору "жизни простых людей" с их здоровой моралью, трудовыми, семейными заботами, если хотите, инстинктом государственности. Я думаю, что это реальное содержание куда важнее для нашего времени, чем перечисление фамилий философов-революционеров.

Второй пункт. Видя высшее достижение русской философии в рационализме, признавая исключительно только рационализм, более того - только сугубо рационалистический путь России, Ю. Жданов бичует меня за недооценку заслуг русского просветителя, последователя Вольтера В. Попугаева с его изречениями вроде "просвещение есть солнцев луч во мраке". В качестве неуместного противопоставления критик приводит мои слова, что когда над Родиной нависла опасность, то "решали дело не умствующие теории, не отвлеченный "солнцев луч", а дух армии, народное чувство". Я говорю о реальности - что происходило в России в 1812 году и что ее спасало: не вольтерьянство, наводнившее страну в XVIII веке, накануне наполеоновского нашествия, а именно дух армии, народное чувство (что и показано в "Войне и мире"), а мой оппонент токует свое: ах, рационализм! ах, просветители! "Откуда это озлобление против "умствований", французского и русского просвещения? М. Лобанов писал и так: "Теоретики могут рассуждать о "концепциях", "системах" и т. д., но им не дано прикоснуться к тому первородному, где зарождаются нервные узлы нравственного бытия и откуда исходит мощь творческого духа". Все это, по словам моего критика, заставляет вспомнить "Вехи", Достоевского.

Третий пункт. "Наконец, что за тенденция в сторону обскурантизма?! М. Лобанов пишет о нравственной силе русского народа, непонятной "для привычного европейского представления"... Не вариация ли это на давно забытый мотив: умом Россию не понять?..". В отличие от Ю. Жданова, я полагаю, что этот "мотив" еще не забыт. Недаром нынешние погромщики России злобствуют, дивятся, почему "эта страна", ее народ не хотят принять "рыночного рая", вбежать в царство демократии и мировой цивилизации.

Четвертый пункт. "Далее М. Лобанов возвещает, что предчувствуемый Достоевским "разгул бесов ждал своего исторического часа". Не совращайте малых сих! Молодежь не знает, что "Бесы" были знаменем реакции в борьбе против русского революционного движения". А разгул нынешних "демократических" бесов, терзающих Россию, люто ненавидящих ее народ, самого Достоевского (в чем признается бес Чубайс, готовый, по собственным словам, "разорвать его на части") - разве это не связано с историческим предчувствием автора "Бесов"?

Но довольно. Мысль моя ясна: нельзя закрываться от действительности словами. Этим страдала официальная пропаганда в советские времена, когда жизнь, реальные события подменялись лозунгами, партийной фразеологией. Выходило так, что создавался мир фиктивный, имевший мало чего общего с реальным, и это не могло не привести к кризису. Но насколько этот отрыв от реального, гипноз стереотипов, расхожей фразеологии может войти в сознание, психологию людей, показывает в данном случае и сам факт публикации Ю. Ждановым статьи, написанной почти сорок лет тому назад: ныне совсем другое время, за тысячелетие своей истории Россия никогда не была в таком чудовищном положении, надо собирать все живые, реальные силы для сопротивления, и уместно ли здесь поддаваться словесным иллюзиям?

А какой вред они, эти словесные иллюзии, могут принести - вот вам пример с Крымом, за необратимость принадлежности которого Украине в Госдуме голосовала фракция коммунистов (то есть почти все русские). Логика куриная: какая разница, чей сейчас Крым - России или Украины, когда там и сям к власти придут коммунисты, наступит прежнее братство народов и Крым будет общим, пролетарский интернационализм победит. Но надо быть уже совсем дитятей, чтобы не понять: если бы даже коммунисты и пришли к власти на Украине, Крымом их "незалежная" и не подумала бы поделиться. Посмотрите, вот даже цыганистая Молдавия с коммунистами во главе пялит глаза на Запад.

Журн. "Наш современник", № 11, 2005